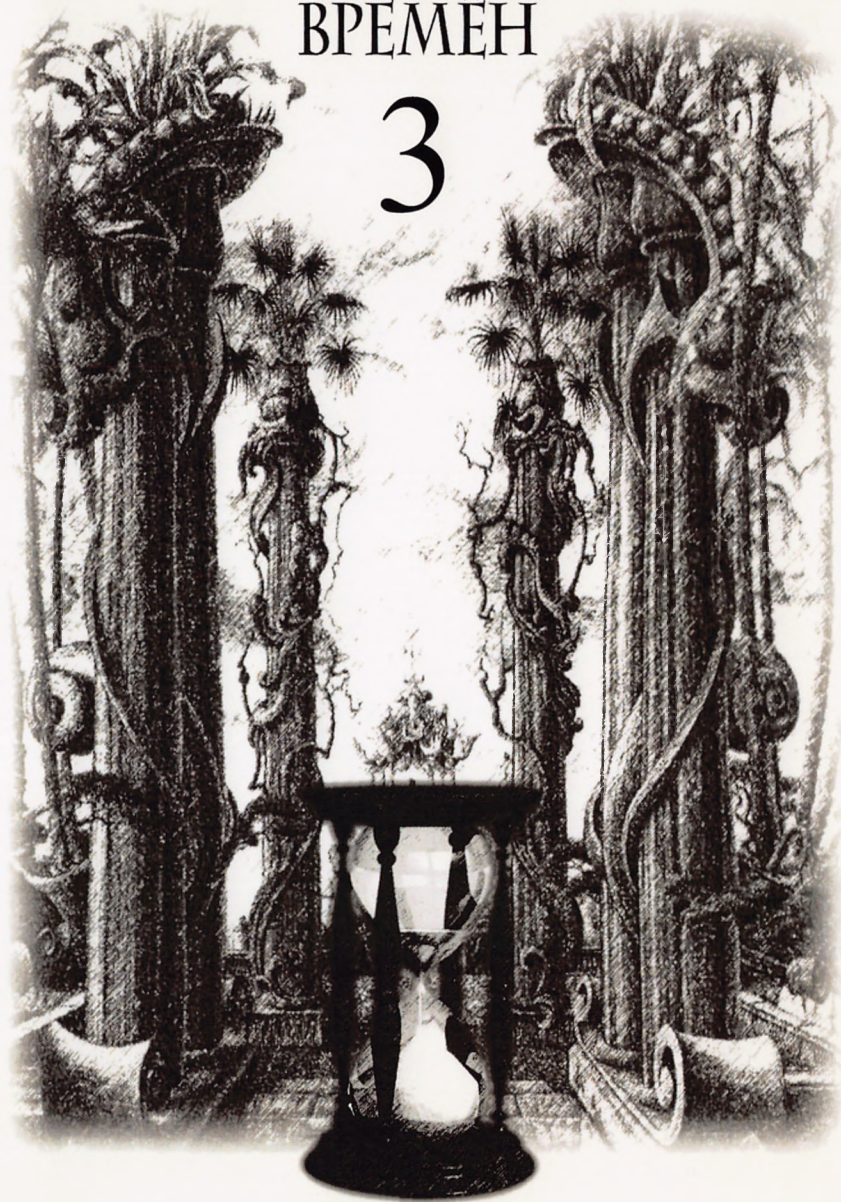


СВЯЗЬ ВРЕМЁН 2011

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

3



2011

СВЯЗЬ
ВРЕМЁН

3

АЛЬМАНАХ
ЕЖЕГОДНИК

2011

Сан-Хосе

Редактор и издатель РАИСА РЕЗНИК

Редакционная коллегия:

**ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ
ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ
МАРИНА ГАРБЕР
ВИКТОР ГОЛКОВ
ЕЛЕНА ГУТМАН
РИНА ЛЕВИНЗОН
ИРИНА МАШИНСКАЯ
ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН
ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ
ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ**

В составлении номера приняли участие: ЕВГЕНИЯ ДИМЕР,
МАРИНА ГЕНЧИКМАХЕР, КЛАРА ЛАДЫЖЕНСКАЯ,
ВИКТОР ФЕТ, ЛИЯ ЧЕРНЯКОВА, ДМИТРИЙ ШАТАЛОВ,
АЛЕКСАНДРА ЮНКО.

Автор обложки Елена Гутман

**Альманах основан в 2009 году в США, г. Сан-Хосе, Калифорния
Третий год издания**

*Library of Congress Card Catalog No: 2009202927
ISSN: 2151-271X*

Copyright © 2011 by Svyaz Vremyon/The Time Joint

Ответственность за достоверность публикаций и точность фактического материала (даты, цитирование, сверка с первоисточником, ссылки, переводы и т.д.) несут авторы. Мнения авторов не всегда совпадают со взглядами редакции. Альманах не коммерческое издание, опубликованные материалы могут быть использованы для исследований и в общеобразовательных целях. При перепечатке ссылки на "Связь времён" обязательны.

Электронный адрес редакции и интернет-сайт альманаха:
sv@thetimejoint.com
www.thetimejoint.com

Printed in the United States
of America
by PrintmediaBooks
Lawndale, CA 90260

Svyaz Vremyon/The Time Joint
1884 Fumia Place
San Jose, CA 95131
U.S.A.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Светлана Кесова	5
Бахыт Кенжесев.....	10
Ирина Машинская	15
Андрей Василевский.....	21
Валентина Синкевич	27
Игорь Михалевич-Каплан	52
Татьяна Анст.....	63
Дмитрий Бобышев.....	66
Марина Гарбер.....	70
Иосиф Гольденберг	87
Софья Шапошникова	92
Андрей Новиков-Ланской	96
Николай Голь	101
Рина Левинзон	112
Юрий Казарин	116
Рустам Карапстьян	119
Валерий Пайков	122
Елсна Дроздова.....	126
Виталий Амурский.....	128
Надежда Банчик.....	139
Лариса Володимерова	141
Владимир Ханан	146
Виктор Голков	149
Леонид Колганов	153
Ася Векслер	156
Зинаида Палванова.....	160
Борис Лукин.....	164
Андрей Попов	172
Владимир Батшев	175
Гся Коган.....	185
Виктор Фет.....	188
Ирина Кант	192
Марина Генчикмахер	195
Александр Габриэль	204
Сергей Яровой	210
Филипп Берман.....	214
Лиана Алавердова	217
Елсна Литинская.....	221
Ирина Акс	225
Виктор Каган	228
Рудольф Фурман.....	232
Борис Юдин	234
Клавдия Ротманова.....	236
Люба Фельдшер	239
Евгений Минин.....	243
Георгий Садхин	246
Наталья Резник	250
Вилсн Черняк.....	252
Лина Вербицкая.....	254
Евгения Димер.....	256
Евгений Ицкович.....	259
Светлана Новак.....	261
Раиса Резник	278
Валерий Черешня	281
Мария Войткова	288
Фрэдди Зорин	290
Берта Фраш	292
Иван Волосюк	294

Сергей Пагын.....	298
Елена Гутман.....	302
Лия Чернякова.....	304
Зоя Полевая.....	308
Шошанна Левит.....	311
Инна Харченко.....	313
Людмила Некрасовская.....	315
Павел Голушко.....	319
Олег Поляков.....	337
Джорджина Баркер.....	339

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Дон Аминадо (1888-1957).....	180
Владимир Шаталов (1917-2002).....	263
Владислав Ходасевич (1886-1939).....	324
Александр Воловик (1931-2003).....	351

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

Люба Фельдшер. Михай Эминеску. Перевод с румынского.....	341
Игорь Померанцев. Тамар Радцигер. Перевод с немецкого.....	343
Рина Левинзон. Хана Сенеш. Перевод с иврита.....	350
Александр Воловик. Хана Сенеш. Перевод с иврита.....	351
Дмитрий Шаталов. Филипп Шеррард. Перевод с английского.....	352
Виктор Фет. Роалд Хоффман. Перевод с английского.....	355
Татьяна Аист. Елена Блаватская. Перевод с английского.....	362

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Эссеистика

Валентина Синкевич. Евгений Евтушенко.....	40
Николай Голь. Три пушкиноведческих мифа.....	105
Марина Генчикмахер. Мы и наши ангелы.....	200
Валерий Черешня. Из книги «Вид из себя».....	284
Нина Горланова. О письмах Юрия Иваска Ирме Кудровой.....	332

Русское Зарубежье

Валентина Синкевич. Поэт-верлибрист Игорь Михалевич-Каплан.....	46
Игорь Михалевич-Каплан. О творчестве Т. Аист и содружестве с Бродским.....	57
Юрий Крупа. Ностальгический романтизм в живописи В. Шаталова.....	267
Амир Хисамудинов. Русское слово в Калифорнии.....	334

Библиография

Павел Крючков. (В. Синкевич. «Мои встречи: русская литература Америки»).....	25
Марина Гарбер. (И. Чайковская. «Каким нынче времена»).....	76
Ирина Чайковская. (Е. Попдимитров. «С Константином Бальмонтом»).....	81
Андрей Новиков-Ланской. (Б. Янгфельдт. «Язык есть Бог»).....	98
Надежда Банчик. (В. Амурский. «Тень маятника и другие тени»).....	133
Борис Лукин. (А. Попов. «Смысл дождя и листопада»).....	167

Интервью

Ирина Чайковская. Беседа с Валентиной Синкевич.....	31
Елена Елагина. Беседа с В. Шубинским. К 125-летию Владислава Ходасевича.....	321

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Марина Генчикмахер. Иллюстрации к сказкам.....	201
Владимир Шаталов. Портрет Валентины Синкевич. Автопортрет. Портрет Гоголя.....	275

ОБ АВТОРАХ.....	367
------------------------	------------

Светлана КЕКОВА

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

1

Если тронуть за горло бутылочку,
заглянуть в аккуратную дырочку
и пытаться смотреть сквозь нее,
то становится нежно, расплывчато,
перламутрово и переливчато
во дворе на веревках бельё.

А Вселенная знай себе рушится...
Лишь бельё безнаказанно сушится,
Задевая дощатый забор.
И в классическом жанре элегии
Зацветают в саду аквилегии
Или, проще сказать, водосбор.

Ты становишься к старости бдительным,
С телескопом своим удивительным
Наблюдаешь движенье планет.
Сквозь стекло голубое, зеленое,
Видишь воздуха море соленое,
В нем плывущие Мальт и Ранет.

Ах, бутылочка, рюмочка, вилочка,
В небе облачко в виде обмылочка,
Глаз кузнечика, бабочки лоб.
И – предложный, творительный, дательный –
Смотрит полдень, как ангел внимательный
На тебя сквозь иной микроскоп.

2

Лицо к пустому небу обратив,
Любовь застыла, как инфинитив.
Глагол «забыть» стоит в возвратной форме.
Печется ворон о насущном корме.

Светлана КЕКОВА

Сей вран живет на нырище. Кумран.
Курбан-байрам. Но пасаран. Айран.
Бей залпом по окрестным букварям,
По океанам, словарям, морям!

Господь нас создал без черновика
И окружил любовью безвозмездной.
Но мы, как испаренья языка,
Уже висим над бессловесной бездной.

3

Грач летит, озирая окрестности,
Жизнь лежит под могильной плитой.
Что ж ты плачешь, учитель словесности,
Над последней своей запятой?

Падежом откупаешься дательным
От торговцев, барыг и менял
И выходишь в залоге страдательном
К тем, кто молча тебя обвинял.

Говоришь: «Да, виновен отчасти я
В том, что мир безобразен и гол,
Но уже я не в силах причастие
превратить в переходный глагол».

Льются листья кленовые красные,
Созревают мускат и миндаль,
А в корнях чередуются гласные
И светло улыбается Даль.

4

Под деревом с листвою красной
Сидят, глядят на дождик дробный
Какой-то зверь волкообразный,
Какой-то жук птицеподобный.

Светлана КЕКОВА

На дереве с листвою желтой,
Как на забытом клавесине,
Марш исполняет дятел твердый,
Увязнув клювом в древесине.

Могучий дуб с листвою зеленой
Вдоль пышной кроны гонит волны,
Чтоб каждый – пеший он иль конный –
Плясал в лесу под звук валторны.

И человек в солдатской каске,
В очках и черной водолазке
Вдруг видит: лишь жуки и слизи
Спокойно спят на древе жизни.

5

Ворон – рупор народного мнения –
В золоченую дует дуду:
«В сослагательном жить наклонении
Много проще, чем в здешнем аду

Там для жаждущих мук очистительных
Открывается призрачный фронт,
Где полки молчаливых числительных
За последний идут горизонт».

6

Я забыла, как на отцовский китель
слез солено-горьких лилась река,
только помню, чему нас учил учитель
на уроках русского языка.

Он спрягал глагол, ничего не слыша,
он склонял правительство, осмелев,
а ему внимал Виницковский Миша,
Милошевич Слава и Друскин Лев.

Светлана КЕКОВА

На второй этаж дорогих угодий
он взлетал, не касаясь рукой перил.
И, конечно, звали его – Мефодий.
Был любимый брат у него – Кирилл.

Жизнь летела – сказочна, одинока,
но сложила крылья, попав в сачок.
И сквозь слово «млеко» сияло око,
голубой, славянский горел зрачок.

И кого-то тихо звала обитель,
а кого-то – звезды и облака,
потому что всех нас любил учитель,
тайнозритель русского языка...

7

Грубой лепки кувшин, бельевая корзина,
за невытым стеклом – облака...
Что бормочешь ты, как ты живешь, Мнемозина,
в бесконечном аду языка?

Пожилой табурет или кресло-качалка,
или вытертый клетчатый плед...
Жить вещам в языке неуютно и жалко:
там пространства и времени нет.

Там лишь шаг небольшой от любви до разлуки,
от сверла до степного орла.
Вещь состарилась в слове и съежилась в звуке,
разболелась, слегла, умерла.

Так давай, Мнемозина, мы выбросим ветошь,
дорогие сожжем словари.
Ах, подруга неверная, что же ты медлишь?
Отвечай, не молчи, говори...

Светлана КЕКОВА

8

Были римляне добрыми. Злыми
были скиф, и сармат, и монгол.
Держит имя рукою за вымя
бородатый и бодрый глагол.

Имя сделалось бедным скитальцем,
но до смерти ему далеко,
и течет у глагола по пальцам
голубое, как сон, молоко.

9

Страшны в вагонах люди спящие,
их сны – как игры ролевые,
их сны – взрывные и шипящие,
сонорные и щелевые.

Их сны – мучительно-подробные,
как жизнь согласных в райских кущах,
где и язычные, и нёбные
слились в потоке слез текущих.

И вот опять на поле бранное
выходит лютый змий ли, волк ли...
Что – фрикативные, гортанные,
вы притаились и умолкли?

Чтоб муки не терпеть напрасные
и грех не предавать огласке,
звучат сегодня только гласные,
дрожат голосовые связки.

ОБ АВТОРЕ: Светлана Васильевна КЕКОВА, Саратов. Родилась в 1951 году на Сахалине. Окончила Саратовский университет в 1973 году. По образованию филолог (в 2010 году защитила докторскую диссертацию). Автор нескольких поэтических сборников и литературоведческих книг, в том числе посвященных творчеству Николая Заболоцкого и Арсения Тарковского. Стихи Светланы Кековой переводились на многие европейские языки. Лауреат нескольких литературных премий.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

* * *

Зачем придумывать – до смерти, верно, мне
блуждать в прореженных надеждах.
Зря я подозревал, что истина в вине:
нет, жестче, поразительнее прежних

уроки музыки к исходу рождества.
Смотри, в истоме беспечальной
притих кастаньольский ключ, и караван волхва
уснул под лермонтовской пальмой.

Так прорастай, январь, пронзительной лозой,
усердием жреческим, пустым орехом грецким,
пусть горло нищего нетрезвою слезой
сочится в скверике замоскворецком,

качайся, щелкай, детский метроном,
подыгрывая скрипочке цыганской,
чтобы мерещился за облачным окном
цианистый прилив венецианский.

* * *

Полыхающий палех (сурик спиртом пропах) –
бес таится в деталях, а господь в облаках –
разве много корысти в том, чтоб заполнить,
за рыжей беличьей кистью, напрягая глаза,

рисовать кропотливо тройку, святки, гармонь?
Здравствуй, светское диво, безблаженный огонь,
на скамеечках Ялты не утешивший нас –
за алтын просиял ты, за копейку погас.

Остается немного (а умру – волховство
оборвется и, строго говоря, ничего
не останется.) Я ли в эти скудные дни
не вздыхал на причале, не молился в тени

диких вязов и сосен, страстью детской горя?
Там распахнута осень, что врата алтаря.
Если что-то и вспомню – только свет, только стыд
перед первою, кто мне никогда не простит.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

* * *

не мудрствуй ни жить ни верстать не обучен
не злись я освою навряд
разлуку играть среди зорких излучин
где влажные звезды звенят
будь проще будь ласковый морок для ближних
бесценная тень и вообще
любой собутыльник небрежный булыжник
забывшийся в смертной праще
бензином весна и дорожкой скатерть
чин чином прохладной виной
любой именинник пустой соискатель
любовница вербы ночной
лиловые тучки беззвездные ночки
хворал до сих пор не окреп
печальная женщина в белой сорочке
пекущая греческий хлеб

* * *

Побыв и прахом, и водой, и глиняным
болваном в полный рост, очнуться вдруг
млекопитающим, снабженным именем
и отчеством. Венера, светлый дух,
еще сияет, а на расстоянии,
где все слова – «свобода», «сердце», «я» –
бессмысленны, готовы к расставанию
ее немногословные друзья.
Ты говорил задолго до Вергилия,
на утреннем ветру простыл, продрог,
струна твоя – оленье сухожилие,
труба твоя – заговоренный рог.
Побыв младенцем, и венцом творения –
отчаяться, невольно различать
лиловую печать неодобрения
на всем живом, и тления печать.
Жизнь шелестит потертой ассигнацией –
не спишь, не голодаешь ли, Адам?
Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим господам.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

* * *

Согрели, вызвали, умыли,
отдали голос на ветру.
В каком же я родился мире?
В таком же точно, где умру,

где солнце в флорентийских соснах,
телеги скорбные гремят
и в твердых толщах рудоносных
горчат кровавик и гранат.

Зачем (другим досталось, нищим,
спасенье) мы с тобой, душа,
по переулкам пыльным ищем
огонь из звездного ковша?

Там резеда, там мало света,
под крышей горлицы дрожат,
и письма, ждущие ответа,
в почтовом ящике лежат.

И с каждым каменным приливом
волну воздушную несет
к мятущимся, но молчаливым
жильцам простуженных высот.

* * *

Еще царит в пространстве диком
Господний сумрачный уют,
В нетвердом воздухе безликом
Создания длинные снуют,
Но не занять им обороны,
И рыбку-аурум не съесть.
Должно быть, чайки? Нет, вороны,
А может, вороны – бог весть.
Бог весть! Но сердце красной тенью
Уже склоняется туда,
Где муза – пыльное растенье,
И горло – праздная звезда.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

* * *

И забывчив я стал, и не слишком толков,
только помню: не плачь, не жалея,
пронеси поскорее хмельных облаков
над печальной отчизной моей,

и поставь мне вина голубого на стол,
чтобы я, от судьбы вдалеке,
в воскресенье проснулся под южным крестом
в невеликом одном городке,

дождался рассвета, и вскрикивал: "Вон
первый луч!" Чтобы плыл вместо слов
угловатый, седеющий перезвон
католических колоколов.

Разве даром небесный меня казначей
на булыжную площадь зовет
перед храмом, где нищий, лишенный очей,
малоросскую песню поет?

* * *

У каждого, братия, свой талант,
и счастья – как из ведра.
Проворовавшийся интендант
тоже хотел добра,

когда полковнику гнал пургу,
не ведая, что творит,
когда по ночам продавал врагу
порох, хлор и иприт.

Известно, что бывает в таком
случае: полный абзац.
Звенят железом, скрипят замком,
ведут на пустынный плац.

Молчит священник. Поздно рыдать!
Бледна звезда в синеве.
Беда. И пенсии не видать
бездомной его вдове.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

* * *

Заснул барсук, вздыхает кочет,
во глубине воздушных руд
среди мерцанья белых точек
планеты синие плывут.
А на земле, на плоском блюде,
под волчий вой и кошкин мяв
спят одноразовые люди,
тюфяк соломенный примяв.

Один не дремлет стенка разин,
не пьющий спирта из горла,
поскольку свет шарообразен
и вся вселенная кругла.
Тончайший ум, отменный практик,
к дворянам он жестокосерд,
но в отношении галактик
неукоснительный эксперт.

Движимый нравственным законом
сквозь жизнь уверенно течет,
в небесное вplывая лоно,
как некий древний звездочет,
и шлет ему святой георгий
привет со страшной высоты,
и замирает он в восторге:
аз есмь – конечно есть и ты!

Храпят бойцы, от ран страдая,
луна кровавая встает.
Цветет рябина молодая
по берегам стерляжьих вод.
А мы, тоскуя от невроза,
не любим ратного труда
и благодарственные слезы
лить разучились навсегда.

Ирина МАШИНСКАЯ

КНИГА

Бабушке

Ты дремлешь, меня ожидая, одета
нарядная, у стола – скатерть в сто ватт – открыта

дверь, с порога я вижу вазочки и закуски,
будем с тобой чай из чашек московских

Кобальт их небосвод, измайлово разливая
волнами на краю бежит кайма золотая

а в ней корабли, как петли в шелковых ширмах
Как я люблю, как ты говоришь,

шорох

ногтем разглаживаемой фольговой
узкой закладки, складывающейся по новой

в устной книге, ясной и сильной рани
Фанички-Зины-Лизы-Шурочки-Лени-Ани

с музыкой над Днепром, обыском на Никитской,
с лицами всех моих перед лицом бандитской

В окна вошла округа, вспыхнула и погасла
но горизонт зеркальный – словно фольги полоска

Там волна волну залатает, фольга золотая
это еще не точка, это лишь запятая

там вода воду тешит, волна волну утешает,
и что еще не бывало, уже бывает

Ирина МАШИНСКАЯ

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Сегодня полгода, как я оставляю округу,
смеясь, удаляюсь, под руку
себя, как бывало, возьму.

Довольно полгода горячего пепла и пыли –
хлебнувшая пыла и воли,
валяй в ледяную весну.

В кустарник нырнув на краю неживого болотца,
где корню и корню бороться
не надо хотя бы во льду,

я в сад вулканический бедный – и тот, у Колхозной,
резиновый садик каркасный,
не тронув калитки, войду.

К чему ж мы готовились, как не к уходам, побегам,
не к слою за слоём победам
огня над свободой плато,

когда мы стояли вдвоем с воробьем у солдатских
сапог, на дорожке, в недетских
он – перьях, я – первом пальто.

Такая, выходит, свобода у нас и порода:
округа тесна, и погода
дорожки черней ледяной.

Базальтова скатерть и та, остывая, сомнется.
Остынут и станут потверже, чем те восемнадцать,
полгода, что побыли мной.

Ирина МАШИНСКАЯ

18 ЛЕТ СПУСТЯ

Н.Р.

Любой аэродром немного был тобой
любой! наклонный травяной
и в ноябре
под первую слюдой
был ты, мой боль, мой boy

Стальные бабочки, на крыльях ковыляя
проколоты насквозь,
ангар находят свой

Всегда я знала, что и мы с тобой
и мы поднимемся над выгнутой землей
и полетим к Ангарску и Вилюю
Земля раскрутится под нами, как Savoy

Я буду жаворонок, будешь ты совой

Мы полетим над гиблыми местами
горелыми лесами и ковыль
поднимется и лес густой за нами
Не будешь ты бобыль

И мы увидим к северу наклон
атласных лент без петель и зацепок,
осколки мочажин, и в ряби цыпок
Байкал. И лес подыметсЯ с колен

Их сильные, курсивом, имена
начав с Урала, с детства наизусть я,
но собственные забывают имена
дойдя до устья

Что знали мы про взлетный,
травяной,
проталин йод
и наст в скрижалях трещин
как мы подыместсЯ и целый свет отыщем,
что атласа не хватит нам с тобой

Ирина МАШИНСКАЯ

Москва в марте. Метро. Чужестранец

Чужая музыка мобильная
толпится душами живых.
Небольшая дорога длинная
прохожему о мыслях двух.

Какою мыслью озабочена
толпа, что ханская огонь,
на мостовую, солью траченную,
выплескивая лохань?

Лузга ларьков у того выхода,
чудные марки сигарет.
Нет у него другого выхода,
кто бронзой мятою согрет.

Он на винтовку опирается,
не зажигая фонарей,
и сумерки его сгущаются
над кашицею у дверей.

Он друга ждет, бойца, товарища –
вот-вот на талую тропу
горячий пар, в лицо ударящий,
без шапки вынесет в толпу.

Дыхание двери, вращающей
водою – лопасть – кормовой,
лишь одного не возвращающей
в своей раздаче дармовой.

Нам остаются только здания,
в аквариуме чудо-сом,
углы высотки на Восстания,
где шел кругами гастроном.

Там как чужой приезжий мечется
и выход не находит свой,
и всё черней ступени светятся,
и спит, и сом еще живой.

Ирина МАШИНСКАЯ

ШЕСТВИЕ

час неровён – темнеет, ровня
присядем медленно на дровни
и будем слушать хор подвод
и русел узкогорлый ход
как та телега раздвигая
брега, гремит как неживая
река ночная под горой
свои квадратные колеса
вжимая в гравий голубой

как за горой сквозь призрак леса
недосведенного под ноль
пылает поезд как пароль
как на ходу, покато к югу
плато плечистое живет
и шествует на шавуот
как дым чужой, от лога к логу
толпа рассеянных урочищ
как горсть рассыпанных монист

как серозем-туман зернист
как слух ночной, земля, морочишь
и вспять над рваными мостами
над картой с точными крестами
влачится тучи плащ пустой
над грязным серебром Дуная
как пойма хлещет неродная
за пешеходною листвою,
бадья небесна холостая,
как ровен холод холостой

Ирина МАШИНСКАЯ

НА ВОСХОДЕ

петельки струй аккуратно крючком зацепляя
цапля стоит удивленная и молодая
и поражено глядит на цепочки вьюнков и воронок
как покидают ее как по стрелю скользят спозаранок
вниз по теченью арабские цифры и точки
четки царапины солнечных ядер цепочки
тигли и стебли и все запятые колечки
как разливаясь по телу лимонной слюдою
первого света как утро идет золотое
как оно щурится солнце встающее ради
этой вот меченой пестро-стремительной глади
как догоняют плоты из слоистого сланца
трех мудрецов в лепестке одного померанца

как застывают в затонах стоят над водою
как застревают над мелочью медной любовью
струи осиновых горсток хитон махаона
как близоруко и медленно дочь фараона
ива склоняется в скользких сандалях из глины
над колыбелью ореха пустой скорлупой окарины
ловит летящие вниз карусели-кувшинки
в желтых корзинах лежит по младенцу в корзине
как их уносят на юг ледники слюдяные
плоть водяная бессолевые копи стальные
магма слоистая черно-лиловые сколы
круглые мускулы смуглые берега скулы
ах как сверкнут плавунца то макушка то голень
остов жука в гамаке ему памятник камень

одновременная цапля над быстрым потоком
приводом одноремным от устья к истокам
запад в востоке затока в нагретом затылке
марка в конверте початый конвертик в бутылке
быстротекущим бессмертьем тугие восьмерки
стеблей веревки и медных колен водомерки
ломкие скобки
пускай же она молодая
пусть говорю я сама себя не покидая
над золотистой лесою еще постоит Амадея
цапля волхвица ловица лучей молоточек
как ты кручинишься камень – вода меня точит

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

Артхаус

спешит берлинская девчонка
по освещенному перрону

внутри по длинному вагону
идет немецкая турчанка

одночастевка эка малость
араб идет из ресторана

я эту фильму городскую
смотрю с московского дивана

лети лети вдоль *Eisenbahn* 'а
Аллаха милость и немилость

2050 год

египтянин поклоняется
правильным богам
мы были немцы
хорваты белорусы
стали египтяне
нас было мало
(почти все погибли
при порт-саиде)

нас будет много
вторая волна
сметет единобожников
в долине нила
Гор Баст Анубис
заговорят со всеми
как сейчас
говорят с нами

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

* * *

тратата тратата
вышла кошка за кота
смотрит смотрит из окошка
там высокая трава
кошка кошка
ты вдова

рот его забит землей
прошлогоднею травой
кот котович
иван петрович
не возвращается домой

2008

* * *

очевидного нынче мало
раньше больше бывало

а теперь и очами видное
недостаточно очевидное

а заочное
вроде как подзамочное

или для групп друзей

вы не можете видеть эту запись

а эту

эту пожалуйста

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

Жить долго. 1974

андрей вознесенский
привозит в ЦКБ
томик мандельштама
<с предисловием дымшица>

борис леонидович
говорит спасибо
откладывает в стопочку
понимает почти всё

Отрывок

трудно привыкнуть
что Овидия
не отправляли в ссылку
а если и отправляли
то рядом
не в Киммерию
тут я мог бы поставить ссылку
но не поставлю
ищите мои дорогие
<...>

труднее привыкнуть
что нечем
и незачем
свой огород городить
потому что с каждого места
приходится уходить
ближе и ближе
леса горят
завтра завтра
не сегодня
кажется так говорят

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

* * *

не в дальнем далеке
со страшною клюкою
она нас ждет с тобою
мы с ней рука в руке
как мой сурок со мною

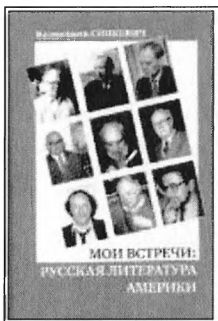
зачем зачем
торопимся сестрица
затем затем
что надо торопиться
как вешняя вода
как жизнь как ледоход
туда туда
где нас никто не ждет

1982/2011

ОБ АВТОРЕ: Андрей Витальевич ВАСИЛЕВСКИЙ, Москва. Родился в 1955 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 1985 году (поэтический семинар Евгения Винокурова). С 1976 года работает в журнале "Новый мир", с 1990 года – ответственный секретарь журнала, с марта 1998 года – главный редактор. С 1976 года выступает как литературный критик на страницах самых разных периодических изданий. Наибольшая журналистская активность приходилась на конец 80-х – начало 90-х годов. Печатал стихи в журналах "Новый мир", "Арион", "ШО" (Киев). Автор трех поэтических книг – "Все равно" (2009), "Еще стихи" (2010), "Плохая физика" (2011). Координатор литературной премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ года. Член жюри фантастической премии "Портал" (Киев) и некоторых других литературных премий. С 2002 года ведет семинар поэзии в Литературном институте.

Павел КРЮЧКОВ

ТО, ЧТО ХРАНИТСЯ В ПАМЯТИ



Валентина Синкевич. Мои встречи: русская литература Америки. – Владивосток: «Рубеж», 2010. – 384 с.

Книга замечательна, помимо прочего, тем, что она – уникальное свидетельство. Успевшее, уцелевшее. В ее названии ненавязчиво и естественно прячется дело, которому Валентина Синкевич, живущая в Филадельфии, отдала десятки лет жизни, – альманах русской поэзии «Встречи». К сегодняшнему дню издание выходит перестало: кончились средства, исчерпаны силы. Кстати, дальневосточный критик Александр Лобычев точно и объективно писал, что с течением лет альманах «приобрел форму своего рода виртуального салона или клуба», с его уникальной внеиерархичностью, с органичными завсегдагатами и неожиданными гостями («Рубеж», 2004, № 5, стр. 382–383). Но свою культурную миссию Валентина Алексеевна выполнила на все сто. Она предчувствовала своеобразную границу, за которой ее детище превратится в памятник литературы, станет достоянием библиотечного фонда, трезво и печально писала об этом своим корреспондентам (я бережно храню ее письма тех времен, когда «Встречи» еще фигурировали в обзорах новомирской «Периодики»). А в последние годы, когда тихоокеанский альманах «Рубеж» возродился усилиями А. Колесова в новом качестве, Синкевич начала публиковать там – и в других изданиях – документальные новеллы о литераторах, с которыми ее сводила судьба, – от Ивана Елагина, Ольги Анстей и Валерия Перелешина до Николая Моршена, Игоря Чиннова и Олега Ильинского. И еще Бродский, Лосев, Коржавин и другие.

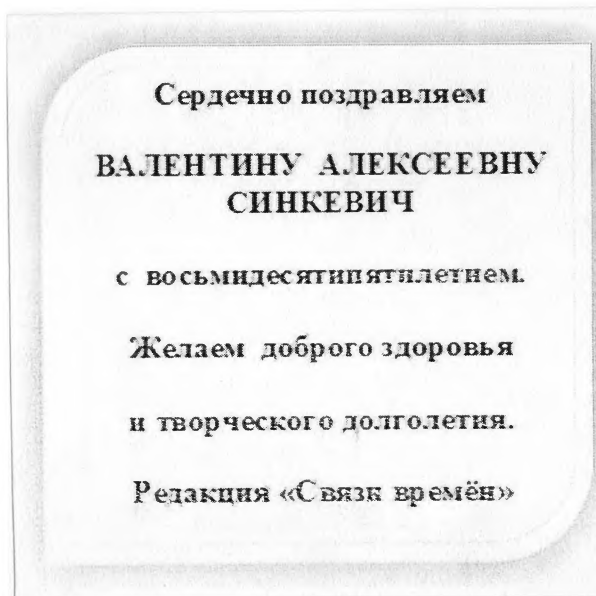
Сегодня почти никого из первой и второй волн эмиграции не осталось. Она всех их проводила, всем послужила своим редакторским чутьем и расположением и каждому поклонилась

в своих очерках – за талант, за слово, за то что – были. Трогательно написала во введении, что лично не знала лишь троих – Ивана Савина, Владимира Набокова и Нину Берберову. Восемь лет назад, в Москве, уже выходила книга «...с благодарностию: были» – для настоящего издания Валентина Алексеевна часть статей отредактировала заново и добавила немало новых. Разделив свой труд на части – соответственно трем «волнам» эмиграции, Синкевич ввела и специальный раздел «На земле американских поэтов и прозаиков», где рассказала о своих всемирно известных соседях по обретенной земле проживания. «А первый национальный поэт Америки Уолт Уитмен был бы моим соседом, живи я здесь в XIX веке. В последние годы жизни Уитмен поселился в соседнем с Пенсильванией штате Нью-Джерси, в небольшом городке Кэмден, который расположен на берегу реки Делавер, напротив Филадельфии, где я живу вот уже скоро 60 лет. Его дом-музей довольно часто посещают русские туристы. Для меня все эти авторы как бы ожили. Здесь они писали, и здесь был их родной дом, который я могла посетить. А дом, как известно, почти всегда отражает дух его обитателей, даже если они уже давно переселились в мир иной». Даже и в этих, как она их назвала, «субъективных очерках» о литераторах, которых она никак не могла знать, Валентина Алексеевна держится того же забытого, так «нехватяемого» нашей словесности тона целомудрия, музейной деликатности и непосредственности. Рассказывая о своих героях, она сообщает сведения, изрядная часть которых встречалась и еще встретится знатокам и любопытствующим, – в специальной литературе: в энциклопедиях, словарях, биографических и прочих трудах. Но ведь свидетельство любви, сочувствие к живой и ранимой душе собрата, водящего пером по бумаге, помноженное на личное впечатление, дает особый эффект. Да и много ли мы знаем о Борисе Филиппове, Владимире Шаталове или Леониде Ржевском? Нет, не зря, вспоминая очеркиста, издателя и коллекционера Эммануила (Эдуарда) Штейна, Синкевич приводит слова Адамовича, сказанные о другом человеке, что наша жизнь была бы куда беднее без этого конкретного человека, изданного Господом Богом в единственном экземпляре. И могла бы добавить от себя: надо успеть поблагодарить его за то, что был, и вспомнить то, что хранится о нем в собственной памяти.

Павел КРЮЧКОВ, Москва. "Новый Мир", №3 за 2011г.

ОБ АВТОРЕ: Павел Михайлович КРЮЧКОВ родился в 1966 году в Москве. Литературный критик, редактор отдела поэзии журнала "Новый мир". Научный сотрудник мемориального Дома-музея Корнея Чуковского в Переделкине.

Валентина СИНКЕВИЧ



ВСТРЕЧА

Тоненькая книжечка стихов
Вами издана в Париже.
Пыльный запах шелка и духов.
Кресло. И собака руку лижет.

Ваше страстное, святое Ремесло
рифмовало всё, что было былью,
всё, что здесь забвеньем замело,
всё, что здесь покрылось пылью,

всё, что было много лет строкой,
ликом, отраженным зеркалами,
Вашим взглядом, сделавшим такой –
нашу ту, единственную встречу с Вами.

Всё же – разыскала Вас в стихах,
или заклала, покуда не воскресли
Вы, с упрямой неулыбкой на губах,
я, сидевшая когда-то в Вашем кресле.

Валентина СИНКЕВИЧ

11 СЕНТЯБРЯ

Закроем двери в этот день, дочь,
Наденем самые темные платья.
Этот день на глазах превращается в ночь,
на которую пало чье-то проклятье.

Слушать речи – что воду в ступе толочь.
Знаем только, что – смерть и что снова
камни рушатся, будто в давние годы, дочь,
те, лишавшие близких крова.

Кто зовет, и кого зовут к небесам?
Камни рушатся, плавится воском железо.
Мир, расколотый вновь пополам,
Говорит, что к спокойствию путь отрезан.

Что сказать обо всем этом, дочь?
Сентябрям опять нет конца и нет краю
Двери на ключ, чтобы страх превозмочь...
Что еще? Я не знаю. Не знаю...

А на землю ложится тень.
Солнца нет. И луна не восходит.
Пыль и слезы. Так кончился день.
Только смерть еще около бродит.

ЛЕТОМ

Да полно, неужто так душно?
Влажная ночь наполняет угаром. Опять
без божества и без вдохновенья,
без стихотворения, вновь равнодушно
на ночь раздеться и лечь на кровать.

И заснуть до утра, до зимы, до мороза –
сани скрипят и полозья скользят по снегу
мимо влажной жары, мимо жарких камней.
Стихотвореньем в снегу распускается роза.
И снится: будто бы снова я выжить могу.

Валентина СИНКЕВИЧ

* * *

Испания. Коррида. Коридор.
Ушла отсюда тень пришельца-Хемингуэя.
Но всё еще шаги свои считает Командор
и искушают Донны Анны губы, шея.

Здесь тот собор века уже молчит,
хранит свечу, зажженную убийцей,
крадущимся по кладкам древних плит
Испании каменнолицей.

Здесь только днем толпа пуста, пестра –
снует по улицам, вливаясь в магазины,
а ночью тенью страшной у костра
еретиков обугленно чернеют спины.

И каменно часы на башне бьют
двадцатого средневековья века,
Испания, где гениальный рыцарь-шут
навек воспел безумье человека.

* * *

Да, мы требовали очень многого –
от работы в поте до высочайших тем.
И вот пустеет наше неуютное логово.
Но будьте благодарны тем,
писавшим чернилами, красками.
Плакали,
днями работали,
а к звездам шли по ночам.
Что вы скажете нам, спокойные знахари?
Нас узнаете ль по смертельно усталым глазам?
Мы уходим с земли. А земля чужестранная.
А своя жестока. И на тысячу верст
разметала судьба нас,
одарила случайными странами –
знайте, путь наш был ох, как не прост.

Валентина СИНКЕВИЧ

ВЕСТЬ ВИНОГРАДА

Так уезжают из дома.
Сложены вещи. Питье, сухари.
В теле знакомая с детства истома.
К двери пойдя. И дверь отвори.

Что за порогом? Не догадаться.
Счастье. Несчастье. Где – позади?
Что, коль сегодня только пятнадцать,
а завтра больше шестидесяти?

Если поэт говорит – не надо
ни стихотворенья и ни звезды, –
что остается? – Весть винограда
о том, что вино будешь пить не ты.

* * *

...Не жалею, не зову, не плачу.
С. Есенин

И всё-таки когда-то позовешь.
Заплачешь. И слово грустное,
быть может, бросит в дрожь.
Стихи не буду я
тебе читать. Прочтешь сама
про то, как много находила я,
входя в чужие страны и дома,
про то, как далеко ходила я
не по своей, твоей вине,
про то, как злою силою
оставила меня ты в стороне
другой. И, слава Богу, я
живу, пишу в дому другом.
А ты останешься далекою
всё там, где был когда-то дом.

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

Я ВСТРЕЧАЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Беседа с Валентиной СИНКЕВИЧ



Ирина Чайковская. *Валентина Алексеевна, пожалуйста, расскажите немного о вашей семье – о родителях. Каким образом они оказались в Остре, чем там занимались. В 15 лет попав на принудительные работы в Германии, вы фактически лишились семьи. Какие у вас остались воспоминания о родителях? Знаете ли вы об их жизни в военное и послевоенное время? Что случилось с вашей сестрой?*

Валентина Синкевич. Коротко рассказать о моих родителях довольно трудно, так как жизнь их была очень сложной, можно даже сказать – трагической. Начну с того, что жили они не в свое время, то есть жили во времени, в которое совершенно не вписывались. Даже я, еще ребенком, замечала «чужеродность» своих родителей, их несовместимость со многими людьми – с культурным уровнем, да и с внешним видом этих людей. К тому же было и весьма опасное «социальное происхождение»: мать – дочь генерала царской армии, отец – сын священника. Оба потомственные дворяне. И родственники за границей, включая дальнего, но всё же родича, Игоря Ивановича Сикорского. (Моя бабушка по отцовской линии, урожденная Сикорская, была родной сестрой отца авиаконструктора.) Вот от всего этого мои родители-киевляне забились в Острь, провинциальный городок Черниговской области. Я уверена, что таким образом они спасли свою жизнь: оба умерли «своей» смертью, что, опять-таки, для *того* времени и с *теми* биографическими данными, было совсем не просто. Они жили под страхом ареста и мы, моя старшая сестра Ирина и я, остро ощущали этот страх.

В Остре отец, юрист по образованию, стал преподавать математику в двух остерских десятилетках, считая юридическую карьеру в те годы преступной. А мать работала на

метеорологической станции. Жили мы очень бедно, гораздо хуже коренных остерских жителей, потому что в революцию родители потеряли всё до нитки. Особенно это коснулось матери: она была из богатой семьи.

Родители очень серьезно занимались нашим воспитанием. С раннего детства они приучили нас к чтению хороших книг, за что я буду им благодарна до последнего своего вздоха. И так же воспитали любовь и сострадание к четвероногим, «меньшим братьям» человека. В основном последнему нас успешно учил отец, хотя я считаю, что его успех в большой мере зависел от унаследованных от него генов. Отец умер в 1939-м году, а мать в 1952-м. Военное время в России было для меня коротким. Помню страшный голод первой и последней моей зимы в оккупированном немцами Остре. А дальше – с 1942 года и до конца Третьего Рейха – немецкие оstarбайтерские лагеря и принудительная работа (в моем случае – уборка бюргерских квартир). Только после войны я узнала о трагической смерти Ирины, которую очень любила, тосковала по ней даже больше, чем по матери. При освобождении Остра ее смертельно ранило осколком снаряда. Я написала домой через год после смерти Сталина, а мать умерла за год до того. Раньше не писала, боясь навредить сестре, не зная, что ее уже нет в живых.

И.Ч. *Знаю, что в Германии вы встретили русскую семью, которая Вам помогала. Не расскажете ли об этих людях подробнее?*

В.С. По лагерным порядкам нам, оstarбайтерам, полагалась свободная половина воскресенья. За пределы лагеря мы могли выходить, но только с нашивкой знака ОСТ на одежде. И вот как-то, в выходные часы на улицах Данцига, я случайно (случайно ли?) встретила пожилую чету, оживленно говорящую о чем-то по-русски. Мы познакомились. Белоэмигранты, русские интеллигенты, Конрад Витальевич и Зинаида Васильевна Монастырские, жили в Германии с начала двадцатых годов и были уже немецкими гражданами. Они очень заинтересовались мною, молодой девушкой *оттуда*. К концу войны, когда советские войска подходили к Данцигу, они приняли решение эвакуироваться. И выразили желание взять с собой меня. Я спорила нашивку ОСТ и отправилась с ними в путь, в нашем случае водный. Мыплыли из Данцига в Киль на пароходе, переполненном немецкими беженцами. Всю дорогу я молчала как рыба, дабы никто не узнал, что я никакая не немецкая беженка, а самый чистокровный «унтерменш». В другое время «провернуть» такое было бы просто невозможно. К моему счастью, немецкие бюстители *тех* порядков «работали» уже плохо, не до того было им. Потом я жила рядом с

Монастырскими в лагерях для «перемещенных лиц» (displaced persons, сокращенно – DP /ДиПи/). Конрад Витальевич умер еще в Германии, а Зинаида Васильевна, ставшая потом крестной матерью моей дочери Ани, умерла в Америке. Детей у них не было. О нем и о ней у меня сохранилась самая светлая и благодарная память.

И.Ч. *В 1950 году в Америку вы ехали с мужем и маленькой дочкой. Как сложилась Ваша личная жизнь?*

В.С. Да, в 1950-м году я вместе с мужем и трехлетней дочкой эмигрировала в Америку. Супружеская жизнь у нас не получилась, закончилась разводом.

И.Ч. *Из Германии вы везли с собой много тоненьких сборников «дипийских» поэтов; на пароходе, шедшем в Филадельфию, вашими спутниками были поэты Ольга Анстей и Иван Елагин. А когда сами начали писать? Откуда возникла эта потребность?*

В.С. Знаменитый «дипийский» пароход «Генерал Балу» совершал рейсы от немецкой гавани Бремерхафен (пригород Бремена) до гавани нью-йоркской. На этом военном транспортном суденышке прибыли в Новый Свет многие из моих друзей, бывших ДиПи, среди них художники Сергей Голлербах и братья Лазухины – Михаил и Виктор. А с супружеской четой поэтов, Иваном Елагиным и Ольгой Анстей, совершавших этот «круиз» с четырехлетней дочуркой Лилей, мы плыли на «Генерале» одновременно. Но близко познакомилась уже на суше, потому что тогда Ольге Николаевне и мне нужно было сверхзорко следить за своими дочками, дабы они не свалились в какой-нибудь из многочисленных открытых, просто зияющих, люков на этом самом «Генерале». Но, справедливости ради, нужно сказать, что наша довольно-таки старая лохань, до предела переполненная *людом*, никого из нас не потопила, а скрипя, дрожа и захлебываясь океанскими волнами, всё же доплывала до надежной гавани со всем своим грузом в целостности и сохранности. Да, я везла много «дипийских» книжечек, не только поэтических, ставших ныне библиографической редкостью. Груз этот был не тяжелый: «дипийские» книжечки, в основном были тощенькие, как в то время и их обладатели, люди, которые каким-то шестым чувством предугадывали, что в будущем эти жалкие пожелтевшие странички станут драгоценными. Здесь я не подразумеваю денежную ценность «дипийского» книжного производства, хотя чудом сохранившиеся книжки-малышки, издававшиеся в руинах побежденной Германии, стоят сейчас довольно дорого.

Стихи я писала с десятилетнего возраста. Не писала только во время войны в Германии. Откуда возникла эта потребность – не

знаю. Но предполагаю, она от какой-то врожденной любви к поэзии. Печататься же я начала поздно: в 1973 году, то есть в 47 лет. А сейчас стихи не пишутся. «Года к суровой прозе клоняют», - говорил на третьем десятке жизни Пушкин. Мне же 85.

И.Ч. *Расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с Андреем Седых. Ваша первая публикация была в «Новом русском слове». Когда это произошло? Какое стихотворение было опубликовано?*

В.С. Мое знакомство с Андреем Седых (Яковом Моисеевичем Цвибаком) возникло в 1973 году, незадолго перед тем, как он стал главным редактором «Нового русского слова» – тогда единственной ежедневной газеты на всю Америку. Я встретила его на каком-то русском вечере в Нью-Йорке. Первое же мое стихотворение (довольно неудачная миниатюрка) было опубликовано в газете еще предыдущим редактором, Марком Ефимовичем Вейнбаумом, внезапно скончавшимся в том же 1973 году. Когда Яков Моисеевич занял его пост, он попросил меня писать отзывы на книги стихов. Помню, первую рецензию я написала на поэтический сборник «Связь времен» израильской поэтессы Лии Владимировой. Затем стала писать литературные очерки и публиковать в газете собственные стихи, которые воспринимались там как ультрамодерные. Но всё же их печатали. И вот эта востребованность, необходимая каждому пишущему, была необходимой и мне. Я бесконечно благодарна Якову Моисеевичу, поддержавшему меня, совершенно неизвестного тогда начинающего автора.

И.Ч. *Вы самоучка, вашими университетами были книги. В родительском доме в Остре была большая библиотека. Кого из русских писателей и поэтов вы полюбили с детства? Были ли у вас как у поэта предшественники на родине? Кто из американских авторов вам близок и интересен?*

В.С. Да, Ирина, я стопроцентная самоучка. Так сложилась моя судьба. И, конечно же, книги были, есть и будут моими учителями, университетами и средством сохранения до старости воли к творчеству, интересу к людям и к самой жизни. Интерес к людям. В этом мне очень повезло: я встречала, притом в самых неожиданных местах и часто совершенно случайно (но опять-таки, случайно ли?), исключительных людей, талантливых и душевно добрых. Они не должны были «учить» меня, я брала у них сама всё, что казалось мне ценным. Их было много, но назову лишь нескольких: прозаик Леонид Денисович Ржевский, журналист Андрей Седых, литератор Борис Филиппов, художник Владимир Шаталов... А в начале жизни – мои родители.

Книг в нашем остерском доме не могло быть, ведь мать и отец в революцию потеряли всё. Однако они нашли в Остре друзей, из так называемых «бывших», у которых была большая библиотека замечательных книг, великолепно изданных и напечатанных еще по старой орфографии. Родители строго выбирали для нас книги, следя за нашим чтением. Поэтому к шестнадцати годам я была уже хорошо начитанной, страстно любящей настоящую литературу – о, не только русскую. Любила и музыку тоже. Ирина хорошо играла на рояле, а я посредственно пела. До сих пор помню многое из шалыпинского репертуара, так как под аккомпанемент басовых арий и романсов, которые пел отец в нашей хибарке, прошло всё мое детство. (Он, кроме юридического факультета Киевского университета, закончил Киевскую консерваторию по классу вокала).

С очень раннего возраста я полюбила всех наших классиков. Даже сейчас довольно успешно передаю американцам свое благоговейное чувство, переведенное мною на английский язык. Говорю об этом уверенно, так как вот уже семь лет мои литературные лекции регулярно посещают люди самых разнообразных профессий, и мы обсуждаем произведения русских писателей, преимущественно классиков. А говорить о собственном творчестве мне чрезвычайно трудно. Наверное, какие-то корни моей поэзии можно поискать в Серебряном веке. Почти все критики, писавшие о моих стихах, отмечали в них влияние западной поэзии. Мне кажется, что самым гениальным русским поэтом двадцатого столетия был Мандельштам. Из моих любимых американских поэтов назову троих. Эмили Дикинсон (Emily Elizabeth Dickinson) нравится мне своей сложной и мудрой простотой. Чрезвычайно интересен богатейшей метафорикой Валлас Стивенс (Wallace Stevens). И баловень богов и Бродского – знаменитый Уистан Оден (Wystan Hugh Auden). Очень люблю и довольно хорошо знаю американскую прозу, считаю ее замечательным явлением: на английском языке, в сравнительно короткое время, американцы создали свою, оригинальную литературу, совершенно не похожую на английскую.

И.Ч. *Что вам дала многолетняя работа в библиотеке Филадельфии? Как получилось, что вас взяли на эту работу?*

В.С. Работа в библиотеке, в первую очередь, дала мне довольно надежный кусок хлеба. В моем случае, это было особенно важно, так как я целых десять лет зарабатывала на жизнь «черным трудом». Чего только не приходилось делать. Нужно заметить, что этой участи не избежало большинство бывших «перемещенных лиц». Так, будущий американский

профессор-славист Иван Елагин мыл в нью-йоркских ресторанах полы и посуду, а будущий академик Нью-Йоркской Национальной Академии Дизайна Сергей Голлербах работал в саду и выгуливал собак. Известный поэт Николай Моршен, ставший затем преподавателем русского языка в Американской Военной Академии Иностранных Языков, собирал в Калифорнии апельсины. Этот перечень можно продолжать довольно долго. Однако у меня был самый внушительный рабочий стаж: целых 10 лет. И тут, на мое счастье, в космос взлетел советский спутник. В Америке это явление было неожиданным и весьма неприятным. Но оно пробудило большой интерес ко всему русскому и не в последнюю очередь к нашему «великому, могучему», находившемуся здесь в довольно примитивном состоянии: несколько утрируя и драматизируя ситуацию, можно даже сказать, что преподавание нашей мовы находилось тогда на уровне какого-нибудь африканского диалекта. И вдруг – ни с того, ни с сего – спутник! Стали срочно искать педагогов и интерпретаторов всего русского или советского, если хотите. Но таких людей тогда, в отличие от нынешнего времени, в Америке находилось маловато. Особенно это касалось области языка, поскольку нередко бывало так: если человек хорошо владел собственным русским, то «аглицкий» у него весьма отличался от настоящего English и *vice versa*. Поэтому хороший русский в сочетании с членораздельным английским уже являлся профессией. В такое диковинное время я случайно (опять случайно?) прочитала объявление о том, что университетская библиотека ищет женщину, умеющую печатать на машинке и владеющую хотя бы одним иностранным языком. (Сейчас такие объявления давать нельзя: предпочтение женщины мужчине и наоборот – считается «половой дискриминацией».) На интервью и проверочный тест пришло 19 претенденток. Но иностранные языки у них оказались никудышные: какой-то там немецкий, французский или еще хуже – испанский, этот уж никуда не годился, так как в Америке испаноязычными – хоть пруд пруди, или как говаривали в моем родном Остре: «хоть греблю гати». А у меня – русский! Было это в пятницу, а в понедельник я уже работала, но не с тряпкой в руках, а с библиотечными книгами и бумагами, за письменным столом, от которого окончательно отошла только через 27 лет. Конечно же, я сполна воспользовалась отделом русских книг в библиотеке престижного Пенсильванского университета. Все свои «ланчи» проводила за книгами в укромных местечках библиотеки. Часто брала с собой портативную русскую машинку, выстукивала на ней очередной очерк или рецензию в тех же спокойных уголках. А дома сидела за этим же занятием по ночам, расплачиваясь за это на следующий рабочий день. Поныне продолжаю почти тот же образ

жизни, возникнувший, я думаю, еще в Остре, где так хорошо читалось при свете тусклой электрической лампочки под потолком, а то и при керосиновой лампе, а в худшие времена и при бешено коптившем «каганце». Помнит ли кто-нибудь это «светило»? В моей жизни оно существовало реально. Вообще я удивляюсь – как до сих пор окончательно не ослепла, хотя недавно один глаз всё-таки «сдал»: ослеп, но я заметила это не сразу, приведя в недоумение глазников, благополучно удаливших катаракту, но пытавшихся страшить меня перед этим всякими ужасами.

И.Ч. Широко известен Ваш портрет кисти Владимира Шаталова. В этом портрете ощущается большая любовь художника к «модели». Расскажите, пожалуйста, о Шаталове. Знаю, что был он человек сложный, т.п. Вам, наверное, было с ним нелегко...

В.С. Их было много, дорогая Ирина, этих моих портретов кисти замечательного художника Владимира Шаталова. Я не знаю о каком портрете вы говорите. Свою «модель», то есть меня, он писал и с натуры, и по памяти довольно часто. Ошибочно многие думают, что мое стихотворение «Портрет» автобиографично. Нет, это чистая фантазия: почти живое произведение искусства критически смотрит на своего создателя. Обычно ведь происходит обратное. Большая любовь к «модели»? Да, у нас была долготелня и довольно бурная дружба, длившаяся долгие годы, правда, с перерывом в несколько лет где-то посередине. Писать подробно о наших взаимоотношениях я не могу, так как это слишком интимная тема, легко переходящая в пристрастные откровения. Но несколько слов о творческом и вообще о характере Владимира Шаталова, всё же, скажу. Сергей Голлербах, по характеру весьма отличающийся от Шаталова, назвал своего друга-художника «трагической фигурой». С этой характеристикой можно согласиться. А недавно я прочла у известного новомирского критика Павла Крючкова, что некоторые поэты живут под гнетом ответственности перед своим даром. Эти слова могут быть отнесены и к Владимиру Шаталову. Он был также подвержен состоянию, названному «муками творчества». Живопись давалась ему нелегко: она буквально рождалась в муках, быть может, потому что он постоянно сомневался в художественной ценности своих работ. Притом хотелось настоящей славы, о которой мечтал он, молодой студент, еще на родине. А в Америке такая слава в этой области, да и в любой другой, наверное, кроме эстрадной или актерской, – кому она достается? Никому или почти никому. И ностальгия по России человека, не принявшего Запада в целом. Еще можно сказать, что Владимир Шаталов обладал романтической

натурой, отсюда его тоска по тому, чего нет и в данный момент быть не может. Пил? Да, не без этого. Но алкоголиком он не был! Было мне с ним «нелегко»? Было и легко и нелегко, грустно и радостно, счастливо и несчастливо... Всего было сполна и даже через край.

На память об этом талантливейшем человеке у меня в доме висит несколько его картин, включая знаменитый портрет Гоголя, вдохновивший умиравшего Ивана Елагина написать последнее в его жизни стихотворение «Гоголь», посвященное Шаталову. Вообще же художник дарил свои работы редко – даже близким друзьям. И продавал весьма неохотно.

И.Ч. *Кто из деятелей родной для Вас «второй эмиграции» был Вам наиболее близок в творческом плане? Уход кого переживается до сих пор?*

В.С. Из «моей», второй волны эмиграции, в творческом плане самой близкой была чета профессоров Ржевских. У них я неизменно встречала Новый год, приезжала в Нью-Йорк на их домашние литературные встречи, также виделась с ними в Летней школе Норвичского университета в Вермонте на симпозиумах, устраиваемых Леонидом Денисовичем Ржевским, приглашавшим меня читать стихи. И гостила у них на даче, находившейся на берегу живописного озера в штате Нью-Гемпшир. Со смертью Ржевских ушло многое, вернее, стало меньше той особой атмосферы, делающей жизнь творчески интереснее и содержательнее.

И.Ч. *Расскажите, пожалуйста, о своей работе в «Новом Журнале».*

В.С. С «Новым журналом» я начала сотрудничать при редакторе Вадиме Крейде. Он ввел меня в редакционную коллегию и регулярно публиковал мои литературные очерки, стихи и рецензии. А сейчас еще интенсивнее печатаюсь в «Новом журнале», главным редактором которого стала опытная и эрудированная Марина Адамович. У нас возникла настоящая дружба, давно вышедшая за рамки простого сотрудничества. С Мариной Михайловной я нашла много точек соприкосновения, например, хотя бы наша любовь к «меньшим братьям». Но вернемся к самому журналу. Это периодическое издание я считаю исключительно важным для серьезного знакомства с зарубежной литературной жизнью. В «Новом журнале» печатаются ценнейшие архивные материалы, которые умеет где-то «выкапывать» Марина Адамович. Но также публикуется много талантливого, создающегося в настоящее время по обе стороны рубежа. Я, по мере своих сил и возможностей, стараюсь хоть чем-то помочь журналу. Вклад мой, конечно, мал, но делаю, что могу: помимо регулярных публикаций, вычитываю повести авторов, соискателей литературной премии

им. Марка Алданова, учрежденной всё той же неутомимой Мариной Адамович. Также, вот уже многие годы, читаю каждый номер журнала от корки до корки, затем делюсь своим впечатлением с редактором.

И.Ч. *Вы любите животных, по-вашему, «зверей». Кроме овчарки Шерки, есть у Вас целый выводок приبلудных котов, которых Вы кормите и согреваете в холода. Что скажете про своих питомцев?*

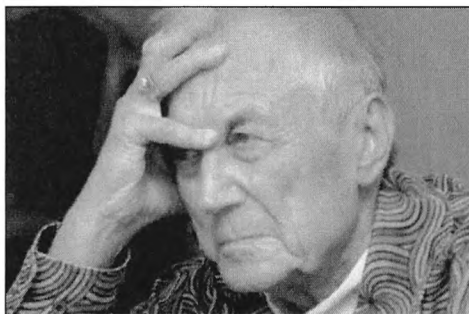
В.С. Да, Ирочка, зверей я люблю. Были звери Св. Антония и есть звери грешной Валентины. Не знаю, какие звери окружали праведника, в моем же случае – это просто собака и коты. У меня их, говоря языком Зоценко, «многонько скопившись»: овчарка Шерка, плюс трое котиков в доме, да десяток за домом. Что сказать о них? Шерка – дама любвеобильная: всяк, вошедший в дом, – ее закадычный друг. У нее – никакой дискриминации, ни расовой, ни национальной: любит весь человеческий род. Сторож она неважный, несмотря на ее серьезную породу. Но не для охраны чего бы то ни было я ее, еще щенком, с трудом «выцарапала» у афроамериканских мусульман, которые обращались с ней даже хуже, чем со своими женщинами. Шерка мирится и со всеми котиками, домашними и уличными. Но к диким зверюшкам относится строже. Даже иногда пытается поймать, с весьма неизвестной целью, то зайца, то белку. К счастью, это ей ни разу не удалось. Вы можете спросить, почему такая диспропорция: трое котиков в доме и целый десяток вне дома? Ответ прост: не все они желают жить в человеческом жилье и подчиняться чужим порядкам. Я им предлагала и стол, и дом: они выбрали первое и не приняли второе. На то их кошачья воля. Как говорится: «вольному – воля».

И.Ч. *Вы, Валентина Алексеевна, человек верующий, мудрый, много повидавший. Что бы вы хотели сказать людям, особенно молодым?*

В.С. Спасибо, дорогая Ирина, за такую щедрую оценку моей личности. Я верующая: с моей биографией трудно быть не... А повидала и соответственно пережила, действительно, много уже потому, что жила не под «гнетом собственного дара», как сказал Павел Крючков о каких-то поэтах, а под гнетом двух тиранов – Сталина и Гитлера. Опираясь на этот «опыт», могу сказать молодым, в особенности творческим людям: самое драгоценное в жизни есть сама жизнь. Я часто вспоминаю слова швейцарского скульптора и живописца А. Джакометти: «Если горит ваш дом – спасайте кота, а не Рембрандта». Такой совет может показаться странноватым: где эти наши дома, в которых есть Рембрандт? Кот – пожалуйста. А Рембрандт... Но мысль правильная: любая жизнь дороже произведения искусства – даже великого.

Валентина СИНКЕВИЧ

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО



Ноябрьский номер «Знамени» (2011) начинается не с поэтической подборки, как всегда, а с очерка Натальи Ивановой «Запрет на любовь. О дефиците эмоций в современной словесности». Она кратко характеризует нынешнее состояние словесности: «Мода на бесстрастность». И говорит дальше: «Выключение из поэзии и прозы спектра базовых человеческих эмоций: радость, гнев, страх, печаль; понижение эмоциональной температуры вплоть до нулевой». И: «Этот же синдром в стихах преобразуется в аутизм, внеэмоциональное и внеконструктивное проговаривание слов, лишенных эмоции». И, наконец, заключение: «В наших толстожурнальных палестинах чувство – редкий гость».

Эти высказывания автора, находящегося в самом центре литературной жизни, важны для меня, зарубежного читателя, всё еще следящего за творческим процессом в России. Я тоже и уже давно заметила описанную Н. Ивановой современную тенденцию погашать в литературе «базовые человеческие эмоции». Однако с радостью могу сказать, что есть исключения. Одним из таковых считаю творчество Евгения Евтушенко.

Недавно мой филладельфийский друг Марк Авербух подарил мне поэтический сборник «Стихи XXI века», на сей день, кажется, поэтов предпоследний: 2007. Я его прочла, и вдруг захотелось как-то откликнуться, что-то написать о поэте, которого считаю ярким литературным явлением. На фоне чего – времени? Да, конечно, и времени, позже названного оттепелью. Я не задаюсь целью писать о Евтушенко нечто сугубо апологическое, в моей апологии этот

поэт не нуждается. Просто под впечатлением от его новых стихов, изложу свои мысли, пусть, как всегда, у меня они несколько эмоциональны, не в ногу с нынешним временем. Должна признаться, что чувствую вину перед поэтом, так как некогда, встречаясь с ним, хотя и второпях, в суматохе и толчее, иногда создаваемой сонмом его поклонников, я не высказала ему благодарность за тот комок в горле, который ощущала, слушая его стихи. Поэт всегда читал наизусть, эмоциональный накал его слов бил своей энергией прямо в зал, нередко вызывая ответный эмоциональный отклик даже у довольно равнодушных к поэзии слушателей, американцев, например.

Евтушенко, как почти никто в нашей современной бесстрастной, постмодернистской, концептуальной или еще какой-нибудь поэзии, умеет вызвать это чувство, назову его сопричастностью искреннему поэтическому выражению эмоций и мыслей. Его стихи производятсиюминутное, сильное впечатление.

О чем они? Прежде всего, это гражданская лирика его времени – сравнительно недавнего прошлого и настоящего. Она, конечно, не исключает множества чисто лирических стихов поэта, одно из которых совершенно изумительное: «Окно выходит в белые деревья...». А в целом – творчество этого поэта страстно говорит о жизни, на которую он не смотрит с «холодным вниманием». О нет! Он, можно сказать, стихийный жизнелюб.

Евгений Евтушенко не «книжный» поэт, осторожный в словах и жестах. Он громко выражает свой взгляд на события внешнего мира. (О своем внутреннем темно и загадочно довольно много говорят другие поэты, с другим поэтическим настроем.) Острый взгляд Евтушенко направлен на то, что происходит вокруг него, не исключая политические и общественные события. Он дает оценку этим событиям, часто негативную, иногда вызывающую бурные споры. У него четкое понятие о справедливости, о том «что такое хорошо и что такое плохо». Нельзя сказать, что другие поэты лишены чувства справедливости, но они это чувство в большинстве своем не облачают в поэтическую форму. А Евтушенко облачает, неизменно вовлекаясь во все «проклятые вопросы» России: это тоже характерная черта его творчества, где бы ни жил поэт – хоть на Луне.

Что же дал своему времени Евгений Евтушенко? – Многое. «Оказалось, что смертно бессмертие ваше, Владимир Ильич», – говорил он, один из первых, и по сей день говорит на разные лады множество раз. О нас, эмигрантах второй волны, в большинстве своем – эмигрантах поневоле, могу сказать следующее: мы вдруг стали свидетелями того, что даже в Советской России смог появиться поэт, перекричавший громкие славословия всему, что

называлось советским. Он на весь мир «во весь голос» провозгласил, что не всё так прекрасно в его стране, что есть трудно смываемые черные пятна на советской действительности. Евтушенко доказал, что поэзия может стать прорывом в свободу – даже в литературе, скованной крепкими цепями советской цензуры. И воскресил веру в то, что поэзия – сила. Он сказал, что в России поэт «больше, чем поэт». И оказался прав. Подтверждение этому: над Бабьим Яром – памятник есть! К слову: я не могу поверить, что «Бабий Яр» написан с корыстной целью. Сенсация, карьера? Нет! Это смелый поступок смелого человека. Одна из его «прогулок по карнизу», которая могла закончиться весьма плачевно. Поэт не мог не знать этого.

Да, Евгений Евтушенко стал внезапно знаменитым не только в России, но и во всем мире. Рано и неожиданно он познал настоящую, головокружительную, ошеломляющую славу – выдержал ее, и не сломался. Наверное, в этом ему помогло его сибирское происхождение. Там, кажется, люди более выносливые. Так думает и сам поэт:

Я не знаю, что со мною станется.
Устоять бы, не сойти с ума,
но во мне живет пацан со станции –
самой теплой станции – Зима.

Или: «Я учился в Зиме / у моих молчаливейших бабок / не бояться порезов, царапин / и прочих других окарябок...».

Однако не все радовались и гордились своим поэтом. Были и до сих пор есть у него и недоброжелатели. Евтушенко говорит и об этой проблеме в своих стихах: «Клеветой мою душу прожгло / Меня сплетнями всеми хлестало...». Или: «И я с тех пор, как оказался взгдетым, – / стал, наконец-то всё-таки поэтом, / когда узнал, как бьет с носка Москва...». Увы, не только она.

О чем же и как пишет Евгений Евтушенко в нынешнем веке, в котором из «той» четверки он один остался с нами? Вот его «Стихи XXI века». В них есть боль за свою страну, за сдачу позиций, то есть за отказ от идеалов, которые всё-таки существовали даже в самые страшные годы прошлого века. Но стихи, как и прежде, свидетельствуют о не слабеющей, живой поэтической энергии. Поэт не дописывает недописанное, а по-прежнему пишет новые стихи, говорящие о его непреходящем интересе к событиям и проблемам – в основном русским, как и прежде. Да и к каким же еще, если «сам я собран из родинки родины, / ссадин и шрамов, / колыбелей и

кладбищ, / хибарок и храмов...»? Или: «"Россияне" сегодня звучит как "рассеяние" / Мы – осколки разломанной нами самими страны». И еще вот это, нечто очень важное, ныне необходимое: «Россия-мать, ты нам не простишь, / как ложную попытку созиданья, / потуги возродить былой престиж / ценой потери состраданья».

Поэт по-прежнему оживляет русский язык неологизмами – многие из которых не вызовут восторга в изысканных литературных салонах. Иногда в его строках встречаются такие «части речи»: «подмаякозили», «окарябки», «набестолковили», «прибульваренно», «угощатель», «завечерилось», «безмужиковые избы», «бродсколюдь»... (Последнее слово напомнило Коржавина: «Я не против Бродского, я против бродскистов.») Эти словечки «работают» в живой, смелой, родной речи поэта. Вот о ней:

Я так люблю родную речь,
такую теплую, как печь,
где можно, словно в детстве, лечь
горяченьким калачиком,
во сне жар-птицу подстеречь,
кобылку бурую запречь
и столько свеч за кружкой сжечь
с Ариной Родионовной,
как с незабытой Родиной,
которая у нас одна
и нечто больше, чем страна:
страдалица, провидица,
и только Пушкин да она –
вот всё мое правительство.

Вторая часть «XXI века» посвящена русским поэтам. Их много. Каждый из них представлен чем-нибудь для него характерным: биографический штрих, особенность наружности, черта характера, манера письма... Во всем этом поражает авторское великолепное знание русской поэзии, включая зарубежную. Сам он еще в 80-х годах сказал: «...Ваши лица – мой Лувр, / мое тайное личное Прадо... /.../ Вы себя написали / изгрызанной мной авторучкой...». И дальше даны лишь выбранные строки стихотворений.

Раздел начинается с поэтесс (я не чураюсь этого слова, так как лучшего нет – не тургеневские же «поэтки»!). Есть все три Анны: Бунина, Ахматова, Баркова. Марина тоже. И много других. Вот некоторые. Берггольц: «У Победы лицо настрадавшееся – / Ольги Федоровны Берггольц...». Белла Ахмадулина: «... Дива, модница, рыцарь, артистка, / угощатель друзей дорогих, / никогда

не боялась ты риска, / а боялась всегда за друзей...». И замечательное стихотворение о неизвестной женщине, похороненной на русском кладбище под Парижем – Сент-Женевьев де Буа. Она из-под земли вопрошает поэта: «...Что ж вы воюете, русские с русскими, / будто гражданской войне нет конца? / Что ж вы деретесь, как малые дети, / как за игрушки, за деньги, за власть? / Что ж вы Россию всё делите, делите – / так вообще она может пропасть...». А Ирина Одоевцева отдана мужу Георгию Иванову в следующий раздел, потому что: «...Такая жизнь двоих – вселенная, / ну хоть цветы в постель стели, / где вместе плечи драгоценные / и драгоценные стихи». («Драгоценные плечи» в стихотворении Иванова, посвященного Одоевцевой: «...И тогда в романтическом Летнем Саду, / В голубой белизне петербургского мая / По пустынным аллеям неслышно пройду, / Драгоценные плечи твои обнимая». – Цитата по памяти.)

И поэты-мужчины. Кого здесь только нет! Даниил Заточник – XII или XIII век. Протопок Аввакум, век XVII: «Переходила истовость в неистовость / горящего пророка во плоти, / и книгу Аввакума перелистывать, / как будто в сруб пылающий войти...». И Кантемир, XVIII век. Силлабический стих: «Во времена царя Гороха / до Кантемира Антиоха / поэт был в роли скомороха, / гонимый вроде кабысдоха / и стих иного пустобреха / был, как среди чертополоха / коровья вязкая лепеха...». И немного позже – тот же век – Ломоносов. Силлабика:

Наш многорукий русский Шива,
пустыми не держал он рук.
Он знал, что спесь невежд фальшива
и что оборвана и вшива
Россия будет без наук.
Одной рукой держал он колбу,
второй – метафоры творя,
а третьей – громко хлопал по лбу,
осатанев от комарья...

Из не столь знаменитых поэтов XIX века – был, например, очень русский поэт Иван Ключников: «Не из послушников, а из ослушников / был на Руси поэт пьющий – Ключников...». А из знаменитых – Афанасий Фет: «...Но ведь внимал ему, поэту, / сам Лев Толстой не для забав, / и сапоги тачал он Фету / с гвоздями, сжатými в зубах...». (Известно, что Фет, для развлечения своих гостей, купил у Льва Николаевича пару сапог его ручного изделия.) Апухтин «...с молодости был в немолодых, / и въехал он в бессмертие на паре / чужою страстью загнанных гнедых...».

В недавнем XX веке – вот коктебельский Волошин: «Ветрами киммерийскими взъерошен, / схватив седые кудри ремешком, / как Санта-Клаус, шествовал Волошин / с наполненным спасеньями мешком...». И Ходасевич – «...в желчность пряча жалость к миру / Владислав Фелицианович / растоптал пятою лиру, / чтобы больше не жила/ ибо слишком тяжела...». (Аллюзия на сборник Ходасевича «Тяжелая лира».) Пастернак, который «...был, как большая детская улыбка, / у мученика-века на лице...». (О некой «детскости» поэта писали его современники.) И снова штрих пастернаковской наружности в стихотворении «На смерть друга», о Владимире Соколове, он «владелец пушкинских глаз прилежных / и пастернаковских ноздрей Фру-Фру...». (Цветаева говорила, что Пастернак одновременно похож на араба и его коня. Фру-Фру – лошадь Бронского.) Такие строки можно цитировать еще очень долго.

Но вот Бродский, последний наш нобелевский лауреат по литературе. Известно, что ни дружеские, ни профессиональные отношения у поэтов не сложились. В книге есть стихотворение на эту тему, названное «Брат мой, враг мой», начинающееся с вопросов: «Как же так получилось оно? / Кто натравливал брата на брата? / Что – двоим и в России тесно? / И в Америке тесновато?...». Действительно: как и кто? Вопросы остаются открытыми.

В заключение скажу, что для меня было огромным событием услышать в исполнении знаменитого Филадельфийского оркестра и Мендельсоновского хора Тринадцатую симфонию Шостаковича, написанную на слова Евгения Евтушенко. Особенно первая часть – «Бабий Яр» – произвела потрясающее впечатление.

В энциклопедическом трехтомнике Российской академии наук «Русская литература XX века» есть большая статья о поэте, в которой цитируются строки письма Шостаковича В. Шебалину о Тринадцатой симфонии: «...Я использовал для этого сочинения слова поэта Евгения Евтушенко. При ближайшем знакомстве с этим поэтом мне стало ясно, что это большой и, главное, мыслящий талант».

Большой и мыслящий талант. Это Шостакович *услышал* в стихах тогда еще молодого поэта.

Абсолютный слух великого современного композитора ему не изменил.

Валентина СИНКЕВИЧ, Филадельфия

Валентина СИНКЕВИЧ

МОИ ВСТРЕЧИ: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА АМЕРИКИ

Глава из книги

ПОЭТ-ВЕРЛИБРИСТ ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН



Название этого очерка, в общем, не совсем верно. Творчество и литературная деятельность Игоря Михалевича-Каплана (наст. имя, отчество и фамилия – Изá Михайлович Каплан) гораздо шире, гораздо разнообразнее. Он известен и как автор коротких, опозитизированных новелл, многих литературных статей и очерков. Также он редактор и издатель литературного альманаха-ежегодника «Побережье». И это далеко не завершает его многостороннюю деятельность.

Однако в зарубежной поэзии Игорь Михалевич-Каплан, кажется, был и остается единственным верным приверженцем верлибра. Да, почти все поэты иногда пишут свободным белым стихом, но затем они довольно быстро возвращаются к привычным для русской поэзии рифмованным строкам. А некоторые и поэты, и читатели даже считают нерифмованную поэзию «сдачей позиций», что, конечно, совершенно не верно.

Иза Каплан родился в 1943 году в Туркменистане, г. Мары. Отец его, уроженец Варшавы, был преподавателем иврита, мать – библиотечный работник и журналист. Ее родители погибли во время погрома, и она с пятилетнего возраста воспитывалась в киевском детдоме. Сына ей пришлось растить без мужа, который сначала бежал из Польши в Советский Союз от фашистов, а затем из Союза от коммунистов, переселившись, наконец, в Израиль. Но в материнском доме, по воспоминаниям Игоря Михайловича, в котором нашли приют и дети репрессированных родственников, была не только

бедность, но и доброжелательная, творческая атмосфера. Мне кажется, что именно это сформировало характер будущего поэта и литературного общественного деятеля.

Михалевич-Каплан получил техническое образование во Львове, где затем работал в качестве инженера. Потом он окончил факультет журналистики Львовского полиграфического института и работал в Киеве в аппарате Союза писателей Украины. С 1964 года он стал публиковать рассказы в украинской периодике, а в 1979 году эмигрировал с семьей в США, «дабы оторваться от советской действительности». Он постоянно живет в Филадельфии.

Здесь Игорь Михалевич-Каплан устроился на работу инженером, а затем стал видной фигурой в русской литературной жизни города. За сравнительно короткий срок – за четверть века, не без бытовых трудностей (какой художник слова сумел избежать их, очутившись в совершенно иной, иноязычной среде?), он основал общество и издательство «Побережье», начал выпускать одноименный литературный альманах-ежегодник и издал целый ряд книг зарубежных авторов. В альманахе, которому исполняется 15 лет, публиковались (увы, многих уже нет с нами) и публикуются не только молодые таланты, но и маститые авторы, живущие во многих странах мира, например: Юнна Мориц, Евгений Рейн, Рина Левинзон, Борис Филиппов и др. Михалевич-Каплан автор целого ряда поэтических книг, он публикует стихи, эссе и статьи в литературных журналах, антологиях и альманахах России, Украины, Канады, Израиля и Германии.

А филадельфийским литературным сезонам по-хорошему завидуют многие города американской русскоязычной диаспоры. Игорь Михайлович обладает редким организаторским даром: он находит интересных лекторов, чаще всего это известные авторы, с большим опытом, умеющие завладеть вниманием слушателей. И в наше торопливое, занятое время, он собирает многочисленную и благодарную аудиторию и, что тоже редкость, щедро покупающую книги, обычно привозимые авторами для распространения на таких собраниях. «Это мое воспитание», – в шутку, но не без гордости говорит организатор.

По приглашению Игоря Михайловича в Филадельфии выступали Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Юнна Мориц... Слушатели тоже нередко приезжают, если не из-за морей-океанов, то из разных далеких штатов Америки.

Есть у него стихотворение «Автопортрет»: «Квадрат и зеркало – / лицо в окне. / Руки плавают на стекле / и тянутся к осени. / Рыжий свет отразится в глазах, /будто яблоки поздние/ в солнце морозном. / Свободное тело / летит к небесам / над крышами желтыми. / Дождь и судьба / стучатся в окно. / Мысли плавают на стекле, / как забытое прошлое». Здесь всё – «иносказание» (Цветаева), всё – метафизическая поэзия. А в прозе – он среднего роста, очкаст (нелады со зрением), короткая стрижка темных волос, порывист в речи и в движениях, одежда скорее от американских ковбоев, чем от Пьера Кардена.

Поэзия Михалевича-Каплана не «каждому человеку нужное стихачество» (Маяковский), но кто и когда писал для «каждого»? Она по-западному современна, хотя в ней есть и элементы архаичности. Нынешней западной поэзии свойственно отсутствие рифмы, вольные ритмы и в лучших образцах – делается упор на метафорику. Именно эти элементы доминируют в поэзии Михалевича-Каплана. Мне не приходит на ум ни один зарубежный поэт, который бы так произвольно и так виртуозно пользовался метафорами. Вот один образец, где строки возникают, как бы из подсознания, реальность и воображение соединяются, но сразу же и раздваиваются, причем воображение всегда побеждает у этого поэта реальность:

Желтым нью-йоркским вечером,
насквозь пропитанным влажностью,
билась в стекло небоскреба
огромная синяя рыба,
очерченная неоном.
Ее серебристые жабры
застряли в кольцах бетона –
барьер, за которым сочилась
живительная прохлада.
Усталая яркая рыба
была всего лишь рекламой
прозрачных глубин океана,
где в лунной дорожке
плыли косяки.
Просила она у судьбы
глоток холодной соленой воды.

Поэзия Михалевича-Каплана не для читателя, вопрошающего: о чем? И не для читателя, ждущего певучих

рифмованных строк с грустным настроением или ждущего рассказа о каком-нибудь событии. Нет, у поэта только намек на что-то реальное – остальное нечто необъяснимое, как сама поэзия. Притом ничего нет обыденного или, лучше сказать, обыденно выраженного. Вот, например, стихотворение с романтическим настроением – «Каменный конь»:

В большом современном городе
на теплой подушке асфальта
умирал белогрудый рысак
после бегов.
В его открытых глазах
проплывало столетье:
люди, деревья, машины,
телевышки, ракеты и птицы.
Он видел далекое детство,
звонкий галоп по утрам,
тихое ржанье коней,
белый мираж села.
Пел ему песню ветер
в речных камышах.
Был силен до последней минуты
зов табуна.
Еду по мертвому городу,
не на каменном –
белогрудом коне.

У этого поэта романтические мотивы часто связаны с образом коня: «Мчится на раскрытой ладони / серебряный конь с откинутой головой». Или вот это: «Крылатый конь томится жаждой / в филадельфийском летнем дне, / слетит с серебряной гравюры на стене / в компьютера мерцающие краски...».

Но поэзия Михалевича-Каплана, при всей ее стихийной метафоричности, отнюдь не абстрактна. Особенно это заметно, когда он пишет о конкретных местах, где всегда можно узнать местность – страну или город – не только потому, что он их называет. У эмигранта, уехавшего из страны, границы которой десятилетиями были на замке, появляется состояние, похожее на счастье: возможность путешествовать «в любую сторону моей души». Так, Испания произвела на Михалевича-Каплана большое впечатление, которое он выразил во многих стихах.

Андалузия –
поля на рассвете,
оливковый запах холмов,
узоры легенд
на дворцовых решетках,
скорбь колен у церквей,
перила мостов,
как крестьянские плечи.
Андалузия –
будто подсолнечник –
тянется к свету
на ступенях столетий.
Слишком поздно Испания
ослепила меня
белой пылью дорог –
за спиною другая судьба.

Да, за спиной поэта другая судьба, которая включила и джазовую, истошную, черную музыку, без которой не приобщиться к американской культуре – любишь ты эту музыку или нет. Она везде. У Михалевича-Каплана есть большая поэма «Музыка в Нью-Йорке». Вот начало ее:

Зажигает маэстро звуки рояля,
пальцы ткнут мелодий канву
и выходит черный певец
с белозубой улыбкой джаза.
Под голос его гортанный, –
хриплый, с дерзким надрывом –
раскачиваются тамтамы:
сначала из африканского далека,
а затем уже здешним эскизом сизым.
Всё в движеньи:
бег зверей под вой саксофона
и мягкая поступь охотника из-под валторны,
холмы джазовых джунглей,
и озера, как барабаны,
на коже которых
играют клювами пеликаны...

Это ли не импровизация? Джазовая?
Но встречается у него в стихах и отголосок, отзвук древних библейских времен. И, может быть, не потому, что поэт усердно читал

или изучал Библию, а потому, что эти строки есть у него в прапамяти, в крови: «...Не говори, / что знают только мудрецы: / мираж пустыни – зеркало души. / В глазах Израиля / сума и посох, / и Провидение, / как мальчик-поводырь. / Но не сойти с пути! / Народ твой древний устал...». И: «О, твой подаренный Иерусалим – / Стена из плача, / палач и плаха, / и смерть – расплата / за слово – Жизнь». Или: «Бог Авраама, Якова и Исаака, / Продли мое восточное лицо».

Поэт говорит, что сплав русского, украинского и польского языков повлиял на ритмический строй его стихов. Мне же хочется добавить, что его творческим импульсом владеют добрые чувства, и нет у него эмоциональной истощенности, а есть приобщение к нашей единственной жизни, какова бы она ни была в данный отрезок времени. Мне кажется, что именно такой творческий заряд он получил еще в детстве, в доме матери.

Я приведу и стихотворение, которое близко самому поэту.

Снежный ангел пел о жизни.
Темный ангел пел о смерти.
В зимнем небе полумесяц
серебрил судьбою вьюгу.
На верхушках рыхких сосен
сонно вскрикивали совы.
Белый ангел до рассвета
сторожил след человека.
Черный ангел в чистом поле
гнал поземку роковую.

«Мне хочется, чтобы это стихотворение осталось», – сказал Игорь Михалевич-Каплан.

В заключение я скажу хотя бы несколько слов об Игоре Михалевиче-Каплане как о человеке. Иногда можно услышать: «он не дорос до своего творчества», то есть – произведения-то хороши, да человек недоброжелательный, завистливый, злой. Я знакома с Игорем Михайловичем долгие годы, знаю его не только хорошие, но и слабые стороны (кто из нас, писателей, святой?!), могу утверждать: он человек исключительно добросердечный, всегда готовый прийти на помощь не только другу, но и мало знакомому, случайно встреченному человеку. В разные тяжелые минуты моей жизни и мне приходилось прибегать к его помощи. Да ведь «друзья познаются в беде» – не это ли настоящее мерило человеческого характера?

Валентина СИНКЕВИЧ, Филадельфия

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

МОЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЖИЗНИ

О, если Б-г забудет, что я его покорный слуга
И во власти его,
И подарит мне еще кусочек жизни,
И продлит мое существование,
Я возрадуюсь этой возможности...
Не судите меня строго:

я ничего не возьму от *вашей* жизни,
Я буду молиться о продлении только своей.
Я дам обет молчать о том, что в сердце моем поет,
Я буду думать о том, *что* я говорю устами своими
и ценить каждое сказанное слово.

О Господи,
я устою перед соблазнами золота и алмазов,
Замков и спортивных арен, машин и телепрограмм...
Я буду помнить то, что останется навеки в душе моей:
Молитвенные дома на зеленых холмах

и паломники на пыльных дорогах.
Я буду пить голубую утреннюю росу на лугах
И есть белый козий сыр,
принесенный Твоими пастухами.

Я перестану спать глубоким сном,
Чтобы бесконечно мечтать о любви и свободе.
Я буду ценить каждую секунду жизни,
Которая приносит мне свет далеких планет,
и я буду тянуться к нему всем своим сердцем.

Я буду бодрствовать,
когда другие уже увидят десятый сон,
И разноцветной петух не станет будить меня
на узкой улочке моего детства...

О Господи,
я буду одеваться в простые холщовые одежды
моих предков
Или в шкуры диких зверей, прикрывая не свое тело,
А свою измученную грешную душу.
Я хочу любить и всё, что с этим связано,
и навсегда забыть тот день, когда я перестал любить.
Я хочу любить так сильно, чтобы помолодеть душой,
И чтобы она вновь взлетела к небесам,
как парус над синим морем.

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

О Господи,
дай крылья детям моим, и они сами научатся летать,
Дай им свободу полета,
 чтобы они как можно дольше жили,
Дай им простор мысли,
 чтобы они полюбили и были любимы,
Дай им состариться, чтобы они этого не заметили.
Отпусти их руки и преврати опять в крылья,
 когда я буду уходить навсегда...
Только Ты имеешь право смотреть на нас сверху вниз
 и быть зрячим.
И только мы имеем право смотреть на Тебя снизу вверх
 и быть слепыми.
О Господи, на полях Твоей любви пасутся наши души.
И Ты сторож их.
И да не отвергни их.
Ты научил меня держать около себя тех, кого я полюбил,
И отпускать тех, кто случайно зашел в мой дом.
Прости меня, грешного, за то,
 что я так мало говорил добрых слов,
 которым Ты научил меня.
И не суди по всей строгости –
 я уже отдал свои крылья своим детям...

* * *

Сергею Якличкину

Поезд несется к Флоренции.
По радио – легкие песенки.
За окнами Италия талая,
вся от дождей усталая.

Осень ссорится с птицами.
Дай мне, судьба, сторицей
от желтого цвета к белому,
чтобы черного следа не было.

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

* * *

Тысячи твоих поцелуев
стадами быстрых, игривых коней
пасутся на моей коже –
озорные и теплые в начале ночи,
утомленные и прохладные к утренней заре.
И каждый из них разной масти.
Они засыпают со мной и тело, покрытое ими,
как звездное небо, становится бесконечным.
Но вдруг это огромное пастбище нежности
начинает волноваться,
дыхание превращает их в капли дождя,
танцующие и поющие,
и, собравшись все вместе, вдруг оказывается,
что у них есть еще и душа.
У каждого из них своя душа.
Они ласкают меня, поцелуи любви,
посланники наслаждений.
Они плавают на теле от каждого твоего прикосновения.
А когда тебя нет,
я очень бережно пользуюсь их энергией.
В долгие и холодные зимние вечера
я буду брать твои поцелуи из запасов прошлого
и осторожно расходовать их
на вес червонного золота.

* * *

Ты приходишь ко мне по утрам,
и я по кругу иду за твоей тенью,
как за лепестками подсолнуха,
пока они не останавливаются в зените.
В золотом слепом свете исчезает твой голос,
и в ладонях твоих тает цвет моих глаз,
когда ты подкрадываешься кошачьей походкой,
а каждое твое движение гипнотизируют мои желания.
Если я предчувствую твое приближение,
колебание воздуха превращается в ветер,
и он приносит с собой шелест твоего платья
и утомленное дыхание долгого летнего дня.
Ты приходишь ко мне по вечерам,
и трава покрывается серебристыми птицами,
и верховья деревьев плещутся в глубине темного неба,
угадывая всё, что произойдет этой ночью.

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

* * *

Медлительно плывет корабль по Делавэру.
Вода печальна и темна,
 для тех,
 кто собирается испить судьбу до дна.
Как упоительны ночные омовенья!
Не тонут звезды и луна,
по берегам кусты тревожат тенью.
И огонек разлит рекой,
где буй качает головой
 с добычей рыбака и сетью.
Здесь воздух ветерком бежит,
на дальний Север тянет птиц.
Предчувствую вблизи залив, –
начало океана – синь,
 и горизонт открыт,
 куда мне не доплыть...
А чайки всё кричат: не поздно ли, чудаки,
за борт бросать так долго собираемые мысли...

* * *

Мои друзья уходят в никуда...
По проводам текут
 слова, слова, слова.
Мосты. Дороги. Поезда.
В огромном городе,
где я сейчас живу, жара.
Произношу молитвенно, полушепча:
«Среди огня, земли, воды,
хочу тепла, вина, любви...»
Порой мне кажется, что я бреду
в бреду знакомых запахов и звуков,
в траве бессмертника, –
 всё не туда,
где тишина судьбы туннеля.

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

* * *

Белое солнце,
Техас.
 Это Даллас
и сто градусов по Фаренгейту!
На горячей арене цирка
стадо баффало темно-рыжее
играет в родео местное
всем благородным семейством.
Парни в синих джинсах
хлопают хлестко, храбро,
кружится вокруг тела
тонкое лассо исправно.
Детство мое ковбойское...
 на Украине...
На экране фильмы...
 Солнце... Пустыня...
Скачки по белой дороге...
Сердце, готовое к бою...
Герои ловко стреляют в погоне.
Мексиканцы,
 сомбреро,
 плети...
Кони летят в сплетении...
Где вы теперь рассеяны,
друзья моей юности
 и ровесники?

* * *

Когда я уйду,
теплым дымом согреют
вишневое дерево поутру.
Бело-розовым цветом
будет помнить оно обо мне.
Встревоженной птицей на небе
я исчезну из жизни вовек.
Но...
Лишь человек о себе
оставляет невидимый след...

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

СНЕЖНОЕ ПОЛЕ ПОЭЗИИ

О творчестве Татьяны Аист и содружестве с Иосифом Бродским



По китайской даосской традиции аист – птица, которая уносит умерших, ставших бессмертными, в места своего обитания, на острова Пэнлай или в горы Куньлунь. Эта птица не поет. А поскольку традиция восточной поэзии культивирует звук, который на самом деле передает тишину, аист становится наиболее подходящим символом для этой поэзии, где основные характеристики – немногословие, намек, намеренная простота.

Именно такой предстала передо мной Татьяна Аист, когда я впервые познакомился с ее стихами, поэтом тонким и мудрым, глубоко лирическим; ее творчество было созвучно моему увлечению восточной литературой. Когда я готовил подборку ее стихотворений для журнала «Побережье», мы много говорили об истории, философии, литературе, эстетике Востока. Я был покорен и широтой эрудиции, и ее знаниями в области восточной культуры.

В беседе возникло само собой обсуждение того, что Татьяне пора издать свою первую книгу, и я вызвался помочь. «Я думала об этом и кое-что даже начала готовить, – призналась Татьяна. – Иосиф Бродский обещал написать предисловие, но не успел...». Так я узнал о творческой дружбе двух поэтов и, как позже выяснилось, довольно интенсивной их переписке.

Передо мной письма Иосифа Бродского к Татьяне Аист, отрывки из которых небезынтересно здесь привести. В письме, датированном 23 августа 1993 года, Бродский пишет: «Есть в этих

четверостишиях подлинная глубина и смелость. Колоссально это меня обрадовало. Пришлите-ка мне еще, и побольше. Вообще реальность четырех строк – вещь особенная, и риск выше, чем в другой форме, ибо – всё видно. Как говорил Луи Армстронг, у одних оркестров есть это, а у других – этого нет. У Вас это, по-моему, есть. И я отчасти себя поздравляю, что интуиция не подвела». В письме от 19 ноября 1994 года Бродский высказывается более настойчиво о будущем издании: «Воображение рисует мне маленькую книжечку, страниц на шестьдесят, с наличием или без иероглифов. Название: "Китайская грамота". Название такого сорта освободило бы Вас от необходимости демонстрировать свое остроумие каждые пять минут».

Стихосложение Татьяны Аист в большой степени сформировалось под влиянием традиционных четверостиший китайской классической поэзии. Этот жанр процветал в VIII-XI веках и назывался «цзюе-цзюи» – «оборванные стихи», короткие строфы из трех-четырёх строк. Благодаря простоте и живости их слога возникает момент, когда вдруг начинается, точно в молитве, полное единение с природой, человеком, предметом – экстаз. А поскольку эта внутренняя полнота не может длиться долго, то нужно записать ее, то есть закодировать это состояние сейчас, сиюминутно: прикоснуться к цветку, неожиданно запеть, издать невольно звук радости, заплясать на месте от восторга и т.д. Кристалл поэзии мгновенно вырастает между ощущением, звуком и смыслом слова. Такая техника стиха по-даосски называется «не деяние», что означает отсутствие насилия над естественным ритмом, – как пропелось душе, так и запомнилось.

Чтобы достичь хорошего уровня техники стихосложения, Татьяне потребовалось много лет работать, в том числе делать попытки перевода с китайского, японского, корейского, которыми она свободно владеет. Причем в переводах она пробовала самые различные жанры: поэмы, длинные и короткие стихотворения, песни.

В своем творчестве Татьяна Аист пользуется литературными приемами, которые приходят в ее произведения из реальной жизни или из медитаций. Вот, например, стихотворение, написанное в форме императива, где она призывает читателя:

Если близко смотреть на траву,
ближе, еще ближе –
очутишься в бамбуковом лесу.

Или когда она указывает на предмет описания напрямую:

И годы пробежали не напрасно.
И никуда восторги не ушли.
И жизнь до ужаса прекрасна
Во-о-он сквозь то дерево вдали.

На это стихотворение обратил внимание Бродский. В уже упомянутом письме, от 23 августа 1993 года, он писал: «Ваша сила в "Во-о-он то дерево вдали"».

В статье "Иосиф Бродский – переводчик с китайского", опубликованной в «Побережье», №9 (альманах 2000 года), Татьяна Аист писала о том, как обучала поэта китайскому языку, работала с ним над переводами и сочинением оригинальных стихотворений в восточном стиле. Есть в статье история написания двух стихотворений (совместно с Иосифом Бродским), стихи вошли в сборник «Китайская грамота».

Привожу отрывок из статьи: «...Как только я заикнулась о том, как китайцы "играли" в свою литературу, Иосиф немедленно заинтересовался. Долго выспрашивал о традициях литературной игры в Японии и в Китае, а потом предложил попробовать сыграть. Я, разумеется, дрожала, как человек, который первый раз в жизни надел коньки. "Что? Написать строчку вслед за Бродским?! Да, вы с ума сошли..." Но, тем не менее, игра началась, и игра вылилась в книгу, которая, может быть, останется самой значительной, но уж точно, самой незабываемой в моей жизни, – в "Китайскую грамоту".

Поскольку он был джентльменом во всем, я получила право первой строки. Можете себе представить, сколько дней я ее сочиняла? – Правильно. Очень долго. – У меня были две страницы этих первых строк для игрового стихотворения с Бродским. Но, как думалось мне, Бродскому они покажутся совершенно безвкусными. Лучше не позориться. Лучше совсем не посылать.

Наконец, в один день ему такая игра надоела, и он сказал: "Либо давайте строчку прямо сейчас, либо не буду с вами играть". Я дала строчку: "Жизнь описала круг". Он сказал: "Так. Очень хорошо. Не вешайте трубочку". Тишина на полминуты. Потом: "Всё громче суставов хруст. Теперь Вы..." Я, уже в состоянии игры и потому в состоянии веселой легкости, загадываю ему загадку, которую я до этого загадывала ему несколько раз, но он никак не мог правильно, то есть с позиции китайской эстетики, ее разгадать. Я говорю: "Отчего я люблю бамбук?" И он тут же, без запинки, и, к тому же, в

совершенно четкой согласности с китайской эстетикой любования бамбуком отвечает: "Оттого, что внутри он пуст". И потом: "Ну-ка, прочитайте, как всё вместе получилось". Я читаю:

Жизнь описала круг.
Всё громче суставов хруст.
Отчего я люблю бамбук?
Оттого что внутри он пуст.

"Да вы знаете, Таня, что мы с вами сейчас сочинили гениальное стихотворение?!" Я тогда согласилась с ним немедленно, хотя на самом деле я не совсем понимала суть того, что мы сочинили. Через некоторое время четкость и глубина, простота и правдивость, вечность этого короткого стихотворения, написанного нами на пару по всем канонам китайского буриме, поразили меня. "Иосиф, а чье это стихотворение?" – "Берите себе, мне не жалко". – "А если напечатаю, как подписать?" – "Напишите, что Аист в клюве принес".

Вот так и попал в мой сборник стихотворений один из "солдати́ков" игры в китайскую поэзию.

Играли и по-другому. Тема: бамбук.

...Начинаем говорить друг другу всё, что мы знаем о бамбуке. Доходим до идеи, которая потрясает обоих – фантастически быстрый рост бамбука... Поэтому решено было, что мы оба в одно и то же время будем медитировать на скорости роста бамбука, и каждый из нас сочинит по стихотворению, которое мы должны будем утром друг другу прочитать...

Первая строка стихотворения (для обоих поэтов) была условлена во время философского разговора о бамбуке. Она гласила просто и сильно: – "Быстро растёт бамбук".

Совершенно поразительным оказалось то, что и вторая строка совпала с точностью до одного слова у Бродского и у Аист. "Еще быстрее река" написали оба, возможно, под воздействием собственной беседы о бамбуке, но уж совершенно точно, что под влиянием китайской и греческой диалектической мысли. Затем наши пути разошлись.

После того как было точно установлено, что бамбук – не самая быстрая вещь в мире, хотя бы по сравнению с рекой, символом времени, один из нас пошел, что называется, на запад, а другой, конечно, – на восток.

Как Иосиф сам об этом потом высказался: "По Вашему стихотворению сразу видно, что Вы – поэт-женщина. Мужчина мироздание собой пронизывает, а женщина его собой обнимает".

Итак, мужчина-поэт сказал:

Быстро растёт бамбук.
Ещё быстрее река.
Волны несет на юг
Сквозь заросли бамбука.

И. Бродский

Вот в это его "сквозь" я, конечно, сразу же влюбилась, как только услышала это по телефону. Действительно, в этом одном слове, сказанном в столь правильный, решающий момент, в стихотворении выразилась вся сила, вся твердость, вся мужественность поэта. К тому же, если читатель помнит еще в каком именно контексте поэма о скорости роста бамбука сочинялась, то он, разумеется, оценит и весь поэтический поход Иосифа против бамбука. Если до Бродского бамбук протыкал человека, то теперь, благодаря Бродскому, человек проткнул целые заросли этого нахального растения, быстро несясь по свободным волнам реки (на лодочке или вплавь, кому как больше нравится).

А тем временем женщина-поэт написала:

Быстро растёт бамбук.
Ещё быстрее река.
Яблоня ярко цветет.
Ярче – Луна.

Т. Аист

И здесь, конечно же, нет никакого протыкания, и даже диалектическое противопоставление бамбука реке, а яблони – луне оказывается мнимым. На самом деле, как Бродский и сказал: "Всё в одно включено, и одно в другом округлено. – Женское или восточное видение мира"».

Элемент традиционного неизменно присутствует в переводах японской поэзии русскими поэтами или в их оригинальных стихах,

когда они подражают, создавая «танки» и «хайку». У Татьяны Аист свой путь, и это одно из очень существенных отличий ее творчества. Она не следует эстетической и литературной традиции стихосложения западного мира. Ее принцип – это суть глубинной восточной эстетики – личные отношения между нею и миром, то есть Вселенной, между произведением и поэтом, а также осознание того, что форма рождается, по сути, «бесформенной» и затем снова и снова возвращается в «бесформенное».

Татьяна Аист не придерживается в стихосложении строгих правил метров и рифмы. Музыка поэзии возникает из ощущений, звуковые аллюзии создаются как бы в переключке друг с другом. Этот метод удивляет и трогает больше, чем намеренно продуманные созвучия. Вслушайтесь в эти два четверостишия:

Достаточно закрыть глаза
И мир исчезнет.
Но не достаточно открыть глаза,
Чтоб мир возник.

Не печалься о том,
Что со мной не делил
Хлеб и кров.
Мы с тобою делили
Луну

Творчество Татьяны Аист заряжено добрыми чувствами, положительными эмоциями. В один из приездов в Филадельфию, где Татьяна Аист несколько лет читала лекции по восточной философии в Пенсильванском университете, был устроен прием. Бывшие ее студенты читали «хайку», которые сочинялись прямо в зале, во время встречи. В моей памяти осталось продекламированное Наоки Михарой:

Когда приходит поздняя осень,
В предчувствии зимы,
Я ищу своих русских друзей.

Игорь МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН, Филадельфия

Татьяна АИСТ

* * *

Когда мне страшно, я пою,
Как будто я в глухом лесу
Гуляю вечером одна
И только песнь моя слышна,
И громче тем и тем сильнее,
Чем лес становится страшней!

* * *

Синева глубока во дворах,
Зреет листьев простой виноград,
Старым деревом пахнет кора,
Сам не помнит себя Петроград.
На высоком его берегу
Всходит лето зеленых дворов,
В них глубокую жизнь берегут,
Словно хлам, что лежит под водой.
Заплстается плющ тишины,
Мох вокруг световых колонн,
Легкой плесенью вымощенный
Небосводец под
Ряской крон.

* * *

В этом чудесно-темном,
Нежно-весеннем граде
Отчетливо вижу тебя.
Сплели с ветвленьем ограды
Чугунный узор тополя
И плод их союза раздался
По небу,
Как сетка кракле, *
Иначе бы как оказался
Сейчас ты на этом стекле?

** Кракле – вид фарфора.*

Татьяна АИСТ

* * *

О, глухое заросшее время!
Зелена трава мелкотемья,
Виноградом судьбы увитый,
Деревянный собор несобытий.
Как во сне, мы над крышами ходим
И мосты голубые наводим,
Руки в воду Москвы опускаем
И шевелим упавший камень.

* * *

Провижу тебя в каждом миге,
Предчувствую
В каждом слове,
Распахнутой насоро книге,
Летящих навстречу глазам.
Молюсь, «Вседержитель, ты с нами!»
Рыдаю, смеюсь на бегу.
Сухая кора под руками,
Две тени в намокшем снегу.

* * *

Когда от стыка Невского с каналом,
Как Дант, ты обернешься вдаль,
Тогда возникнет в воздухе сквозная
Протока к небу, а канал,
На том конце – Собор Казанский,
На этом – мостик Итальянский
На миг собой отобразив, пустым впадет
В пустой залив.

* * *

Ведь это всё что от тебя осталось!
«Шлю белую сирень из Царского Села!..»
Ни фотографии, ни крестика, ни станса,
Зачем тогда роскошно так цвела
любовь? И встреча состоялась
зачем? Куда дорога шла?
Туда где пеной белой расплескалась
Сирень по водам
Царского Села.

Татьяна АИСТ

* * *

Как в лесу темнеет в Петрограде,
Мы, оставив плащи и кашне,
Блуждаем по летней прохладе,
Спокойно, как люди во сне.
Словно косточки, в листьях – жилки,
На траве – теневой батут,
Тела легонькие развилки
К свету сами собой растут!

* * *

Марине Цветаевой

Когда придет моя Елабуга –
Допрос, арест в глухой ночи,
И синеватый ветер Ладоги
Запрет все вены, как ручьи,
Когда ничье живое слово
Не будет живо для меня,
Когда из дней, сочных снов,
Я не смогу прожить полдня,
Я припаду, как червь, как листья,
Лицом и телом к той земле,
Где мне дано было родиться,
Где спят давно все люди те,
Которые меня родили,
И я нажрюсь кровавых листьев
Рябины той, с того куста
И буду детям вашим снится,
Пророчествуя – «Русь жива!
Вся жизнь жива!»

* * *

Утки плывут под черные своды –
ближе всех мы к озеру стоим.
Нас почти не задевают ветром годы,
Только стелется тоненький дым
Над живою, над мертвой водою,
Безразличной ко дну, к небесам:
«Вы со мною смешаетесь скоро,
Но я скоро вас снова отдам!»

Дмитрий БОБЫШЕВ

Редакция «Связи времён» поздравляет

ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
БОБЫШЕВА
с семидесятипятилетием.

Желаем юбиляру здоровья,
вдохновения
и творческих удач.

ДВА БЕЛЫХ ПИОНА

Два белых пиона
в стеклянном стакане
цветут исступленно,
и капля по стенке стекает...

Что это – посланье
двусложного нежного слова,
что горькими дышит маслами, –
в сейчас из бывшего?
Посланье прохлады, покоя –
без слов, но такое, такое,
чтоб душу –
вот так же, наружу,
в сии лепестки и сияния сада,
навстречу цветенью,
за миг до распада,
к вот-вот и гниенью...

Ну, чтобы помедлить мгновенью,
и облака свежие ломти
дарить, и не помнить,
другим, и, исчерпав,
их полнить.

Как обморок в полдень.

май 2006 г., Шампейн, Иллинойс

Дмитрий БОБЫШЕВ

ЛЕДИ БОИНГ

Высоко пепелится
белесый по синему след.
Летит неотмирная птица:
то ли есть она, то ль ее нет.

Вот и след разметало
по периметру бледных небес, –
сплав пластмасс и металла,
дух из бездн?

Не скажи, миллиардная штука, –
мы летали не раз.
Неужели ты кукла, ты шутка,
неужели не гулко и жутко
сердце бухало в нас?

Залетая
за оранжево-жаркий рубеж,
золотым залитая,
желто-рыжей ты делалась, беж.

В мега-игрища мозг вовлекая,
гуляла в моей голове.
И, лелея твое великанье,
как любил его я, Гулливер!

И откуда выпрастывал силы?
А землились мы с ней
мимо белых и синих,
чуть не черных огней.

Мимо темно-хвостатых
оперений наш плыл фюзеляж,
оставляя гигантку в остаток:
– Слазь, летатель, – земля ж!

Разорвала разлукою тело
на четыре огня
и в ядре громовом улетела
от меня.

январь 2004 г., Шампейн, Иллинойс

Дмитрий БОБЫШЕВ

ТЕНЬ КИХОТА

Величие – вот мера великанов:
не сердце, не звезда, не куб.
Величье – главное лекало,
чтоб человек вовлекало
кроить их одномерный культ.
Всем прочим – каракурт.

Высокопарны великаны башни,
грозятся грохнуть с вышины;
замашки чародеев рукопашны,
им, даже дань отдавши,
все должны.
А кто не должен – те смешны.

Вот тоже, на седьмом десятке рыцарь
и жалок, и смешон:
не шлем блестит, а тазик, чтобы бриться.
Смеетесь, что не брит при этом он,
а ваше не в пуху ли рыльце?
Но истинно он рукоположён!

Так потряси ж копьем, иль пикой бранной,
старик, дурная голова,
пришпорь одра, прими ушибы, раны,
и крахом докажи, что великаны –
лишь мельничные жернова,
жующие слова, слова, слова.

18 июня 2005г., СПб, 2-ая линия ВО

Дмитрий БОБЫШЕВ

СВЕТЛА...

Узлистое семя тирана,
... кремлевский воробушек, дочь,
спросонок босота Светлана
порхнула из форточки прочь.

И – в мир, и – в миры, в измеренья,
в иное и новое, вон!
Туда – за моря, в замиранья
себя, за собою вдогон.

Но там, на Луне, в деревенской
комфортно–стеклянной глуши
в подушку уж не дореветься
до ближней стовой души...

О нём голодается остро,
друзей не хватает до слез.
А эти глядят, как на монстра
опасного, но не всерьез.

Ах, как бы они лебезили,
когда бы им бешеный кнут,
чтоб знали! И – выблеск бессилья:
был папа оправданно крут.

Секомые знают и помнят,
мимически полно молчат...
Назад – в это логово комнат
до жарких и душных волчат

своих, чтоб вихры теребить им
(дадут ли, седые, теперь?).
В кремлевскую мать-обитель
взахлоп для воробушка дверь.

Для рыси орлецкой, для тигра
ужель не найдется угла?
Пока свой конец не настигла
царевна в опале, светла...

2 февр. 1983 Милуоки, Висконсин

Марина ГАРБЕР

О РАЗНОВИДНОСТЯХ ПОЦЕЛУЕВ

Н. Резник

Над кроваткой моего малыша –
«Поцелуй» Климта: не по себе от блеска.
Качаю сына, почти не дыша,
И думаю: неподходящий сюжет для детской.
Не потому, что – любовь взрослых,
А потому, что – анти-любовь, рабство:
Он – глыбой, безлицый, черноволосый,
Она – наследство, имущество, одним словом, богатство,
До того безупречна, нарядна, декоративна,
Хоть в музей ее и на открытки к свадьбе,
Обнимая, царапает ему шею и ей противно,
Только и думает: не поцеловать бы.
А щиколотки в золотых, многолистных ветках,
И глаза закрыты, мол, насмотрелась вволю...
Качаю и думаю, не влюбляйся, детка,
А влюбишься, отпускай на волю.

Франческа да Римини (Роден в Эрмитаже):
Губы целуют не плоть, а воздух, и нет касанья,
Не поцелуй, а намек на него, не чувство даже,
А просто предчувствие – смерти, ее желанье...
Или «Поцелуй» Хайеза в ломбардийском музее,
Там, где Ромео целует Джульетта, –
Все полагают, взаимный: все ротозей,
Помню, слушали гида, да и сама я читала где-то.
Но нет! *Она* целует его – она вся в нем!
Лицо почти скрыто, вполоборота,
А он... Он тоже охвачен огнем
Страсти – только иного рода:
Часть его тела уже уходит – она готова
Исчезнуть (ибо телу не до витийства),
Строить, жить, целоваться снова,
К распрям, миру, братоубийству...

Марина ГАРБЕР

Еще помню свой поцелуй – первый,
От «чужого» голова кружилась, как от затяжки,
Попадавший то в подбородок, то в щеку, нервный –
Бог поцелуев поставил бы мне тройку с натяжкой.
Потом долго училась целовать и видеть,
Когда исчезаю от них или когда от меня исчезают,
Никуда, впрочем, не уходя, и чтоб не обидеть,
Смотрела в себя, напевая Козна: «Дорогая, все знают,
Что ты мне верна, плюс-минус одну-две ночи...»
Встречая-прощаясь, лоб-губы-руку родную
Целовала – любимых (здесь не будет: «и прочих»;
Вот – теперь сына, качая, целую)...
А когда поцеловала его отца, семь жизней спустя, –
Тоже с веронской страстью – закрыла глаза, почуввав,
Что будет дом и будет сопеть дитя,
Не подозревая о разновидностях поцелуев.

(НЕ)ДЕТСКИЙ ТРИПТИХ

1

У меня есть дочь – умна, добра и послушна,
Не умеет давать сдачи, даже когда это нужно,
Может лишь плакать, очень тихо или очень громко,
Теребя рукав или от юбки тесемку.
Я ее не жалею.
Я вообще этого не умею.
Другое дело, пожалеть чужого,
Замерзшую птицу, или, скажем, дворнягу, –
Чужому отдашь малость, и ему покажется много,
А родному – жалость, как в жару и жажду – пустую флягу.
Я ее не учу давать сдачи, не учу мириться,
Не говорю банальностей, вроде «с ближним нужно делиться».
Пусть она в свои пять набивает синяки и шишки.
Будет крепче? Вряд ли... Я ей читаю книжки:
Про хорошего мальчика, про плохого...
Ей почему-то нравятся только плохие.
Ей, наверно, их жаль, и это – осколок родного,
Битое зеркало... А стихи ей
Не читаю – зачем торопить душу
Туда, где еще одиноче, чем ветру в стужу?..

Марина ГАРБЕР

2

Мой сын годовалый пытается встать и пойти –
От этой тахты до вон той неподвижной коробки,
Но он, торопясь, спотыкается на полпути
И падает на пол – глазастый, веселый, неловкий.
Пока он идет, я пророчу ему Ватерлоо –
Такие победы, что пьются наполеоны.
Я верю в него, и молюсь, чтоб ему повезло,
И вижу: трубач на коне, золотые погоны...
Но что его ждет? Сколько раз с вороного коня
Он ниц упадет, чтобы встать или чтобы почтить
На чьей-то войне, далеко-далеко от меня?
Схватить его за руку и никуда не пустить?
Вкус крови? Победы ли – тоже с кровинкою – смак?
Когда, спотыкаясь о погребушку свою,
Он падает, падает – быстро и медленно так,
А я, закрывая глаза, не ловлю, не ловлю...

3

Дочь отпущу любить.
Сына отпущу воевать.
Я не знаю, кого винить,
Я, наверно, плохая мать.
Я не учу их доверию,
Боясь звука собственной фальши.
Детство – это преддверие:
Отворишь, и не знаешь, что дальше.
Я не учу их свободе – тоже
Часто тождественной одиночеству.
Вот они и льнут ко мне второй кожей,
Вьют из меня то, что им хочется.
Говорят, что мать – поводырь в пути,
Говорят, детей нужно учить спиной.
А я не учу, так как не знаю, куда идти,
То есть учу одному: не стоит идти за мной.

Марина ГАРБЕР

ИЗ ЖИЗНИ РЫБ

Я был в гостях...

Г. Стариковский

Я тоже была в гостях, но о литературе,
Культуре и прочем высоком не говорили,
Говорили о частном: доме, торшере, стуле,
О глобальном, то есть о том, «что творится в мире»,
Говорили о кухне, о вечной плохой погоде,
О том, как хорошо в эту пору на Ланзароте,
И когда все плавно перешли к разговору о моде,
Я заявила, что Маяковский жив, или нечто подобное в этом роде.
Все закивали с таким здоровым энтузиазмом,
Что всё вокруг стало прозрачно и невесомо,
Кивали и думали: «Так ведь недалеко до маразма,
Сидя с детишками, не выходя из дома».
Я тоже кивала, мысленно соглашаясь,
Да и Маяковский – желтой вороной в своей несурзадной коффе.
Недосып, конечно, однообразие и усталость,
Не помогает даже черный, как Йемен, кофе.

Но в какой-то момент я совершенно оглохла,
Словно открыли кран и нас затопило по крышу,
Кругом все окают, будто в горле всё пересохло,
Вижу «оки», но ничего не слышу.
И я поняла, эти люди – рыбы,
Вода колышется наподобье студня,
Я кричу им сквозь толщу: «А вы могли бы?»
Но они – всё хвостатей, чешуйчатей, жаброгрудней.

Однажды В.Г. сказал, что мир наш сущный –
Это аквариум на коленях ребенка в трамвае.
Почти что так: смотрит на нас Вездесущий,
Прильнув к стеклу, не улыбаясь и не моргая.
Ребенок в трамвае радуется приобретенью,
Он покажет рыбок безобидной домашней кошке,
А Вездесущий – как поэт со стихотвореньем:
Не разберешь, где взаправду, где понарошку.

Марина ГАРБЕР

И еще подумалось, что удобно слыть сумасшедшей,
Как Генри IV у любимого мной Пиранделло.
«Поздравляю вас не с наступающим, а с прошедшим!»
Мне до грядущего нет никакого дела.
Не потому, что мир наш – на четырех китах –
Ограничен стеклянными стенами, брենен,
А потому, что свет, собственно, ищут впотьмах,
И за стеклом – океан, беспощаден и откровенен.
И доедая сыпучий кусок бисквита,
Совсем опьянев, будто не воды нахлебавшись,
Прошептала: «Вездесущий, теперь мы квиты»
И, уходя, разбила стекло, не попрощавшись.

РИФМА

К. Бахмутской

*Всё на свете зарифмовано со всем на свете.
Эти рифмы связывают мир, сбивают его, как гвозди,
загнанные по шляпки, чтобы он не рассыпался.*

М. Шишкин, «Письмовник»

В городе – предпраздничная суматоха,
Новогодний базарчик пестрит шарфами, платками,
Прилавки завалены – без просвета, без вдоха,
Сплошные выдохи – колечками, облаками...
Глюнвайн, марципан, каштаны, немного экзотики:
Палех, шелкунчики и матрешки.
Кафе раскрывают свои неуместные зонтики,
Мальчуган дышит в стекло, зажав булку в белой ладошке.

За стеклом – мясо виденных по дороге в город телят,
Пока я ехала, с них уже сняли шкуры, нарезали, подсушили.
Я покупаю их к празднику, они не противятся, не мычат,
Но хорошо помнят, кем еще утром были.
Если подолгу смотреться в зеркало, можно увидеть чужого,
(В отрочестве, когда играть – скучно, а взрослеть – долго),
Но этот «чужой» знает о тебе столько плохого,
Что начинаешь ерзать на стуле, как на иголках.

Марина ГАРБЕР

На центральной улице – мой хороший знакомый,
С которым часто сида в кафе, никогда не обмолвилась словом,
Обычно он тихий, почти невидимый, невесомый,
Бубнит и бубнит, подметая пол некогда черным подолом.
В голубом шарфе, и шея, должно быть, голубовата,
Но у него нет дочери, как у Толстого, чтоб расчесать ему бороду,
Вот она и сваялась, сбилась в клоки, как серая вата.
Правду говорят: заводи детей смолоду...

Сегодня он буйный: кричит на манекен в витрине, –
Оборачиваются с улыбкой, отворачиваются с чувством вины.
Ему нравится эта женщина – хоть в пластмассе и гриме,
И кричит он незлобно, за неимением настоящей жены.
Женщина-манекен надменна, невозмутима,
Ее не волнует ни он, ни гламурная улица,
Куда бы она ни смотрела – одинаково мимо.
И я, проходя, замечаю, как точно они рифмуются.

Я вижу рифму к собственной маме, глядя на свое отражение:
Стареющая и грустная, вместо выраженья – усталость.
Рифма – противовес: мама говорила мягко, без раздражения...
Такой она и ушла. А я вот – осталась.
Осталась и пытаюсь вспомнить – всё тщетно –
Какую маску носила тогда? Кем была когда-то?
Может, этим бездомным-безвесым-бездетным?
Но память молчит, как в кошелке моей телята.

И, вправду, рифмуется, косвенно или прямо:
Ребенок /теленоч, мужчина /женщина, больной /здравый,
Как ни затыкай уши, отчетливо: я /мама,
И одиночка тоже ведь – чей-то сын и, видимо, добрый малый.
Он тоже – отражение города, этот полоумный бродяга,
Пусть себе машет руками, вышагивает, на здоровье...
А по праздникам – жизнь легко возгораема, как бумага,
И сама я – избитая рифма, вроде любви и крови.

Марина ГАРБЕР

ВРЕМЕНА ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЕ



Ирина Чайковская. Какие нынче времена, Статьи, эссе, интервью. – Балтимор: *Seagull Press*, 2008. – 190 с.

Ключ к книге прозаика и эссеиста Ирины Чайковской таится в ее названии: «Какие нынче времена». В нем слышится нечто от вопроса, вернее, от приглашения к размышлению «на тему». А темы, к которым обращается автор, предстают отдельными и в то же время скрепленными между собой осколками, составляющими яркую мозаику времени. Точнее, времен, ведь множественное число, неслучайно употребленное в названии книги, свидетельствует о неразрывной связи настоящего с прошлым и будущим (словами автора, о «непрерывности и непреодоленности» времени в человеческом сознании), а значит, и о неоднозначности поставленной автором задачи, равно как и попытки ее разрешения.

Книгу Чайковской составляют три раздела, название каждого из которых, пожалуй, не требует дополнительных пояснений: «Судьбы эмиграции», «Этот вечный "вечный вопрос"» и «О временах». Иными словами, в композиции книги задействован не жанровый, а тематический подход, поэтому два первых раздела вмещают в себя статьи и интервью, и только значительную часть третьего составляют «литературные» интервью (с Н. Коржавиным, Л. Лосевым, А. Арьевым, С.Рассадиным), – ведь кто лучше может рассказать о временах, чем их яркие и талантливые представители?.. О каких книгах пишет Чайковская, о чем говорят ее собеседники? Различные

волны эмиграции, религия и национальный вопрос, но, главное, литература, искусство и культура, нередко поданные в социально-историческом контексте и неизменно – сквозь призму субъективного восприятия – вот, что формирует тематический остов этой книги.

О «живой и будоражащей» теме – эмиграции – рассказывают на этих страницах поэтесса, эссеист и редактор Валентина Синкевич, литератор и радиожурналист Людмила Оболенская-Флам. Примечательно, что двух представительниц разных волн эмиграции, прошедших трудный, полный бед и лишений путь, не просто утвердившихся и самореализовавшихся на новой почве, но и, несмотря на невзгоды, сохранивших свои корни и обогативших русскую литературу и культуру, волнует будущее России и русскоязычной эмиграции. «Русской эмиграции, можно сказать, повезло: одна сменяет другую, образуя преемственность, без которой не может продолжительно жить ни одна культура вне языковой среды»... И как бы в подтверждение этих слов Синкевич, находим в книге Чайковской подробные обзоры филадельфийского альманаха «Побережье», антологии «Бегство от пустоты», а также очерк «Три жизни Сергея Голлербаха» – своеобразный портрет художника, написанный ярко и с теплотой. В раздел «Судьбы эмиграции» также вошла развернутая рецензия на книгу «Судьбы поколения 20-30-х годов в эмиграции», составленную Л. Оболенской-Флам, о «жизни в изгнании» поколения, до сих пор мало рассказавшего о себе, о тяжелой, зачастую трагической участи людей волей-неволей оказавшихся вдали от родины, о «хлебнувших лиха» на оккупированной территории, в немецком плену, в концлагерях и лагерях для перемещенных лиц, – однако не сломленных, духовно просветленных, постигших в своих скитаниях нечто такое, что впоследствии давало им силы для жизни». Нужно сказать, что отклик Чайковской на эту ценную книгу не только подробен и щедр на цитаты и факты, но и увлекателен, сильны сменяющиеся в нем чувства – гнев, восхищение, сострадание...

«Хочу написать не о книге, а о пути актера и человека...» – такими словами начинается статья Чайковской об автобиографической прозе Михаила Козакова; но, пожалуй, эти слова, в разной мере, применимы ко многим рецензиям и интервью Чайковской; нужно лишь заменить слово «актер» на «поэт» или «критик», или «редактор», в зависимости от того, кого на сей раз автор выбирает в «собеседники», о чьей книге

пишет. Для Чайковской творческая личность неотделима от своих творений, а судьба и творчество, будучи тесно переплетены, взаимодополняют, а иногда и определяют друг друга; как, например, в случае с Авраамом Шифриным, политическим борцом и сионистом, автором книги «Четвертое измерение», в которой повествуется о кошмарах лагерей послесталинской эпохи... Так называемому «еврейскому вопросу», который Чайковская неслучайно называет «вечным», посвящен отдельный раздел ее книги; особое внимание вызывает увлекательный отзыв на художественно-документальный сборник «Вокруг евреев», составленный Марком Авербухом, по словам рецензента, позволивший «взглянуть на пресловутый ‘еврейский вопрос’ с разных сторон и с разных точек зрения», причем исключительно в отношении России двух прошлых столетий.

Рецензии-статьи Чайковской можно назвать «развернутыми», а иногда, пожалуй, и «прикладными», так как жанр рецензии в традиционном смысле оказывается для нее слишком узок. Размышляя над книгой, автор нередко выходит за рамки произведения, как бы сопоставляя прочитанное с пережитым – на уровне поколения или даже собственной жизни; ее стилю присущи насыщенные отступления, состоящие из субъективных, бесспорно искренних и страстных, и потому «живых» и «человечных» суждений. Например, в текст рецензии на «Книгу прощаний» Станислава Рассадина Чайковская помещает интерлюдия о личном резонансе на события 91-го года, заставившие переосмыслить бывшие взгляды и сделать смелый выбор в пользу эмиграции в Америку; а статью о книге «Вокруг евреев», автор открывает воспоминаниями из своего детства... Таким образом, рецензия Чайковской знакомит читателя не только с интересной книгой и ее автором, но и с самим рецензентом, отчасти становясь своеобразным «портретом в портрете» и раскрывая не только художественные пристрастия автора, но и ее личное отношение к поднимаемым темам, описываемым событиям и личностям.

Отчасти «автопортретны» и интервью Чайковской, в которых она проявляет качества, характеризующие хорошего собеседника: умение слушать и реагировать. Помимо общей эрудиции, знания предмета и так называемой профессиональной «подкованности», вопросы и комментарии Чайковской свидетельствуют о высокой внутренней культуре интервьюера.

Безусловно, не будучи скованной обязательствами перед, к счастью, несуществующим «заказчиком», автор свободен в выборе книг, тем и собеседников; и, видимо, благодаря этой свободе выбора – что волнует, что ближе по духу – с такой интенсивностью проявляются в книге Чайковской ее неподдельный интерес к предмету разговора и живое человеческое участие. Отсюда – и динамичный, своеобразный стиль Чайковской, отмеченный «человеческими словами и интонациями».

Говоря об авторской «свободе выбора», следует также отметить, что личная расположенность – к темам или авторам – не заслоняет чувства критического отношения к произведениям, о которых пишет Чайковская, и в щедрую «бочку меда» она нередко добавляет «ложку дегтя», причем не упуская из виду не только откровенные фактические оплошности, но и стилистические промахи, грамматические ошибки, а порой и опечатки. Признаемся, трудно найти издание, лишенное огрехов, есть они и в книге Чайковской. К ним можно отнести утверждение об отсутствии сведений о Марии Гольдфельд, жене Корнея Чуковского (см. статью В. Островского в «Записках по еврейской истории») или же интерпретацию строк стихотворения К. Сенеки, обращенных к женщине («...ты из меня, / как из глины, / сделала человека... / я – из твоего ребра / и сердца...»), в которых Чайковской почему-то слышится предупреждение о наступающем матриархате (на последнее хочется откликнуться словами А. Белого: «Женщина творит мужчину не только актом физического рождения; женщина творит мужчину и актом рождения в нем духовности»). Однако наиболее слабым звеном в книге представляется заключительное эссе «О проторенных тропинках к человеческому счастью», посвященное теме однополых союзов. И дело не в самой категоричности, с которой автор пишет о «человеческом счастье» как о некоем универсальном рецепте, и даже не в позиции неопфита в неоднозначном и полемичном вопросе о человеческой природе, а в несоответствии темы данного эссе, как тематике, так и общему духу книги.

Чайковская умеет найти подход к своим собеседникам, оттого беседы, изложенные на страницах ее книги, читаются на одном дыхании, о чем бы ни шла речь. И чаще всего интервьюер подводит своего собеседника вплотную к основному вопросу

книги – о времснах; и тогда перед читателем возникает картина сегодняшнего дня (проистекающего *из* и устремленного *в*), неизменно связанного с прошлым и будущим; не черно-белое статичное изображение, как бывает при категоричности мнений, а многослойное и нелинейное полотно, с долями пессимизма и одновременно веры в добро. Хочется привести несколько высказываний из одноименного книге интервью со Станиславом Рассадным: «... Вот я хотел вспомнить замечательные слова Зоценко: в хорошие времена люди хороши, в плохие плохи, в ужасные – ужасны. С той оговоркой, что, если у нас, людей, нет возможности самим создавать хорошие времена, всегда есть возможность плохие сделать еще ужасней...»; «...Сейчас идет то, что я когда-то называл словом раскультуривание. Культура – это память прежде всего. Память людей, что они часть человечества, память о том, что было в прошлом...»; «...Так вот об ‘оттепели’. Меня не тянет туда. Хотя, может, сейчас даже хуже. Тогда было подобие времени, сейчас безвремя...». Это о временах, о их взаимосвязи, о нас с вами... А вот – меткий и жесткий рассадинский прогноз на будущее: «...К нашему времени, при всех его достоинствах, я отношусь плохо, и боюсь, что оно превратится в ужасное. Симптомы совершенно очевидны...». Ощущение надвигающейся катастрофы в силу потери духовных ценностей проступает и в интервью с поэтом Наумом Коржавиным; отталкивающей и «античеловечной» видится современная Москва поэту Льву Лосеву... С этими мнениями можно соглашаться и не соглашаться, но утверждение, высказанное почти каждым собеседником Чайковской, о личной ответственности человека за то время, в котором он живет, бесспорно. Не забудем также, что черта между временами зыбка и условна, именно поэтому, как отмечает Чайковская, человеком мыслящим и чутким «история, чужие эпохи часто проживаются как свои».

Какие нынче времена?.. Вспоминаются слова одной из «отрицательных» героинь фильма «Москва слезам не верит»: «Времена всегда одинаковые!». Есть в этой гневной реплике толика правды. Но пусть каждый читатель попытается сам ответить на поставленный в заглавии вопрос, ведь, не забудем, что перед нами – книга-приглашение к спору и размышлениям, ведущим не обязательно к истине и согласию, но к их поиску – непременно.

Марина ГАРБЕР, Люксембург

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ И БОЛГАРСКАЯ ЛИРА



Емануил Попдимитров. С Константином Бальмонтом. Неизданная книга о русском поэте. – *София: Издательство «Фабер», 2010. – 128 с.* Публикация, комментарии, перевод и примечания Маргариты Каназирской.

Что мы знаем о Болгарии и болгарях? Для тех, кто не ленив и любопытен, книга, появившаяся благодаря стараниям Маргариты Каназирской, не будет лишней. Читая ее, я припомнила, когда в последний раз что-нибудь слышала о «братьях-славянах», о жизни, о культуре, о контактах с россиянами... Да и есть ли вообще эти контакты? И интересуется ли эта тема кого-нибудь, кроме таких чудиков, как я? Помню, лет за семь до перестройки назвала одному авторитету в области школьного обучения тему своей будущей диссертации «Формирование у российских школьников интереса к грузинской, армянской и среднеазиатской поэзии». – Какой, какой поэзии? – переспросил он. А потом категорично заключил. – Нет у них никакой поэзии, всё взяли у русских. Запомнила навсегда – как образец шовинистического и на редкость безграмотного подхода. Может, потому и углублялся разлад между народами СССР, что у россиян не только не было интереса к чужим культурам, а господствовало подчас пренебрежительное к ним отношение. И насаждалось это сверху. К чему я это говорю?

Болгарию в свое время называли шестнадцатой республикой Советского Союза. Страна эта издревле была близка к России, в X веке оттуда пришла на Русь письменность, а в XIX русские помогали братьям-славянам в борьбе с Османской империей за национальную независимость. Благодаря России с пятисотлетним турецким игом было покончено, с тех пор болгары хранили память о помощи русских.

Могу свидетельствовать: когда в 1964 году детский ансамбль под управлением Владимира Локтева поехал в гастрольную поездку по Болгарии, принимали его, как сегодняшних чемпионов по футболу. Я, как участница той поездки, не забуду ни оглушительного приема – толп людей, встречавших нас с цветами и открытками в Софии и Варне, Пловдиве и Плевене, – ни музеев, с их тщательно сохраняемыми реликвиями времен русско-турецкой войны, ни великолепного болгарского хора «Бодра смяна» и его веселого руководителя Бончо Бочева, окруживших нас, юных москвичей, бесконечным вниманием. Сохранилось ли что-то от некогда восторженного отношения болгар к России? Чем и как живут сегодня люди в стране горных пастбищ и виноградников?

Лежащая передо мною книга повествует о дружбе двух поэтов, болгарского и русского. Причем дружба эта приходится на конец 20-х - начало 40-х годов прошлого века, когда русский поэт (а речь идет о Константине Бальмонте) жил уже не на родине, а в эмиграции, во Франции. Это не помешало его интенсивной переписке с болгарским коллегой, переводу произведений с русского на болгарский и наоборот, и даже «личному общению»: в мае 1929 года Бальмонт приехал в Болгарию, где провел три недели.

Но прежде чем подробнее рассказать о содержании книги, хочу остановиться на фигуре болгарского поэта – Емануила Попдимитрова. Приставка «поп» в болгарской фамилии говорит о том, что ее носитель имел предков священников. Сам же Емануил Попдимитров в 20-40 годы прошлого века служил приват-доцентом в Софийском университета на кафедре сравнительной истории литератур, был автором многочисленных исследований, филологом-эрудитом, в совершенстве владевшим европейскими языками. Но самое главное, он был поэтом, и дар его во многом сформировался под влиянием Константина Бальмонта. Будучи на 18 лет младше русского собрата, Попдимитров пережил его всего на один год, уйдя из жизни внезапно, пятидесяти восьми лет отроду, в 1943 году. Смерть помешала болгарскому исследователю и поэту издать свою книгу о Константине Бальмонте.

Стараниями Маргариты Каназирской книга Попдимитрова, хоть и с большим опозданием, всё же увидела свет. Маргарита Каназирская написала пространное и насыщенное фактами предисловие к книге, снабдила ее развернутыми примечаниями, перевела с болгарского на русский язык текст воспоминаний – «С Константином Бальмонтом» – и даже дала им название, основываясь на заголовке одного из фрагментов. Ею же подобраны

уникальные фотографии и сделаны ксерокопии писем Бальмонта из архива Попдимитрова.

Книга посвящена Бальмонту, взялся за нее автор сразу по получении известия о смерти поэта, случившейся в декабре 1942 года под Парижем. Радует то высокое место в пантеоне российских символистов, которое отводит русскому поэту его болгарский коллега: «...среди медоносных творцов русской речи, в многоголосом хоре В. Брюсова, Вяч. Иванова, Ф.Сологуба, И.Бунина, Ю.Балтрушайтиса, А.Блока, А.Белого, М.Волошина, С.Городецкого и многих других громче всего слышался солнечный голос певца Бальмонта» (из включенного в книгу «Приветствия...» Бальмонту, 7 мая 1929 года). В список попали Балтрушайтис и Сергей Городецкий, ныне известные только своими именами и полузабытые как поэты, и Александр Блок, один из ведущих стихотворцев России, далеко шагнувший за пределы символизма. Бальмонт для докладчика звучит «громче» Блока. Причину такой оценки можно видеть не только в личных пристрастиях Попдимитрова, но и в той роли, которую Бальмонт сыграл для болгарской поэзии. Недаром свое выступление в присутствии русского поэта, приехавшего в Болгарию с ознакомительной целью и для чтения лекций, Емануил Попдимитров закончил так: «Эта признательность нового поколения поэтов, от лица которого я говорю, является скромной данью Учителю и старшему брату Бальмонту – истинной Жар-птице поэзии». Бальмонт, по словам докладчика, был «освобождающим началом» для молодого поколения болгар, открыл путь к экзотике, к западной поэзии и символизму. С другой стороны, он создал в Болгарии «первых читателей модернистской литературы».

Но следует сказать несколько слов о Константине Бальмонте. В сознании моих современников Бальмонт – поэт второго ряда, прославившийся своими формальными изысками. Его строка «чуждый чарам черный челн» часто приводится как образец навязчивой бессодержательной аллитерации. Между тем, колдующий звуками поэт в свое время был чрезвычайно популярен и имел огромное число фанатичных почитателей, в основном, среди женщин.

В начале своей поэтической карьеры, как ни странно сейчас это слышать, он считался революционером: за участие в нелегальном народническом кружке был выгнан из гимназии, впоследствии, за нелояльное к властям поведение и политическую сатиру, был исключен из Санкт-Петербургского университета и даже выслан из столицы без права проживания в университетских городах в

течение трех лет. В годы первой русской революции Бальмонт писал революционные стихи, один из них назывался «Наш царь» и был направлен лично против Николая II. Стих начинался строчками: «Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима», а кончался грозным и, увы, наполовину сбывшимся пророчеством: «Кто начал царствовать Ходынккой, тот кончит – встав на эшафот».

Революционность Бальмонта можно назвать стихийно-анархической. Большевиков, с их «диктатурой пролетариата», ограничивающей свободу личности, поэт, конечно же, не принял, и в 1920 году, с разрешения Луначарского, вместе с третьей женой Е. К. Цветковской и дочерью Миррой выехал во «временную командировку за границу», переросшую в эмиграцию.

Не доучившийся в гимназии и не закончивший университетского курса, Бальмонт активно занимался самообразованием, легко овладевал языками (Максимилиан Волошин говорил, что Бальмонт знает 20 языков), запоем читал и переводил, объехал невероятное количество стран на всех континентах – Попдимитров пишет о «тремякратном» путешествии Бальмонта вокруг земли. Один из самых популярных и плодовитых поэтов начала XX века, Константин Бальмонт выпустил за свою жизнь 35 поэтических и 20 прозаических книг. А сколько оставил переводов! Переводил и Гейне, и Эдгара По, и испанских драматургов, и Шарля Бодлера... Особое пристрастие Бальмонт питал к народному эпосу и народным песням. Известен его перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели (для перевода этой поэмы Бальмонт изучал грузинский язык), замечательно его стихотворное переложение «Слова о полку Игореве».

Славянский мир вообще был сферой пристального внимания Бальмонта. Он переводил на русский язык польских поэтов, народные песни сербов и хорватов, болгар и словаков, а заодно и живущих близко к славянским границам литовцев.

Нужно сказать, что такого рода переводческая деятельность всегда была занятием благородным и благодарным. Валерий Брюсов, издавший после известной турецкой «резни армян» в 1915 году антологию «Поэзия Армении», стал близким и родным человеком буквально для каждой армянской семьи. Александр Блок, который конгениально перевел по подстрочнику одиннадцать стихотворений Аветика Исаакяна, также пользуется особой любовью армян, как и более близкие к современности поэты-переводчики Наум Гребнев и Вера Звягинцева. Переводившие грузин Пастернак, Заболоцкий, Лозинский, недавно ушедшая Белла Ахмадулина высоко чтимы на грузинской земле, то же скажу о

переводчиках «среднеазиатских» поэтов Арсении Тарковском, Семене Липкине...

Нисколько не удивительно, что Константин Бальмонт, проявлявший интерес к болгарскому фольклору и творчеству болгарских поэтов, печатавший в эмигрантских журналах свои переводы с болгарского, стал желанным гостем в Болгарии. В предисловии к книге подробно рассказывается об этой трехнедельной поездке Бальмонта в мае 1929 года, о тех деятелях болгарской культуры и словесности, с которыми познакомился русский поэт. Среди них на первом месте бесспорно стоит Емануил Попдимитров, переписка с которым продолжалась у Бальмонта многие годы. Но и других интересных знакомств было немало. Это и Никола Балабанов, работник Министерства просвещения, ревностно пропагандирующий болгарскую литературу внутри страны и за ее пределами, и критик Александр Дзивгов, и старейшина национально-освободительного движения Стоян Заимов, и молодой одаренный поэт Никола Ракитин, на раннюю трагическую смерть которого Бальмонт впоследствии отзовется несколькими эссе и стихотворными переводами.

Из сносок и комментариев можно узнать и о других выдающихся деятелях, способствовавших тесным связям двух народов, здесь в первую очередь следует назвать русских эмигрантов, оказавшихся в Болгарии после революции: А. М. Федорова, автора переводов «Антологии болгарской поэзии» (София, 1924), а также бывшую актрису Александринского театра в Петербурге Веру Пушкареву, сыгравшую колоссальную роль в театральной жизни довоенной Болгарии. Не знаю, виделась ли с Бальмонтом Вера Васильевна Пушкарева во время его приезда в 1929 году, про Федорова же известно, что он встречал Бальмонта на софийском вокзале и сопровождал в поездке.

Наиболее интересной частью книги показались мне письма Бальмонта к Попдимитрову, сохраненные в архиве последнего. Из них видно, какой жадный интерес к окружающему питал Бальмонт, как занимали его судьбы и творчество болгарских друзей, как интенсивно он работал над переводами их стихов. Заодно подивилась, что такие французские эмигрантские издания, как «Воля России», «Последние новости», «Россия и славянство», а также газета «Сегодня» (Рига), публиковали бальмонтские переводы фактически с колес, без задержки. В свою очередь, Попдимитров печатал свои переводы из Бальмонта в болгарских изданиях, и, как пишет Маргарита Каназирская: «В некоторых случаях материалы выходили раньше, чем в парижских газетах».

Что еще, судя по письмам, интересуется Бальмонта? Он просит друга Емануила прислать переводы «Слова о полку Игореве», если таковые имеются (тогда только что вышло бальмонттовское переложение «Слова...»), которое он посылает Попдимитрову), осведомляется о статье о древнеболгарском певце Бояне (у Бальмонта «Баян») и просит прислать ее, уточняет значение непонятных болгарских слов – ибо переводит с болгарского народные песни, посланные ему Попдимитровым. Книга бальмонттовских переводов народной болгарской поэзии с предисловием Емануила Попдимитрова выйдет через год после их встречи.

Есть в книге автографы бальмонттовских писем. И опять удивляешься – каллиграфическому ровному почерку, отсутствию помарок. Говорят, что точно так же, без помарок, Бальмонт писал свои стихи. По воспоминаниям современников, был он и в быту чрезвычайно аккуратен, что напоминает пушкинского «alter ego» Чарского, в квартире которого «книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было такого беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки».

Любопытно сопоставить манеру обращения корреспондентов друг к другу. Бальмонт пишет «Дорогой Друг» или «Дорогой Емануил», в черновике Попдимитрова читаем «Дорогой Учитель». Думаю, что такое «неравенство» обусловлено как разницей в возрасте, так и тем пиететом, с которым относился к русскому другу Попдимитров.

Что ж, даже Цветаева, чья многолетняя дружба с Бальмонтом начиналась в тяжелейшие для обоих послереволюционные «московские зимы», писала о нем с большой симпатией – как о Поэте в его полном и чистом воплощении. Наверное, эта всепоглощенность поэзией не могла укрыться от окружающих и вызывала уважение и даже восхищение.

Но вот любопытно: слова «Учитель», «старший брат», обращенные к Бальмонту, навели меня на размышления совсем другого толка. – «Старшим братом» для маленькой Болгарии долгие годы был Советский Союз. Сейчас ситуация поменялась в сторону равноправия, которое, как кажется, больше способствует дружбе. Хочется верить, что тот взаимный интерес, те редкой теплоты отношения, что так ярко проявились в книге о русском поэте, написанной поэтом-болгарином, найдут продолжение и развитие в будущем.

Иосиф ГОЛЬДЕНБЕРГ

У ВРЕМЕНИ СВОЯ ПЕЧАЛЬ

* * *

Ах, какие были годы
Ровно век тому назад:

Никому еще не продан
За долги вишневый сад.

Страх еще не сводит губы.
Все серебряные трубы
Скоро в слове зазвучат ...

Палачи и душегубы
В колыбелях тихо спят...

* * *

У времени своя печаль,
Свои надежды у пространства,
Но убегающая даль
Не обещает постоянства.

Не обещает утешенья,
Ни вычитанье, ни сложенье,
Ни умноженье скоростей.

Всё так же краток срок страстей,
Оплаченных самосожженьем.

* * *

Круг сужается, круг сужается:
По наделам друзья разъезжаются,
Почти некому письма писать,
За чертой все земные хлопоты,
Только ветра да листьев шепоты,
И до неба рукой подать...

Иосиф ГОЛЬДЕНБЕРГ

* * *

Что нам делать в небесах,
Где так славно было прежде,
Если светлые надежды
Убивает темный страх?

Что нам делать у воды,
Если возмутивший воду
Ангел нам вернул свободу,
Но не спас нас от беды?

Что нам делать у могил,
Если правда - только в силе,
Если Бога мы забыли
Раньше, чем он нас забыл?!

* * *

Высоко в тишине ночной
Поет почти живая скрипка.

В наш век последний и шальной,
Когда грядущее так зыбко,

Спасется мир не красотой,
А милосердною улыбкой.

* * *

Узнать всю правду о себе,
И ничему не устыдиться?!

О если б заново родиться
И предъявить тогда судьбе
Тот перечень благодетелей,
Что растворен в твоей крови.

Чтоб уровень земной любви
Стал выше уровня страданий.

Иосиф ГОЛЬДЕНБЕРГ

* * *

Все в одной плетемся связке,
То смеемся, то заплачем.
Чередуются, как в сказке,
Неудачи и удачи,

То с судьбою спорим снова,
И влюбляемся опасно.
Жизнь проходит бестолково,
Бестолково и прекрасно.

* * *

Встречая новую зарю,
Тепло и свет скрестили шпаги.
По лунному календарю
Живут поэты и бродяги.

Легко, раскованно живут,
Властей и женщин не клянут,
И рады так теплу и свету,
Как-будто милую планету
Вот-вот навеки отберут.

* * *

Просеивайте время, как песок,
Как камушки, перебирайте годы,
Достанет ли печали и свободы,
Чтоб жизнь переписать наискосок,
Чтоб обменять устойчивый уют,
Привычные слова и обороты,
Земные и неспешные заботы
На время откровений или смут?

* * *

Поздняя осень. Высокие ивы
Стоят сиротливо в наряде сквозном,
Почти что прозрачном, легки и красивы,
Как будто на грани меж явью и сном;
До первых морозов, до первых метелей,
Воздушно желтея близ сосен и елей.

Иосиф ГОЛЬДЕНБЕРГ

* * *

Бескрылые мечты кто пустит на постой,
Кто станет умножать постылые заботы,
Кто станет раскрывать серебряные ноты,
Чтобы сыграть на дудочке простой?

У долгих лет дни быстры, но тихи
(Перекрестись и помолись от сглаза!)
Но знаем мы, что судьбы и стихи
Не любят громких слов и выше пересказа.

* * *

Сотри случайные черты

А. Блок

Случайные черты сотру –
И высветится цель:
Один – я свечка на ветру,
Вдвоем – мы цитадель.

* * *

Но еще остается вопрос,
На который пока нет ответа:
Почему от твоих волос
На губах моих капельки света?..

* * *

Пусть звонит и звонит колокол:
Своих лет я еще не боюсь,
А с любовью твоей – и волоком
До вечности доберусь.

* * *

Помедли, помедли.
Душа никуда не спешит.
С трудом в одиночку
Она пробирается к свету,
По еле заметному, зыбкому,
Звездному следу,
Сквозь темное пламя
Желаний, безумств и обид.

Иосиф ГОЛЬДЕНБЕРГ

* * *

Не отнимай у вечности огня,
Перечитай священные страницы -
И помни, помни: без любви – ни дня:
Как можно жить, дышать – и не влюбиться?!

* * *

Не постоим мы за ценой
За синий воздух даровой,
За белый Божий свет.

За стук веселых каблучков...
За смыслы тех немногих слов,
Которым сносу нет.

ОБ АВТОРЕ: **Иосиф ГОЛЬДЕНБЕРГ** (Пушино, Московской обл.). Родился в 1927 году (с.Жванец, Украина). Поэт, филолог, преподаватель русского языка и литературы. Окончил филологический факультет Харьковского университета. Дружил с поэтом Борисом Чичибабиным. В 60-е годы жил и преподавал русский язык и литературу в Новосибирском Академгородке, Московской области. В 1968 году, подписав письмо в защиту Гинзбурга и Галанскова, был изгнан с работы и лишен права преподавания. Позже переехал в г. Пушино. Стихи Иосифа Гольденберга печатались в российской периодике. Опубликованы сборники стихов: "Из Пушино с любовью", "Каштановые свечи", "На каждый день", "Предварительные итоги" и несколько других книг.

Борис Чичибабин посвятил Иосифу Гольденбергу стихотворение, в котором есть такие строки:

Живет, не славен, не высок,
в зеленом городке.
Его серебряный висок
с добром накоротке.
И от него благая весть
по душам разлита,
О том, что в мире темном есть
любовь и доброта.

Софья ШАПОШНИКОВА

Я СТАРШЕ СТАНОВЛЮСЬ, ДУША – МОЛОЖЕ

* * *

В душе просторно, как в природе.
Всё, что случайно, отошло,
И, отдавая в мир тепло,
Душа не ищет, а находит.
И бескорыстные храня,
Она становится богаче,
Не ждет капризную удачу,
А просто рада свету дня.

ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Любовь не сон. Не страсти бред.
Любовь – страданье за другого
И рвение спасти от бед,
И неистрепанное слово.
Любовь есть неудобный мир,
Она – мучительное счастье.
А для кого-то – праздник, пир,
Пускай на месяц – ты в нем властен.
Но только жизнь пойдет на спад,
Ты до конца познаешь цену:
Любовь – двоих особый лад,
Нерасторжимый и нетленный.

* * *

Неразлучны мы с тобою,
Наши годы бьют в набат.
Озаренные любовью,
Мы ранимы во сто крат.
Поражает тело старость –
Постареть бы и душе,
Чтоб смертельная усталость
Не пугала нас уже.
Но душа-подросток с нами
Так полна, светла, горька –
Нерасчетливое пламя
В холодеющий закат.

Софья ШАПОШНИКОВА

* * *

Ты понимаешь, это не зима.
Ее приметы внешние – лишь малость,
Пусть в теле от гнилой зимы усталость,
В душе по-молодому кутерьма.
Дуэт звучит – о чем же нам грустить,
Дуэт звучит, а сердце вторит стуком.
Какая тут зима, какая вьюга,
Коль тянется сиреневая нить
На высоте божественного звука!

ДЕТСКИЙ ДНЕВНИК

Он был опасен, мой дневник,
Как отраженье общих бедствий,
Как обобщенный детский крик,
Как обличающее детство.
Когда в тифу, в ночном жару
Пошла с тетрадкой обреченной,
Чтоб превратить ее в золу.
Я лишь вздохнула облегченно.
И смерть не будет мне страшна,
Не подведу случайно близких
И в потаенных черных списках
Их не возникнут имена.
Пол выгибался подо мной,
Уньло кланялись колени,
Быть может, это шар земной
Устал от жертвоприношений.
Мне жаль сейчас мою тетрадь,
Как фотографии былого,
Но если б надо выбрать снова,
Я снова предпочла б сгорать.

В ИЮНЕ СОРОК ПЕРВОГО

Как упоенно дети спят!
Семейство тесное опять
Упругих и русоволосых –
Обыкновенный детский сад.

Софья ШАПОШНИКОВА

Спят на террасе – в летний сад
Трав усыпляющий настой,
Неповторимый дух сосновый –
Щекой к подушке, а рука
Ладонкой розовой открыта
Для тихой ласки ветерка.

...И небо мирное пока.
Все живы.
И уже – убиты...

* * *

Упасть на сено. Запахом зайтись,
Как плачем. И не сразу раздышаться –
И все мечты, наверное, свершатся,
И облаком укроет плечи высь.

Сухих травинок, каждого цветка
В отдельности руками не коснуться,
Обнять всё разом, сладко задохнуться,
И пульс земли услышать у виска.

МОЛОДОСТЬ, АНГЕЛ – ХРАНИТЕЛЬ

Ты на каком повороте
Бросила руку мою?
Ангел-хранитель без плоти.
Я от тебя отстаю.

Ты хоть взгляни ненароком
В эти надслезные дни,
Горькое это «далеко»
Молча крылом осени.

Разве не связаны нитью
Отблеск седой и звезда?..
Молодость, ангел-хранитель,
Не изгоняй из гнезда.

Софья ШАПОШНИКОВА

В ДВА СЕРДЦА

Какая тишина окрест,
Как непорочно сини выси,
Как прочен мир, как независим
От человека и небес!

И вечен хлеб и вечен дом,
И вечны в этом доме дети,
Как вечен белый свет на свете.
Но что-то прохунилось в нем.

Вбирает взгляд в одно мгновенье
И дрожь предсмертную листвы,
И колосков недоуменье,
И оторопь травы.

И хочется к земле припасть,
И отогреть, и отогреться,
И вместе биться с ней в два сердца,
И остро чувствовать: я – часть.

КОГДА – НИБУДЬ

Когда-нибудь закончатся раздоры
И войны,
И люди на людей подымут взоры
Спокойно,
С приятием, без всяких подозрений,
Неверья,
И будут среди них простаки и гений,
Наверно.
И будет город чист, широк и светел,
Как парки,
И девочка в тогдатошнем берете
Пройдет под аркой,
Построенной в знаменованье мира
Навечно...
...Представила – и не темно, не сирю,
И всё по-человечьи.

Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ

РОЖДЕСТВО

* * *

Раздвигая миры Эвклида,
время сматывая в клубок,
волхвы идут на восток,
но дороги во тьме не видно.

Укатился в глухую ночь
шерстяной их клубок овечий,
и уходят они за вещей
теплой нитью, ведущей прочь.

Завывает зурна метели,
зазывает звезду пустынь
в те края, где родился сын
человеческий в божьем теле.

И является трем волхвам,
путеводным лучом сияя,
та звезда – и дойдя до края,
время делится пополам.

* * *

Крутит зимний солнцеворот.
Снова путники у ворот.
Мысли лишь о насущном хлебе.
И такой звездопад на небе,
будто снег за окном идет.

Ясли, сено, волхвы, волю.
Нынче будут полны столы –
не дарами, так просто снедью.
И звенит колокольной медью
Рождество из полночной мглы.

Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ

* * *

Возвращайся, мой блудный сын,
непослушливый сын-приблуда.
Дом ослаб, и очаг остыл.
Но в овине творится чудо.

Возвращайся путем зерна.
Ночью хлеб, как икра, зернится.
Ждет тебя у печи жена,
до заутрени молодится.

Возвращайся, а я врата
отворю в ожиданье встречи,
замечая, как изо рта
теплый пар летит человечесий.

* * *

Где Рождество, там елочные ясли,
животных неразгаданный язык.
Роженица молчит – но очи ясны.
И даже Ирод истину постиг.

Отныне против силы будет сила
и над земною властью будет власть.
И валит из трубы неторопливо
молочный пар, вздымаясь и клубясь.

Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ

ИЗ СТОКГОЛЬМА С ЛЮБОВЬЮ



Бенгт Янгфельдт. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 368 с.

Лет десять назад мне довелось присутствовать на обсуждении диссертации, посвященной творчеству Иосифа Бродского, в крупнейшем российском университете. Профессора-филологи недоуменно спрашивали тогда соискателя высокой степени: вы действительно думаете, что Бродский имеет отношение к поэзии? А вы уверены, что он имеет отношение к русской поэзии? В вопросах не было подвоха: давно канонизированный интеллигентской средой, нобелевский лауреат далек еще от признания как массовым, так и профессиональным сознанием, – при всех волнах моды на это имя. И всё же книг об Иосифе Александровиче выходит – и, видимо, покупается – немало. Их можно условно разделить на две категории: мемуарно-биографические издания (и здесь вне конкуренции самоотверженная деятельность Валентины Полухиной) – и исследования поэзии монографического типа, в связи с чем хочется упомянуть имя филолога Андрея Ранчина. В первом случае в центре внимания – человек Иосиф Бродский, во втором – тексты этого человека. И редко когда предметом разговора становится их неразрывное единство, олицетворенная связь между личностью и его творением – собственно Автор, созидающий свои тексты – и сам созидаемый ими.

По-видимому, к подобному ракурсу в свое время стремился Лев Лосев. Но, будучи литературоведом, он был чересчур академичен, а как пожизненный друг-мемуарист – слишком влюблен в своего

героя. И то, и другое искажает оптику, взаимно усиливая близорукость и дальнорукость. Без его трудов об Иосифе Бродском невозможно себе представить книжных полок тех немногих избранных читателей, что продолжают следить за русской поэзией. И всё же его книги воспринимаются скорее как ценный архив – наблюдений и размышлений, фрагментарных и бережно собранных. Деликатнейший Лев Лосев не считал себя вправе давать собственное осмысление грандиозной фигуры Иосифа Бродского, его миссией было предельно точно описать, разъяснить, сохранить. Воистину, удивительный пример самоотречения одного большого поэта во имя другого.

На этом фоне особенно ценной выглядит новая книга Бенгта Янгфельдта, известного шведского литератора, исследователя, переводчика, товарища и издателя Иосифа Александровича. Изначально написанная по-шведски и для шведской же аудитории, самим автором переведенная на русский язык, эта книга представляет собой тот редкий случай, когда из биографических и текстологических штудий рождается единый целостный образ Поэта. Не просто человека со своими нравственными взлетами и падениями, не омнибуса текстов, обезличенного и обескровленного, – а именно того творящего начала, думающего и чувствующего, которому суждено было реализоваться в судьбе человека и *fata libelli*.

По-видимому, ключевым здесь является чувство меры. Нужно много лет общаться со своим героем – но не слишком интимно. Нужно хорошо чувствовать его мировоззрение – но не разделять его полностью. Нужно самому быть поэтом – но на другом языке, в другой традиции – и способным к поэтическому переводу. Думается, что именно правильно выбранный фокус дает предельно точный портрет. И кому как не Бенгту Янгфельдту, автору лучших – «кошачьих» – фотографий Бродского, об этом не знать.

В заглавие вынесено *credo* Бродского – символ веры, без понимания которого невозможен осмысленный разговор о нем. В книге воспроизводится бродский катехизис: Язык есть бог, он больше времени; время больше пространства; поэзия выше прозы; эстетика выше этики; из современных поэтов первый – Оден; из русских – Марина Цветаева. Разговор идет о религиозности Бродского и особенностях его еврейства, о его нелюбви к исламской культуре и подозрительности в отношении Православия и дальневосточной мистики. Открыто говорится о невротичности, противоречивости, двойственности характера поэта – что, по сути, создает особое обаяние его образа.

Помимо воспоминаний и размышлений, книга содержит краткий биографический экскурс с понятным акцентом на шведской – в частности, нобелевской – истории Бродского. Здесь проявляется специфика издания: читателю может показаться, что Швеция более любима Бродским, нежели Венеция.

Внимательность и внятность, трезвость оценок, сдержанность интонаций и доброжелательность, искренняя заинтересованность и желание заинтересовать своим героем – все эти черты, видимо, свойственные самому шведскому слависту, делают книгу достаточно объективной, хотя и с явным присутствием личного авторского начала, оживляющего повествование.

Эта книга не является узкоспециальной и будет интересна широкой аудитории: она будто специально написана для тех, кто не может понять, откуда такой шум вокруг имени Иосифа Бродского, – и искренне хочет разобраться и составить свое независимое мнение. Однако и профессиональные читатели, освоившие существующий корпус текстов о Бродском, найдут здесь немало любопытной фактуры. Например, мало кто знает, как выглядели рукописи Бродского: оказывается, он склеивал машинописные листы в длинную ленту и сворачивал ее в толстые свитки. Или примечателен тот факт, что прямо перед смертью он прочитал резко критический отзыв Джона Кутзее на свой последний сборник эссе «Скорбь и разум».

И уж точно книгу Янгфельдта стоит прочитать той университетской профессуре, что всё еще испытывает сомнения по поводу дарования Иосифа Бродского и его идентичности.

Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ, Москва

ОБ АВТОРЕ: **Андрей Анатольевич НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ** родился в 1974 году в Москве. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в 1997 году. Кандидатская и докторская диссертации посвящены творчеству Иосифа Бродского. С 2008 года – заведующий кафедрой истории телевидения и телекритики МГУ имени М.В. Ломоносова. С 2011 года – ректор Академии медиа (Москва). Автор трех поэтических сборников, двух книг прозы, многочисленных публикаций в российской и зарубежной прессе.

Николай ГОЛЬ

* * *

И было нечто – больше, чем печаль.
И было что-то – меньше, чем надежда.
И было время года – как-то между
весной и летом.
Времени и жаль.

Но как-то так случилось невзначай,
что межсезонье растеклось безбрежно,
хоть нет того,
что меньше, чем надежда,
нет ничего,
что больше, чем печаль.

* * *

Уже сегодня нас чуть меньше,
короче вектор, уже сектор,
уже сегодня нужен фельдшер,
а завтра – доктор и прозектор.
Тут не конец или начало,
а как бы жизнь на некой грани,
когда из мрака кинозала
себя мы видим на экране.
Но этот – тот, который в будке,
ошибся широкоформатно:
мы в кадре шли вперед как будто,
а пленка движется обратно,
и нас в движенье двуедином
в автоматической системе,
как кинолентку на бобину,
на смерть наматывает время.

ОБ АВТОРЕ: Николай Михайлович ГОЛЬ, Санкт-Петербург. Поэт, переводчик, драматург, детский писатель. Родился в 1952 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский Институт культуры. Автор множества книг для детей, переводов стихов и прозы (от Эдгара По до Филипа Рота). Лауреат премии журнала «Нева» (2003 г.). Член Союза Санкт-Петербургских писателей, член Союза театральных деятелей.

Николай ГОЛЬ

* * *

Строки первую и последнюю
перечитывая, вижу,
что Париж – он стоит обедни,
да обедня не стоит Парижа.
Как охотник, идя по следу,
постигаю, что равномерны
путь от первой и до последней,
от последней строки до первой.
Ты, рыбешка, не бойся бредня,
наверху ведь еще подводней.
Ты была последней намени –
станешь первой уже сегодня.

* * *

Зачем писать о прочих? О своих
успеть бы, да хватило бы отваги.
Ведь для того и куплен лист бумаги
и пишмашинка, и замазка "Штрих".
Не то чтоб слишком узок этот круг,
но в круге этом как-то тесновато.
Друзья мои – отличные ребята,
не исключая также и подруг.
Без них мне грустно. С ними веселей.
Но соловей
не оживает в горле.
Не помню царскосельских тополей,
и том Парни потрепанный уперли,
а кто – не знаю.
Кто-то из друзей.
Вчера я заболел. Мне мир постыл.
Кто это квохчет: кочет или кречет?
Иных уж нет, а тех ужо далечат,
как Пушкин из Саади говорил.
Склонились надо мною доктора.
Друзья при мне.
Окоченело тело.
А вот душа еще не отлетела...
Лети, душа!
Унылая пора...

Николай ГОЛЬ

* * *

Всё, да не всё нам память сохраняет.
Иные лета поглощает Лета.

...Мария Николавна выбегает
из двери будущего горсовета.
Ее не узнают. Она в вуали.
На перекрестке стала, отдыхая.
Ту улицу переименовали
впоследствии – и вновь она Морская.
Всё, отдышалась. Мостовой торцовой
невнятен голос – вздох из-под копыта...

Она уже на площади Дворцовой
(название по сю пору не забыто).
Поцокала туфлею на паркете,
За окнами присвистнул санный полоз...

– Где государь?
– Изволят в кабинете...
И граф Орлов...
– Живой?! А мне был голос...
Ну, слава Богу! Стало быть, помстилось.

Выходит император. Он смущен.
– Мой друг, что с вами?
– Мне сегодня снилась
Седая крыса. Что за гадкий сон!

Николай ГОЛЬ

* * *

Во времени моем и нашем,
в которое, как в поле, вышел,
в котором в общем смысле –
пашем,
в котором в частном смысле –
пишем,
в котором нет причин для странствий,
в котором нет камней для башен,
во времени моем и нашем,
но в то же время и в пространстве,
да, да, во времени, но также
еще в пространстве, между прочим,
будь снисходительною так же
ко мне, как я к тебе и прочим.

* * *

Пора поговорить про нас,
про то, дружок, чего достигли,
про угли, что в горячем тигле
сгорая, создают алмаз, –
но, к сожаленью, не про нас.

Поговорим, дружок, про труд,
который пуст и нас не минет,
и про поленья, что, в камине
сгорая, создают уют...
Давно дровишек не несут.

Поговорим, дружок, про год,
богатый булкой и хлебом,
про жизнь: она, сближаясь с небом,
сгорая, создает почет...
Никто букетов не несет.

Поговорим, дружок, о том,
как ведьма пляшет над стаканом
и помелом своим поганым
нас выметает поделом...
Поговорим, дружок, потом.

Николай ГОЛЬ

ТРИ ПУШКИНОВЕДЧЕСКИХ МИФА



АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

портрет работы О. А. Кипренского

Пушкин сделался личностью сказочной, более того, мифической. Мифологизация началась давно, чуть ли не сразу вслед за гибелью. Тогда с удивительной романтической непосредственностью и легкостью свинец, вспоровший живот поэта, переместился мановением юного лермонтовского пера в грудь покойного. А в 1880 году, ко дню открытия памятника Пушкину в Москве, появился уже вполне осязаемый признак поистине всенародного признания: водка «Пушкинская». А в начале века преискуранты магазинов предлагали уже такой товар: «Шапка "Пушкин" из кролика (от 10 руб.)». А Эдуард Багрицкий уже кому-то «мстил за Пушкина под Перекопом». И так далее. И вот журналист и фольклорист Е.А.Баранов, собиравший в середине двадцатых годов прошлого столетия городские легенды, записывает рассказ завсегдатая одного из столичных трактиров: «Пушкин в Москве жил и планы разные разводил: ведь это он застроил Москву, ведь это он завел порядок... А ежели бы не Пушкин, была бы не Москва, а черт знает что... Умнейший был господин. И книги тоже писал, всё описывал...». А к столетию со дня смерти поэта его казахский орденосный коллега Джамбул Джамбаев пел, легко касаясь струн своей лиры, то есть, прошу прощения, домбры – в переводе, разумеется:

Трусливая свора придворных царя
Гнала тебя в горы, презреньем даря.
Не в битве великой и не от меча,
Погиб ты от грязной руки палача...

Последующие юбилеи сказочности только добавили. И, кажется, пришла пора попробовать разобраться в некоторых пушкиноведческих мифах.

СТОЛП

1836 год складывался для Александра Сергеевича не очень удачно. Долги, плохо расходящийся журнал, потеря читательского интереса, звучащие в критике мнения об исчезновении поэтического дара... Что на это ответишь? Пушкин ответил. 21 августа он перебелил «Памятник».

Это стихотворение, вольный пересказ оды Квинта Горация Флакка, знает каждый школьник. И знает, конечно, что, создав себе нерукотворный памятник, Пушкин вознесся главою выше Александрийского столпа – то есть, Александровской колонны, воздвигнутой на Дворцовой площади. Да так ли это в самом деле? И была ему охота возноситься своей непокорной и курчавой выше плешивой, обладатель которой – «властитель слабый и лукавый», гонитель поэта, замотавший его по ссылкам?!

Тому дивился еще Д.И.Писарев. Приведя в статье «Лирика Пушкина» строку о столпе, он снабдил ее недоуменной пометкой: «Только-то?» Но на это постарались не обращать внимания: хам – он и есть хам, хоть и демократ. Нечего насмехаться над святым.

Нет же, возразят некоторые школьники, не над Александром Романовым вознесся Александр Пушкин, он имел в виду не персонифицированного императора, а именно колонну – самую высокую на то время в мире, целых 47,5 метра. Но тогда – если речь идет об архитектурном сооружении – выходит, что он при жизни выше ангела божеского (а именно ангел венчает колонну) – вознесся? Такое христианину и вымолвить невозможно.

Нет же, отвечают уже не некоторые школьники, а одни лишь круглые отличники: нет, дело не только в высоте колонны; не будем забывать, что она посвящена русской воинской славе! Но тут получается, что поэт выше народной славы вознесся? Куда ни кинь, всюду клин, одно предположение сомнительнее другого.

Надо заметить, что в пушкинские времена никто Александровскую колонну Александрийским столпом не именовал. Сам автор «Памятника», естественно, тоже. Он, так высоко ставивший «точность выражения», не мог себе этого позволить. Он, раздраженно замечавший, что литераторы обязаны «иметь хоть малое понятие о свойствах русского языка», знал прекрасно: прилагательное от имени «Александр» – «Александровский». И, в соответствии с этим, писал: «Он <Аракчеев> («Александровский холоп», кстати говоря. – Н.Г.) умер не причастившись, потому что, по его мнению, должен был дожить до дня открытия

Александровской колонны»; «При открытии Александровской колонны будет, говорят, 100 000 гвардии под ружьем»; «Я выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны»...

Прилагательное «александрийский» тоже было, разумеется, отлично Пушкину знакомо: «Александрийские чертоги» покрыла сладостная тень»... Александрийские – потому что дело происходит в Александрии, той самой, где высился Александрийский маяк – сто двадцатиметровая трехэтажная башня (по-старославянски – «столп»; и столпники наши не на столбах сидели!), шестое чудо света. На это важно обратить внимание: в оде Горация памятник поэту оказывается выше пирамид, а почти каждый школьник скажет, что пирамиды – первое из семи чудес света.

Так что Пушкин, надо думать, в отличие от своих предшественников по переложению оды – Ломоносова («Превыше пирамид и крепче меди») и Державина («Металлов тверже он и выше пирамид») – древнеегипетские гробницы заменил на другое традиционное чудо света. Вот, собственно, и всё.

Большая часть приведенных резонов бытует в научной литературе давным-давно. Но до учебников и массового читателя они не доходят. Потому что приводятся в качестве предмета для безоглядного отрицания. Предположение, подобное высказанному выше, по мнению авторитетнейшего исследователя, «не только искусственно, но и совершенно излишне, если придерживаться общепринятого толкования, что Пушкин под «Александрийским столпом» имел в виду Александровскую колонну». Ну да, если придерживаться... Марксизм вечен, потому что он верен.

Впрочем, осознавая некоторую зыбкость такой аргументации, пушкинисты готовы иногда на определенные уступки: «Пушкин словно бы отводил читателя к памятникам Египта (Александрии), но, конечно, имел в виду не их, а Александровскую колонну»; «Александрийский» получало как бы двойную смысловую нагрузку и тем самым маскировало его истинные намерения»...

Да зачем же? Пушкин и куда более непроходимые слова «Памятника» – «в мой жестокий век восславил я свободу» – не маскировал; в этом не было насущной необходимости: он вовсе не предполагал опубликовывать это стихотворение. А вот Жуковский, публикуя подцензурно в 1841 году пушкинский текст, и «жестокий век» убрал, и «свободу», и Александрийский столп заодно заменил, перестраховавшись... на Наполеонов. Вот до какой степени пушкинский друг и учитель подозревал цензоров в узости взгляда и предвзятости! О потомках, хочется надеяться, он так плохо не думал.

ШКАФ

Конец 1836 и начало 37 года были для Александра Сергеевича нехороши. Анонимные дипломы кавалера ордена рогоносцев, приходившие по почте на его имя и – в двойных конвертах – распространявшиеся в обществе; демонстративное ухаживание Дантеса за Натальей Николаевной; дуэльный вызов поручику кавалергардского полка; сватовство последнего к Екатерине Николаевне Гончаровой; отказ от дуэли; свадьба свояченицы и злополучного поручика («шитье приданого приводит меня в бешенство»); продолжающиеся домогательства молодого Геккерена; новый вызов; дуэль; смертельное ранение...

Дальнейшее описано сотни раз; прощание с книгами – наверное, тысячу. Можно привести любую цитату – возьмем хоть эту, из книги А.Гессена «Жизнь поэта»: «На вопрос, кого из друзей ему хотелось бы видеть, Пушкин тихо промолвил, обернувшись к книгам своей библиотеки:

– Прощайте, друзья!»

Эпизод на этом завершается.

Это настолько хрестоматийно, что уже не вызывает ни малейшего удивления. А ведь, право, странно – почему поэт послал предсмертное прощай книгам, а не столпившимся за дверью взволнованным друзьям, которых любил и ценил, которым был верен, которые оставались верны ему? Он – ненавистник всякой позы, даже предсмертной! Свидетельствует П.А.Вяземский, присутствовавший когда-то при последних минутах дяди поэта: «В.Л.Пушкин, четверть часа до кончины, сказал мне задыхающимся и умирающим голосом: «Как скучен Катенин!» – «Уйдемте, – сказал мне тут Александр Пушкин, – дадимте дяде моему умереть с историческим словом...».

А тут, зная, что жить осталось недолго, сам произносит «историческое слово», фразу чуть ли не театральную, для друзей – поистине убийственную: вот кто мне настоящие друзья, не вы!

Между тем всё было не совсем так. Подлинную картину по горячим следам описал доктор В.Б. Шольц – именно он разговаривал с раненым.

«"Не желаете ли вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?"

"Прощайте, друзья!" (сказал он, глядя на библиотеку). "Разве вы думаете, что я часа не проживу?"

"О, нет, не потому, но я полагал, что вам приятнее кого-нибудь из них видеть... Господин Плетнев здесь".

"Да, – но я бы желал Жуковского. – Дайте воды, меня тошнит"».

Измученный болью, порой теряющий сознание от невыносимых страданий, поэт глядел на библиотеку – но не к ней обращался.

К друзьям. А потом, собравшись с силами, позвал одного из них. Пушкин, повторимся, не любил напыщенной поэзы.

ШАЛОПАЙ

«Я трогал пульс, – продолжает доктор Шольц, – нашел руку довольно холоднойю – пульс малый, скорый».

Дело шло к концу. Принесли по просьбе умирающего моченой морошки. Покормили с серебряной ложечки. Пушкин сказал жене (сообщает Е.Ф.Вяземская): «Носи траур по мне в течение двух лет, потом выйди замуж, но только не за *шалопая*».

При чем тут какой-то шалопай – бездельник, бродяга, негодяй, как определяет слово близкий по времени словарь В.И.Даля? Зачем бы Наталии Николаевне, матери четырех детей, связывать жизнь с бездельником и бродягой?

А вот П.И.Бартнев сообщает нечто иное: «Она <Е.А.Долгорукова> слышала, как Пушкин уже перед самою кончиною говорил жене: «Носи по мне траур два или три года. Потом выходи замуж, но не за *пустозвона*».

Откуда такое разночтение? А дело в том, что и сказано, и услышано, и записано было по-французски. И в обоих случаях – одно и то же слово: «*сенапан*».

Что ж это за *сенапан*? Возьмем письмо Пушкина к барону Геккерену от 26 января с характеристикой Дантеса: «...он просто плут и подлец». В подлиннике – «*lache*» и «*сенапан*».

Возьмем автокопию той же корреспонденции: «...он просто подлец и негодяй». В подлиннике – «*pleutre*» и «*сенапан*». Такое уж это хитрое дело – перевод. (Кстати, Даль в своем словаре предположил, что русское «шалопай» восходит к французскому «*сенапан*» – что ошибочно, но весьма характерно.)

Страшно подумать, но речь, кажется, шла о Шалопае (Пустозвоне, Подлеце, Негодяе) с большой буквы. Персонафицированном Пустозвоне-Подлеце-Негодяе-Шалопае.

А основания-то, основания какие? Были ли у Пушкина основания сомневаться в верности жены? Вероятно, не было. Но он сомневался.

Незадолго до дуэли Пушкин говорил Е.М.Хитрово: «Мне не в чем еще (! – Н.Г.) ее упрекнуть, но я не могу перенести мысль, что, может быть, ее душа уже смущена».

И – куда определенной – в неотправленном ноябрьском письме к барону Геккерену: «Красивая внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство всегда в конце концов производят некоторое впечатление на сердце молодой женщины».

Особенно если обладатель красивой внешности оваян в обществе славой «самого модного кавалергарда».

И еще однозначней звучит свидетельство П.А.Вяземского о том, что Пушкин говорил в конце 1836 года о себе «во всеуслышание: "Ты этого хотел, Жорж Данден! "».

Герой мольеровской комедии «Жорж Данден, или Одураченный муж» вовсе не оклеветан молвой – обманут собственной ветреной супругой. И видит «один исход – броситься в воду вниз головой».

Известно, как внимательно всегда, а в преддуэльный период, следил Пушкин за мнением общества – не только собственного круга – о себе. («Мое имя принадлежит стране, и я должен следить за его неприкосновенностью всюду, где оно известно.») Да и сама дуэль была во многом ответом общественному мнению.

А оно было и таким, как сообщает в одном из писем А.П.Дурново, урожденная княгиня Волконская: «Представьте себе, какую ужасную вещь сказала одна из барышень: "Какое несчастье, что Пушкин не был убит до женитьбы Дантеса, тогда m-me <Пушкина> могла бы выйти замуж за Дантеса!"».

Надо думать, что среди барышень эта тема обсуждалась и до гибели поэта. Интересно, что факт убийства на дуэли не представлялся серьезным препятствием для женитьбы. Подобные примеры были знакомы. Пушкину, специально интересовавшемуся историческими анекдотами – вне всяких сомнений.

В свое время (в 1807 году) командир 1-го Егерского полка Д.В.Арсеньев посватался к фрейлине Каролине-Марии фон Ренне. Предложение было принято. Брак считался делом решенным. Но тут фрейлине сделал предложение граф И.Е.Хрептович. Арсеньев получил неожиданный отказ. Дуэль.

Современник писал: «Хрептович убил на дуэли Арсеньева за невесту, которая первого предпочла второму. Арсеньев погребен с честью: в приказе сказано: убит на охоте; Хрептович прощен и женился на предмете драки».

Эта реальная история наделала много шума; а вот сюжет литературный: «Он отравляет его... Его зовут Гонзаго. Сейчас вы увидите, как убийца снискивает любовь Гонзаговой жены».

Действительно, как говорил Пушкин, «волос становится дыбом от Гамлетовых шуток».

Но ведь и граф Хрептович, и король Клавдий, которого имел в виду принц датский, были по крайней мере холосты! А Дантес... Он ведь убил «после женитьбы». Но к его браку с Екатериной Николаевной – явному средству уклониться от первого дуэльного вызова – мало кто относился всерьёз. Сам Пушкин называл событие «женитьбой, которая совсем походила бы на веселый фарс». А уж способы расторгнуть немилый союз всегда найдутся, не говоря уже о долгом по тем временам, но вполне осуществимом разводе, – разве что молоденьким барышням были они неизвестны.

Например, был такой способ, Пушкиным и описанный: «Дед мой, Осип Абрамович... женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой».

Широко обсуждался в обществе и случай, произошедший в 60-х годах XVIII века: фрейлина графиня Е.К. Разумовская сбежала с графом П.Ф.Апраксиным и тайно обвенчалась с ним при живой его жене. Было высочайше приказано оную Разумовскую отыскать и поместить в Новодевичий монастырь. Что и было сделано. Через пару недель молодоженов простили, а в монахини под именем Августы отправили прежнюю жену. Такова цена монаршего пригляда за общественной нравственностью... А за пушкинскими обстоятельствами Николай Первый следил внимательно. И в Арсеневе предыдущий царь, между прочим, принимал участие: «Государь император, отлично к нему расположенный как к человеку, вполне этого заслуживающему, благоволил дать ему денежные средства»; а потом – «убит на охоте»...

Здесь не место говорить о так называемом «царском следе». Но были, были причины (пусть субъективные) у замученного, издерганного, непонятого, уходящего из жизни поэта для тревоги и волнения. Тем более что от шалопаю можно было ожидать чего угодно – совестью и честью он с легкостью пренебрегал.

Вероятно, Наталия Николаевна ни о чем подобном даже и не помышляла. После смерти Пушкина она прожила вдовой не два-три года, а целых семь, и новым мужем ее стал не *chenapan*, а генерал П.П. Ланской.

* * *

А Пушкин умер. Солнце нашей поэзии закатилось, как выразился В. Ф. Одоевский. А потом, через много лет, некий посетитель музея на Мойке 12 обратится к экскурсоводу: «Покажите нам, пожалуйста, диван, на котором закатилось солнце русской поэзии!».

Наше всё... Аполлон Григорьев, назвавший поэта так, уточнил свою мысль: «Пушкин – представитель всего нашего *душевного, особенного*, такого, что остается нашим *душевым, особенным* после всех столкновений с чужим». Всё, что ни на есть в Пушкине, – говорил критик, – наше. Теперь же эта формула чаще цитируется и понимается в обратном смысле: Пушкин – это всё, что у нас есть, эдакий совокупный национальный продукт. Со слова «наше» акцент переместился на «всё». Дескать, отними у нас Пушкина – что останется?... А и впрямь – что?

Николай ГОЛЬ, Санкт-Петербург

Рина ЛЕВИНЗОН

* * *

Брат мой, дождь,
Ты понятлив и тих.
Я к тебе – от нескладиц моих.
Двери настежь в оставленный дом,
Ветер хлопает ставней в печали...

Что за нежность бывает вначале,
Что за грусть наступает потом...

* * *

Толпа стоит у черного перрона –
над ней огонь и пепел, кровь и дым...
Наш путь –

 в Освенцим
от холмов Хеврона,
и нынче снова возвращенье к ним.
Но Бог не оставляет нас одних,
какая бы ни выпала планида.
Мы – сироты Освенцимских портных,
но мы – навеки – правнуки Давида!

* * *

Уж как судьба ни гневалась –
Пусть не мытьем – так катаньем,
Но всё равно я нежилась
В своей надежде латаной.
И как бы жизнь ни маяла,
Ни мучила, ни жалила,
Но горя было мало мне –
Не плакала, не жалилась.
Ах, жизнь моя... Да только бы
Горели свечи вечером...
Суровой или шелковой
Пусть длится веки вечные.
И стерто, и застирано,
И трижды перелатано,
И всё равно красивое –
Житье мое крылатое.

Рина ЛЕВИНЗОН

* * *

Памяти Александра Воловика

На серебряной лодочке нашей,
Ветер южный – нам с ним по пути.
Уплываем всё дальше и дальше,
помоги нам, луна, посвети.
Снова вместе – судьбе неподвластны,
лишь бы лунная речка текла
И не важно совсем, и не ясно –
ты ли жив, или я умерла.

* * *

Как грело, как горело.
Добела
как раскаляло.
До безумной глади.
Всё двигалось в таком нездешнем ладе,
и все сады, в которых я была,
сошлись теперь в невиданном раскладе.
Как серебрилось, поднималось вверх,
подкатывало к горлу, отпускало.
До белого, до сладкого накала,
которому ни времени, ни мер,
и вся пыльца далеких стратосфер
над нашими плечами колдовала.
И как потом всё исчезало вмиг.

* * *

Всё теплится, всё еще тянется, длится,
над сонной печалью и радостью тихой плывет.
На доньшке счастья невнятная горечь тaitся,
на доньшке горечи легкая сладость живет.
Как рано еще, как протяжно, блаженно и странно
на город обрушился этот сиреневый свет,
орешник расцвел над волшебным мостом Варизано.
Такая весна, от которой спасения нет.
И всё еще сбудется, что-то еще может стать,
и мост изогнулся над бездной беспечной дугой.
И кто может знать: перед тем, как навеки расстаться,
придет невозможная радость из жизни другой...

Рина ЛЕВИНЗОН

* * *

Мне нравится мое житье:

хлеб с молоком на завтрак ранний,
и что запрещено нытье,
и что разрешены свиданья.
Я приберу свое жильё,
я переставлю всю посуду,
и экономить свет не буду,

пусть светится окно мое.
И, удивляясь непрестанно
свободе, воздуху, плоду,
я так по комнате пройду,
как Ева первый раз в саду.

* * *

О, Боже, не испытывай меня!
Я не боюсь ни ветра, ни огня,

ни слова и ни горестного знака...
Но так же, как спасал Ты Исаака,

как нож отвел Ты от груди его,
так защити и сына моего.

* * *

Пройдет печаль, и грусть перегорит,
Растают дни в тени тысячелетий.
Но жизнь мою никто не повторит,
Никто и никогда на целом свете.

И надо жить до самого конца
Всей силой духа и свободой зренья,
Чтоб всё сошлось – единственность Творца
С единственностью
Божьего творенья.

Рина ЛЕВИНЗОН

* * *

*И сказал Господь:
"Пойди в землю,
которую Я укажу тебе".*

Бытие, 12-1

Звездам числа нет...

М. Ломоносов

Жила – как жилось – без натуги

Брала себе Музу в подруги,
Веселых и нищих – в друзья.
Ни тьмы не боялась, ни выюги,

И с детства (не в первом ли круге?)
Я знала, что плакать нельзя.
И поезд стоял на вокзале.

"Прощайся, – мне боги сказали. –
Есть в мире другая земля".
Зима за окном холодела,
И не было жизни предела,

И не было звездам числа.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Что Бог задумал, языки смешав

И тем разъединив родные души?
Я милому скажу: "Постой, послушай!"

А он уйдет, ни слова не поняв.

И Бог мне тот, который соберет

Всех вместе нас и под единым кровом,
И наградит нас всех единым словом,

И это слово каждый разберет.

Юрий КАЗАРИН

* * *

Пока мой лещ, слезу глотая, окал
и обращал вселенную в испуг,
мне прямо в лоб летел с востока сокол –
и поворачивал на юг.
И в лодочке, на узкой половице,
скользя по тусклому и влажному лучу, –
всё, что с тобой и с мирозданием случится, –
надумаю, наплачу, намолчу.

* * *

Ходит шатун-трава.
Может быть, голова
кружится у земли –
яблони налегли
на вертикаль господню.

День-то какой сегодня?
Вторник. Сосед просох...
Чертополох. Подсолнух.
Ужас в глазах бессонных:
кто из них больше бог?..

Ясно, чертополох.

* * *

Сон попевает за белкой богатой,
дальше – сломаешь язык.
Кто-то вполнеба вздохнул за оградой.
Бог... Или бык.
Или корова с теленком во чреве
дышат вдвоем. И телец
слышит: повсюду, и рядом, и в небе,
дышит навстречу отец.

ОБ АВТОРЕ: Юрий Викторович КАЗАРИН, ученый-исследователь языка поэзии, доктор филологических наук, профессор. Родился в 1955 году в Свердловске. Окончил Уральский государственный университет, преподает русский язык в вузах Екатеринбурга. В течение семи лет возглавлял региональное отделение Союза писателей России. С сентября 2010 года редактор отдела поэзии журнала «Урал», руководит областным литературным клубом «Урал» при редакции журнала. Автор нескольких поэтических книг. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Уральская новь», «Юность», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», «Арион», «Сибирские огни», а также в США, Израиле, Германии, Украине, Италии, Испании и др.

Юрий КАЗАРИН

* * *

Дерево отодвину
в тень на закате дня.
Глина увидит глину –
маленького меня.
Трону пчелой лобешник.
Птичке построю дом.
Чтобы стоял скворечник
в небе с открытым ртом.

* * *

Душу спасет беда.
Всё теперь – человек.

Выпьет себя вода
и превратится в снег.

Зиму перемолчишь,
чтобы из белых дох
снегом с покатых крыш
в полдень заплакал бог.

* * *

Я знаю эту дрожь.
Очей не закрывая –
и ты, земля, умрешь,
бессмертная, живая.

И сквозь твои персты
пройдут пески и воды,
и небо пустоты,
и небо непогоды.

Последняя слеза
без боли и печали,
которую глаза,
как мир, не удержали.

Юрий КАЗАРИН

* * *

Ты помедли надо мной,
ангел улетающий.
Каплет ужас ледяной
из души рыдающей...

И поём средь бела дня,
коли сердце порвано, –
то ли ворон – про меня,
то ли я про ворона.

* * *

Куда, куда ты, боже мой:
в дверях столкнешься сам с собой
и, отступив назад полшага,
вплываешь, белый, как бумага,
в себя с закушенной губой.

Не смерть, не зеркало, не сон –
ты сам себя со всех сторон
насквозь, насквозь, как воду, видишь
до дна и сладко ненавидишь
слепой души напрасный труд
и недосказанное слово,
и божье зеркало, и снова
больного сердца самосуд...

* * *

Эта птичка не моя.
У нее глаза пустые.
Острых крылышек края
на подскоке золотые.

У моей другой скачок –
сильный. Мягкий. Прочь от хлеба.
И сиреневый зрачок,
навсегда всосавший небо.

Рустам КАРАПЕТЬЯН

ТАМ, В ГЛУБИНЕ ГЛАЗ

ЗДЕСЬ У НАС ДАЛЕКО НЕ МАЛЬТА

Здесь у нас далеко не Мальта,
И сентябрь уже по асфальту
Щедро первую сыплет охру,
В губы, щеки целует мокро.
Со слезою мешаясь, влага
Позволяет прилюдно плакать
Обо всем, что скользнуло мимо,
Оставляя лишь только имя.
Чтоб шепталось оно над лужей,
Где над тучами листья кружат,
И с каким-то глядит укором
Опрокинутый навзничь город.

НЕ ОБИДА, НЕ БЕДА...

Не обида, не беда –
Что-то резкое
Завело нас в никуда
Перелесками.
Позапутало следы,
Где мы, что же мы?
Ни обиды, ни беды –
Просто брошены
Средь окурков и листвы
Прошлой осени,
Где потухшие костры
Под откосами.
Как же выбрались сюда,
И не помним мы.
Не обида, не беда –
Время темное.

Рустам КАРАПЕТЬЯН

А ПОКА НА НЕБЕ СКЛОКА...

А пока на небе склока,
Тучи клочьями рядят,
Проскользну, забыт и легок,
Меж секундами дождя.
Всё покину, не оставлю
Даже следа за собой,
Чтоб глотнуть хотя бы каплю
Тишины предгрозовой,
Где на миг застыло комом,
Но, секунд вбирая вес,
Прежде молнии и грома
Время ринется с небес.
И тогда уж – ад кромешный.
И, исхлестанный насквозь,
Возвращаюсь. Мокрый. Грешный.
Тишины укравший горсть.

* * *

Словно одетая в чистый свет,
В белый шифон, газ.
И до вопроса уже ответ
Там, в глубине глаз.
Я подступаю к тебе, несмел,
Переступив круг.
Столько сказать я тебе хотел,
И не могу вдруг.
Ты улыбнешься – скользнет звезда,
Вниз по щеке след.
Я и желание загадал:
Чтоб на двоих – Свет.

* * *

Дает не каждому Всевышний
Прожить, танцуя на краю,
Десятки, сотни разных жизней,
До капли исчерпав свою.
И этот жребий – не награда,
А крест, которому цена:
Блаженство рая, муки ада
И жизнь короткая одна.

Рустам КАРАПЕТЬЯН

* * *

Я на этой планете,
Надоевшей китам,
Не последний из йети,
И не первый Адам.
Суечусь насекомо,
Избегая воды.
Оттого ль мне знакомы
Все в округе мосты?

Ну а милая дама,
Коей нету родней,
Возлюбивши Адама
Вкупе с йети во мне,
Улыбается ясно,
Прикорнув на плече.
Ей с рожденья подвластны
Миллионы вещей.

Ей до смерти известны
И огонь и вода.
То скромна, как невеста,
То не знает стыда.
В мировом катаклизме
Опускаясь на дно,
Может быть, что спастись мне
Ей одною дано.

Но пока в передышке,
И в согласье со всем,
Спим, как серые мышки,
Что прокрались в Эдем.
И крылатый хранитель
Врат, ведущих в века,
Знает нашу обитель,
Но не гонит пока.

ОБ АВТОРЕ: Рустам КАРАПЕТЬЯН, Красноярск. Родился в 1972 г. в Красноярске. Член Союза русскоязычных писателей Армении и диаспоры. Публикации в журналах «День и ночь», "Огни Кузбасса", и др., а также во многих антологиях и сборниках. Руководитель Красноярского литературного объединения «Диалог».

Валерий ПАЙКОВ

В ЛАБИРИНТЕ

Эти белые ночи без сна.
Клейкий запах раскрывшихся почек.
Утомленного солнца блесна
и звезды заблудившейся прочерк.
Дали улиц в прозрачной слюде.
Слышен листьев батистовый шорох.
Чей-то Шуберт скользнул по воде –
и закрылась тяжелая штора.
Я опять и чужой, и ничей –
только память всё кружит и кружит
по проспектам июньских ночей,
в лабиринте серебряных кружев.

СТОЛИЧНЫЙ ГОРОД

Флегматично в течение дня
отнимающий деньги,
ты скользишь, не касаясь меня –
моего восхожденья.

Странный город, сквозь тысячи лет
на виденье похожий,
как отрытый случайно скелет,
но обтянутый кожей.

Город-кость, что застряла вчера
в филистимлянском горле.
Продолжается чья-то игра –
обнажаются корни.

Всё блефуют твои игроки,
чтоб удобней усесться.
Ты во мне, всем словам вопреки,
безоаром – у сердца.

Валерий ПАЙКОВ

ПОЧТИ ПО ГРИНУ

Позабудется ливней грохот,
станет ветер нежней пера,
и начнут выводить из гротов
лодки хриплые шкипера.

И они лебединой стаей,
обогнув волнорез седой,
поплывут, и вдали растают,
почему-то не взяв с собой.

Видно, жить мне вовек на суше
среди старых, поникших лип,
потому что кому-то слушать
надо ливней звериный всхлип

и свечой из сырой таверны
всё сигналить средь бурь и гроз...
Для того я душой, наверно,
в этот камень до смерти врос.

НА ДАЧЕ

Всё принимаю – и приду
к тебе, где небо трудно дышит,
где листья, падая на крыши,
под ветром пляшут, как в бреду.
Где пожелтевшая трава
молчит печально у ступеней,
и облаков зеленых тени
в коленях прячутся едва.
Где солнце падает на дно,
тоскуя красными очами,
и вечер старыми свечами
мигает, затворив окно.
Где печка, словно третий Рим,
пространство наполняет дымом.
Где все уже неповторимо...
И где я сам неповторим.

Валерий ПАЙКОВ

ПОКАЗАЛОСЬ

Отчего так желтеют ладони? –
Полистать, почитать Гиппократ.
Дух наш в омуте Вечности тонет,
чтоб уже не вернуться обратно.

Что-то злое легко, постепенно,
осторожно, бесшумно, незримо
проникает в уставшие вены,
нас лишая упрямства... и грима.

Что-то главное нас покидает,
словно давшую трещину лодку.
Что-то медленно, исподволь тает.
А узнаешь – и стыдно, неловко.

Все становится блеклым и желтым,
как застывшая, мертвая завязь.
И подумаешь: может, не шел ты,
может, вся эта жизнь показалась.

ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ

Каждый день всё одно и то же –
не уменьшить и не умножить:
бесконечная лента пляжа
за окном, и паучья пряжа
по углам, и опять шабад –
лишь вчера зажигали свечи,
в синагогах шумело вече,
лишь вчера целый день постились.
О, на что мы с тобой польстились,
чудаки, десять лет назад.

Шесть утра, а луна в зените.
Если вспомните, позвоните –
не иссяк, может, ваш источник
слов любви, или многоточий –
всё равно ведь итог один –
как бы ни было, не вернемся.

Валерий ПАЙКОВ

И поныне нас ветер носит,
словно ветки, с места на место,
и в каком костре, неизвестно,
мы, в конце концов, догорим.

В ДОМЕ АННЫ ФРАНК

Просто пустые комнаты –
прошлого страха весть.
Разных краев паломники,
что мы всё ищем здесь?
Может, твой голос, Аннушка,
тихий, как Божий суд?
Снова часы на ратуше
к мессе народ зовут.
Скромно идут католики
за медом любви – к устам.
Не те ли это, которые
сдали тебя властям?
Что выяснять с потомками –
след памяти изгладим...
А мы из комнаты в комнату:
на фото, где ты, глядим,
на людей за колючей проволокой –
под током в тысячи ватт,
на небо твое безбровое,
на мир, что привычно свят...

Чтоб не казаться лишними
себе, когда дни горьки,
поныне пишем и пишем мы
печальные дневники.

Елена ДРОЗДОВА

УРБАНИСТИЧЕСКОЕ

Нью-Йорку

Спит пророк в изголовии мифа,
В основании млечного сна,
Словно начатый морем эпитаф,
Обрастали моллюсками рифы,
Расправляли хребет острова.

Оглашается даль серафимом
На восстанье от вещеого сна,
Ангел трубы воздвигнул над миром,
Заводские высокие дымы
Написали таинственный знак.

А внизу, на полотнах забытых
Просыпались всю ночь поезда
Громыхали железными стыками,
Говорили бессмысленно рифмами,
На паденье от века великое
Возводился над рифом кристалл.

СТИХИ БРОДСКОМУ

Певец, изгнанник, житель зон,
Твой стих литой
Меня, счастливую меж жен,
Творит вдовой.

Не согласиться мне, поэт,
С тобой ни в чем,
Но без тебя сей белый свет
И пуст, и темн.

Твоя поэзия, как яд
В моем сознании,
Как доказательство небытия
Существованья,

Елена ДРОЗДОВА

Как утверждение, что Бог –
Безликий Хронос,
Что маятник его часов
Вращает глобус,

Что мертвое его "Тик-так" –
Суть бесконечность...
Я говорю тебе: – Не так!
Живая вечность!

Течение времени, любое
Вообще движенье
Осознается лишь покоя
По отношению.

Покой есть форма бытия,
И сердцевина,
Осуществленье жития,
Его причина,

И не имеет жала смерть!
Теперь ты знаешь?
Я спрашиваю! Ответь!
Не отвечаешь...

Июль 2000

* * *

Дождь прошел и проходил ветер,
Шустрый, как вор, пробовал, заперты ль двери,

Мне бы впустить, не боясь, ветер с порога,
Пусть бы вошел, я б на него бросила слово.

Вместо того притаилась, сижу тихо на стуле,
Он постоял-постоял и полетел с шумом,

Он полетел поискать дома другого,
Холодно мне, в горле першит слово.

Февраль 2002

Виталий АМУРСКИЙ

* * *

Предотъездная суета, с дорожной снедью лоток,
У вагона безлика проводница...
Отправляясь в прожитое, не забудь носовой платок, –
Говорил себе, – пригодится.

Мне хотелось его увидеть, да,
Чтобы память живой водой окропило,
Хотя знал – утекла та вода
И пути назад заросли крапивой.

Только душу крапива не жжет,
Остальное – к чертям собачьим!
У меня с моим прошлым не счёты, но счёт
Был единственный, что давно оплачен.

Ни листу письма, ни блокноту – пером,
Только шепотом уходящим теням: *не вините меня!*
И покачивался за окном перрон,
Как пластинка виниловая...

* * *

Будто тайные помыслы,
Словарем не соря,
Строк чернильные полосы
Прочертила заря.

Веки малость припухшие
Сном под утро свело,
А октябрь, как при Пушкине,
До и после него.

Виталий АМУРСКИЙ

БЛИКИ

Владимиру Сычеву

Дорога / жизнь. Изгибы и углы,
И углы глаз, мерцающих картинно,
Лишь тени, что под ними пролегли
Отметили бессрочность карантина –
Того, где пребывали мы с тобой
(Мысль эта – перед снимками – случайна).
Пыль прошлых лет. А где ж теперь та боль,
Что обострялась лунными ночами?
Ответит кто? Но нужен ли ответ,
Когда давно остались за плечами
Та девушка с веслом и тот атлет,
Что нас в имперских здравницах встречали.

Минувшее, ты – сгусток странных чувств
Не знающего разуму предела:
Вот улица, где я куда-то мчусь,
А вот мечусь в жару, не чуя тела.
А вот какой-то загородный дом,
Где за окном поскрипывают ели,
И Пушкина брокгаузовский том
Раскрыт на встрече Моцарта с Сальери.
Дрожит души вольфрамовая нить,
Не ослепляя – только вполнакала,
И мальчик хочет вечность пригубить
Из ядом оскорбленного бокала.

Вещей и лиц расплывчатая смесь,
Условностей смещенные значенья,
Как тяжести, теряющие вес
С вопросом: нет, не – кто я? А – зачем я?
Зачем словарь мой прошлое прожгло
С ненужными уже давно вещами,
Охоту не любя, охотничьим рожком
Зачем я так охотно восхищаюсь?
Зачем я появился где-то там,
И тут за мной, подчас невыносимы,
Бредут вдали, как тени, по пятам
Отечества озябшие осины?

Виталий АМУРСКИЙ

* * *

С теннисных кортов сухие удары мячей
И шпалеры цветов Люксембургского парка
И как в детстве
Нездешнем
В чернилах счастливые пальцы
А значит – не умерли
Боги

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

С дождем и снегом у порога,
Ноябрь плетется тенью нишей,
А ты дыхания второго
В себе, как птица пищу, ищешь.

Оно тебе необходимо,
Как ночью женские ладони,
Когда такая холодина
За окнами и даже в доме.

Но ни дыханья, ни ладоней –
Мир чужд, как лермонтовский Терек,
Где не помочь тому, кто тонет,
И круг спасательный утерян.

* * *

Лёше Даену, на прощание

Ветрового стекла Фудзиямы
Все улитки дождинок
Вверх ползущие тихо
Сегодня
Твои

22 ноября 2010

Виталий АМУРСКИЙ

ГАММЫ ПРИ МИНУСЕ ПО ЦЕЛЬСИУ

Еще одна зима и дров горящих треск,
И мы себе вопросы задаем:
Что снега твоего мне тусклый блеск?
Что в имени... нет, – в инее тебе моем?

Немой зимой
Мой
Иней
Иной.

ЗИМНИЕ ГЛАГОЛЫ

Снежит, морозит, холодит...
Люблю вас, зимние глаголы!
Пускай при вас деревья голы,
Мне вами память молодит.

НЕДЕЛИМОЕ

Два фрагмента из поэмы-коллажа

Кронштадтская плясовая

Яблочко на льду кронштадском,
Эх!
Ты куда, товарищ в штатском,
Нынче смена вех!

По-балтийски, по-матроски,
Эх!
Не вводи, товарищ Троцкий,
Душу в грех!

Виталий АМУРСКИЙ

И тебе ли флотской честью
Нас пенять,
Царской пробы Тухачевский,
Твою мать!

Морячка бушлата лацкан
От беды не сбережет,
Пулей-дурою обласкан
Рухнет он на бережок.

Кто там левый или правый –
Тот замерз, и тот продрог.
Над Кронштадтом звезды – раны,
Звезды – яблоки, браток!

1939-й

«Дни Турбиных» и новый «Маскарад»...
Поют о счастье города и села,
Но снег уже набросил маскхалат
На финский лес, на море и озера.

Умов стабильность и стабильность цен
Кремлевский горец цепким взглядом сверит.
С Булгаковым – вопрос, но на прицел
Взят Мейерхольд и... Маннергейма берег.

Скользнет над картой польскою рукав,
Короче станет август на неделю,
И по-привычке выйдет черт, лукав,
Как дым из трубки цифрой тридцать девять.

Надежда БАНЧИК

СИЛУЭТЫ, ОБРАМЛЕННЫЕ ОБЩЕЙ СУДЬБОЙ



Виталий Амурский. Тень маятника и другие тени: Свидетельства к истории русской жизни конца XX-начала XXI века. – *Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. – 616 с.*

Сборник интервью, бесед, очерков Виталия Амурского, посвященных писателям позднесоветской и постсоветской России, – панорама литературных силуэтов. Виталий Амурский родился в Москве в 1944, печататься начал в 1960-е. Эмигрировав в 1973 во Францию, защитил диплом университета Сорбонны. Книга возникла, в значительной мере, как результат работы ее автора, жителя Парижа, в русской редакции Международного французского радио с 1984-го по 2010-й год, где он вел еженедельную программу «Литературный перекресток», и в русской эмигрантской периодике. Из, казалось бы, случайной последовательности бесед и встреч (они проводились в моменты приезда русских писателей в Париж) сложилась целостная книга. Летопись? Коллективные размышления над российскими проблемами описываемого времени и вечными проблемами бытия человеческого? Галерея личностей? – Всё вместе.

Уже в самом оглавлении явлена панорама (вид сверху) галереи поэтов и писателей, составивших в совокупности культурное явление мирового уровня – русскую литературу второй половины XX века. Возвышаются вехи-имена: Иосиф Бродский, Андрей Битов, Евгений Рейн, Лев Лосев, Андрей Вознесенский, Юрий Рытхэу, Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Веллер, Анатолий Приставкин, Фридрих Горенштейн, Владимир Максимов, Наталья Горбаневская... Вокруг вех – литературные критики, литературоведы, эссеисты: Шарль Добжинский, Виктор Лупан, Бенгт Янгфельдт, Жорж Нива, Манук Жажоян... Нет четких границ

между «метрополией» и «эмиграцией», расплывчаты грани между национальным происхождением и культурным багажом, ибо всех объединяет отечество писателя – русский язык и судьба русской литературы, производная судьбы России как культурного и социального явления, не совпадающего с ее границами, не раз менявшимися в течение истории. Между именами-вехами сверху явственно видится Дорога – здесь она ведет от Вехи-камертона – Бродского («Тень маятника») – через разнообразие вех-личностей, вех-писательских явлений, стилей, мировоззрений («Каждый пишет, как он слышит») – вниз, в ад советско-российских страданий, чудовищных социально-культурных экспериментов («Оглядываясь на сфинкса» и «Чаша терпения») и – обратно вверх – обогащенным опытом писательского преодоления этих бед («Чаша терпения» – «Летучий профиль Пушкина»). Каждая беседа предваряется краткой характеристикой собеседника – не сухой справкой, а нарисованным несколькими главными «штрихами» портретом, представляющим читателю особенности характера и главные вехи жизненного пути писателя, с которым затем проходит беседа.

Иосиф Бродский обозначен камертоном литературного явления всей второй половины века. Вольно или невольно, с его творчеством сверялись и с его личностью соприкасались все крупные писатели. Его имя открывает скорбный маршрут, пройденный писательскими судьбами через российскую Голгофу. Весь первый раздел посвящен Бродскому, его личности, творчеству и культурному следу. Вместе с тем, в нем и через призму его судьбы завязываются основные узлы страданий, проблем, идей, стилей обозначенной эпохи. Заключение и преодоление положения жертвы – выход в целостный и безграничный мир (в физическом смысле – эмиграция на Запад; в философско-творческом – встреча советского опыта с мировым, в частности, западным) – трудное строительство культурных мостов для встречи российского с мировым... Всё это «завязано» в творчестве Бродского и показано Амурским через призму противоречивой личности великого поэта. На творческом уровне становится понятным, в частности, по жизненным меркам, неблагоприятное отношение к людям, поддержавшим его на приснопамятном судилище и, по сути, подготовившим его мировую славу: *«Я не жертва! Я в Питере жил точно так же, как в Нью-Йорке, я так же писал»*, – приводит Амурский слова поэта, сказанные в беседе с литературным критиком Виктором Лупаном (с. 52). А слова Бродского в беседе с автором книги можно считать ключом к пониманию особенностей русского литературного процесса означенной эпохи, которую Бродский определяет как множественность образцов-идеалов человеческого бытия.

«В России произошла довольно фантастическая вещь в XX веке: русская литература дала народу... (многоточие в оригинале – Н.Б.) ну, примерно десять равновеликих фигур, выбрать из которых одну-единственную совершенно невозможно. То есть все эти десять, скажем – шесть, скажем – четыре – являются, на мой взгляд, метафорами индивидуального пути человечества в этом мире.

Что такое вообще поэт в жизни общества, где авторитет Церкви, государства, философии и т.д. чрезвычайно низок, если вообще существует? Если поэзия и не играет роль Церкви, то поэт – крупный поэт – как бы совмещает или замещает в обществе святого, в некотором роде. То есть он – некий духовно-культурный, какой угодно, даже, возможно, в социальном смысле – образец.

В России возникла ситуация, когда вам даны четыре, пять, шесть, десять возможных идиом существования. На этих высотах иерархии не существует» (с. 26). Спорно, правда, исключительно ли это русское явление; мне представляется, что ни в одной литературе, и прежде всего западной, нет «одной-единственной» фигуры и тем более «идиомы существования»; более того, само понятие плюралистического общества пришло в Россию с Запада в противовес обществу тоталитарному, в котором-то как раз и насаждалась одна единственно верная «идиома существования». Более того, Бродский не называет эти идиомы, оставляя читателю (точнее, слушающему радиобеседы с Амурским, датированной «октябрь 1988 – ноябрь 1989»), т.е. время бурных горбачевских перемен) догадываться из подтекста, что речь идет о системе не только литературно-эстетических (беседа разворачивается вокруг поэта Серебряного века М. Кузмина и отношения Бродского к нему), но и, по-видимому, морально-этических ценностей, которая в российское общество внедрялась в значительной мере через литературу. Поэтому бесспорной представляется высказанная здесь мысль Бродского о том, что писатель в России до некоторой степени «замещает святого», т.е. литература задает моральные идеалы, и они естественным образом являются множественными – настолько, насколько уникальны личности писателей и неповторимо их творчество, – как ни старался тоталитаризм свести общественные идеалы к одной-единственной системе. И в этом смысле крупная советская литература пассивно противостояла тоталитаризму и воспитывала общество в ценностях, весьма близких к общечеловеческим.

Эти множественные идеалы или, по Бродскому, идиомы существования, развиты, хоть прямо не называются, в последующих главах книги-сборника. Противостояние тоталитарному подавлению личности – и самоценность свободы, в частности, литературной: представленные в книге писатели

составляют многообразную галерею характеров, почерков, тематики и стилей (целый раздел озаглавлен оруджавским «Каждый пишет, как он слышит», но этим же афоризмом можно было бы озаглавить всю книгу)...

Чуткость к униженным и оскорбленным – в противовес шовинистической гордыне центральной власти – еще одна непреходящая для крупных русских писателей, вошедших в книгу, ценность. В этом плане интересны две беседы с Анатолием Приставкиным, автором повести о преступлении против чеченского народа во времена Сталина («Ночевала тучка золотая...») – о настоящем времени («Чеченская боль – боль русская», январь 1994, с. 297-310), размышления о противостоянии интеллигенции советскому антисемитизму – беседа с Владимиром. Уфляндом, который вспоминает вечер в ленинградском Доме литераторов, проходивший 30 января 1968 года: *«выступали Иосиф Бродский, Яша Гордин, Валера Попов, Татьяна Галушко, Глеб Горбовский, Сергей Довлатов [...] Всё это обернулось печально. Заместитель директора Дома литераторов получил наказание по партийной линии, был снят с работы. Всех, кто участвовал в вечере, обвинили в 'сионистском шабаше'. Я понял – никаких шансов войти в контакт с официальной литературой у меня не может быть»* (с. 78; беседа Уфлянда с Амурским происходила в июне 1989 года). Тема-идея ответственности писателя за межнациональные отношения – в беседе с Андреем Битовым о его романе «Ожидание обезьян»: *«Я – герой – еду в компании биологов, которые занимаются обезьянами. Наш путь – к месту, где они живут на воле [...] В нашей компании есть люди разных национальностей: армянин, грузин, абхазы, евреи. Какое-то время они заняты гостем, говорят про обезьян, но затем переходят на тему важных для себя дел. В конце времен застоя это могло показаться еще юмористическим – о национальных традициях, кто на кого повлиял, кто кого захватил, кто кого подавил. Так что в этой дискуссии мною была увидена модель, которая должна была заработать в будущем. Но когда она стала работать – это иное! Случились события в Армении, затем в Грузии. Оказалось, что сейчас целый ряд вещей так легко не проговоришь»* (с. 125; беседа датируется апрелем 1989). Многонациональность русской литературы выражена и в подборе писателей: кроме уже ставших привычными крупнейших писателей, носящих еврейские имена (в том числе Бродский, хотя он принял католичество), – Геннадий Айги, Юрий Рытхэу, Генрих Сапгир, представляющие народы русского Севера; Наталия Горбаневская, внесшая в литературу «польскую кровь», и другие культуры.

Портреты в «галерее», особенно в первом разделе, расположены как бы по концентрическим кругам: Бродский, вокруг него – так

называемый «питерский круг» (Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Андрей Битов), далее – «московский круг» (Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Генрих Сапгир и другие), плавно переходящий в круг, охватывающий российскую глубинку и Кавказ и открывающийся в бесконечный мир. Переключкой метрополии и заграницы – беседы с французскими русскими и русскими французами, с другими заграничными гостями. Всё в совокупности и составляет многоголосие, многообразие в рамках одного языка – русского, не только лингвистически, но и культурно-мировоззренчески. Судьба России в XX веке (не только во второй половине, но в роковом столетии) – контрапункт, хотя на первом плане – трагедии именно второй половины века: гонения на диссидентов, психушки, брежневские лагеря, изгнанническая эмиграция... Но они пережиты и представлены через призму ГУЛАГа, Солженицына, российской Голгофы. И в чисто безвом плане, и в бытийно-философском диссиденты второй половины века – родом из 1937-го.

Характерна в этом смысле беседа с дочерью Александра Галича, Аленой Архангельской:

«...настороженность [Галича к советскому режиму] росла по мере того, как он узнавал о трагических судьбах Мандельштама, Хармса, Цветаевой и других. Вместе с этим он, очевидно, накапливал и собственный опыт, ведущий к разрыву с системой лжи и насилия. Тут, несомненно, сыграл роль арест в 1937 году его двоюродного брата Виктора, который пропал затем более чем на двадцать лет. Боль за брата, за то, что творится в стране, была осознанной. Затем он еще лучше понял многое, когда познакомился с Варламом Шаламовым, Борисом Чичибабиным» (с. 354).

У писателей-эмигрантов российский трагический опыт нередко увиден извне российских границ. Это, по мнению многих свидетелей, – обогащает российский опыт западным. Вот, к примеру, беседа с Игорем Шестковым, русским писателем, живущим в Берлине: *«О России трудно писать, находясь в ее внутренностях – там дуют ветры смерти. Там – гулаги, голодоморы, тройки, севера, доносчики, хулиганы... А теперь еще и бандиты, разборки, откаты... Там – портреты на улицах. Там – лишь бы не задохнуться в имперской вони [...] Русский писатель, живущий в России, – это или мученик, или "зоологический патриот". Или деревенский пьяница. Русский писатель за границей может спокойно думать и вспоминать. Ему не обязательно примыкать к стае, ластиться к властителям или становиться изгоем. Он сам по себе. У него есть возможность привнести в свой образный строй западную ясность и зрелость, обрести стереоскопическое зрение» (с. 506).*

Завершается всё «путешествие» Виталия Амурского возвращением к вечному камертону русской литературы –

«летучему профилю Пушкина», как озаглавлен последний раздел книги. Отголоски Пушкина, его наследие в русской поэзии и взгляд на Пушкина из Парижа как бы подводят итог русской литературы двух ушедших столетий и проводят прямую линию от Пушкина – к Бродскому, Солженицыну и другим современникам. Эта линия воплощена в беседе с известным литературоведом Ефимом Эткиндом. *«В его биографии были и война, и преподавательская работа, и диссидентство, заключавшееся в моральной поддержке Иосифа Бродского, Александра Солженицына, в выступлениях с осуждением преследований инакомыслия советскими властями. Как следствие – исключение из Союза писателей, лишение научных званий, вынужденная эмиграция на Запад»* (с.567). Беседа посвящена Пушкину и французской культуре. Эта же тема продолжается в беседе с Дмитрием Сеземаном и далее – с Андре Марковичем, переводчиками Пушкина на французский.

В этом разделе подводятся к логическому окончанию основные сюжетные линии, завязанные в первых разделах: судьба русской литературы и ее выход в мир – в данном случае, на примере Франции. Перевод в литературном и культурном смысле, восприятие Пушкина французской культурой – и нить от Пушкина к русской литературе XX века – подводят итог той самой дороге, через ГУЛАГ к Небесам, к познанию высших, непреходящих ценностей бытия.

Эту мысль, высказанную Сеземаном, можно считать ключом (или, по меньшей мере, одним из главных ключей – помним про множественность образцов!) ко всей русской литературе, в ее наивысших проявлениях: *«Не сразу, а со временем, когда мы Пушкина начинаем знать не только по хрестоматиям, начинаем понимать, что мир, его окружающий, с комплексом отношений, чувств, – был для него сырьем для выражения чего-то высшего, внесения гармонии в хаос, как говорил Александр Блок»* (с.577).

Закончился мандельштамовский «век-волкодав», ознаменовавшийся невиданным в истории провальным экспериментом – попыткой построить коммунистическое общество путем невероятных масштабов насилия над сотнями миллионов душ и судеб. Россия, с ее высочайшими взлетами в литературе и культуре, играла главную роль... Но эти же взлеты творческих умов помогли российскому народу вырваться из тоталитаризма. К сожалению, то, что пришло на смену, тоже чревато новым дантовским кругом ада. Более того, пока не видно на российском горизонте имен, которые можно было бы поставить вровень с вершинами прошлого столетия. Но вся история русской литературы дает надежду на писательский гений нового поколения.

Надежда БАНЧИК, Сан-Хосе

Надежда БАНЧИК

СТАТУС БЕЖЕНЦА

Статус беженца – вечный.
Возраст – тысячи лет.
Путь сквозь мир бесконечный.
Нам – нигде места нет.

Перелетные птицы,
Всё глядим с высоты
На чужие границы,
На чужие мосты,

А под нами – планета
Разноцветным ковром...
Пятна красные – где-то
То ль война, то ль погром,

То ль чужая победа,
То ль чужая беда...
Нас попутные ветры
Унесут от суда,

Что на Землю взирать-то –
В небе наше гнездо!
...Выстрел грянул внезапно.
Снизу, из-за кустов.

1987

ЧЕЧЕНЦАМ

БЕЖЕНКЕ

Не побеждена в бою неравном,
Только дом разбит, и жертв не счесть...
Лишена судьбы, свободы, правды,
права на достоинство и честь.

Муж и дети – где-то в черных ямах,
Ты – в засохших комьях грязной лжи,
Всё бредешь, поглубже гордость спрятав,
из последних сил спасая жизнь.

Надежда БАНЧИК

Но везде твои старанья лишни,
Прокаженная! Последний стон
Твой услышит разве что Всевышний,
Только не поможет даже он...

О сестра-чеченка, дай мне руку!
Я надену желтую звезду,
сквозь твою безвыходную муку
Я с тобою вместе побреду!

Мы присядем на пустом вокзале.
Ночью, когда всех укроет сном,
ты поведаешь мне о Джохаре,
О семье, о городе родном,

Превращенном в пепел и в преданья...
Но предательски придет рассвет,
Снова бесконечные скитанья,
Нам нигде с тобою места нет...

ТЕМ, КТО ЕЩЕ ВЫЖИВЕТ

Не соблазняйтесь обманчивой легкостью мщенья,
Даже когда вас ведут в беспросветную тьму!
Каждый ответит пред Богом в момент всепрощенья,
Каждый найдет оправданье греху своему.

Тяготы жизни затянут коростой вам раны,
Братские ямы и память асфальтом зальют,
Желтым пунктиром – и горе, и радость на равных –
Тысячи окон сигнал мирной жизни пошлют,

Утро займется, и солнце зальет новый город
Розовым светом мечты, неизбежной, как кровь...
Эй, под асфальтом! Кричите! Услышат вас горы
И разнесут по мирам безымянную боль...

Лариса ВОЛОДИМЕРОВА

* * *

воланы скрюченной реки
от раскулаченной державы
дрожали: снегу вопреки,
сюда, на запад, набежали,
как слезы первые любви,
так слезы поздние разлуки –
зови по имени, лови,
река сама дается в руки.

* * *

шаровая судьба – зигзаг
неудачи, возьму за так.
и желтую наледь собачью –
впридачу,
и покурить натошак,

и белого солнца пар
заиндевелый, скрип
наста, и из-под нар
сорванный крик охрип.

полозья врачуют снег,
смеху-то доупаду!
разведи меня с родиной, – с ней
на том свете встречаться надо.

* * *

#

в «матросской тишине»
живут мои друзья,
не знают обо мне –
им видеться нельзя

ни с солнцем, ни с луной,
ни с мамой, ни с женой, –
и дождик заводной
обходит стороной.

Лариса ВОЛОДИМЕРОВА

не задевает их
ни суд, ни перемат:
в кругу друзей моих
никто не виноват.

они в глаза глядят,
не дрогнув, десять лет –
не много. отсидят,
но злей не станут, нет!

и, бледность отряхнув,
шагнут они в проем,
чтоб задержаться тут,
где были мы вдвоем.

на воле столбовой
порукой круговой –
ни мертвый, ни живой,
не выйдешь по кривой.

сойдет зима на нет,
растает мерзлота –
то дым от сигарет
струится изо рта,

и позади тюрьма,
где б не сойти с ума,
где б не забыть о них –
оставшихся, двоих.

* * *

песок струится и щекочет,
шуршит и знать меня не хочет,
и только ночью, отсырев,
он прекращает бег и рев.

цветок, растоптанный пьянчужкой
в любовном танце перекрестном –
как пеной вынесшю кружку,
разглядывать неинтересно.

Лариса ВОЛОДИМЕРОВА

прибоем выброшенный остов –
пичужку, чушку, кочерыжку,
моих смятений бедный остров
и девочку вдали, вприпрыжку.

* * *

саше

за два года армейских
впервые
я тебя вижу
сквозь морозный рисунок
стекла

ветрового:

вот ты снова облизываешь искусанные свои вишни,
но всё беззвучно, как в кино у него.
вот ты в москву, москву, опережая сестер запоздалых:
никого не осталось, не озирайся, все вышли
на своей остановке, еще в твоём детстве, где вишни
я для тебя на соседской даче срывала.

но я прильну к метели, состав разгоня
вместе с полночью и разлукой – она уже бесконечна, –
зато наша неявка вечна, когда ни дня я
не была без тебя, мой ребенок, последний встречный.

* * *

да и нет никаких языков, кроме птичьего –
я точу его клювом, долблю, раскавычивая.

* * *

встретиться в середине,
на пересечение дня
в той точке расцвета,
где меня уже нету
в помине,
где нет меня.
– где ты?!

Лариса ВОЛОДИМЕРОВА

* * *

догоняй меня, алмаз,
льющийся из теплых глаз!

где ты спрятал землянику
в этой хвое расписной?
не к земле же я приникну!

я привыкну под блесной.
потянусь через волну –
а вильнула в камыши,
не оставь меня одну.
затаился. не дыши.

опиши мою вину,
заточив карандаши.

* * *

дай бог тебя встречать лицом к лицу,
успев и подготовившись к концу,
открыв глаза и голос заглушая,
щебечущий, что я уже большая, –

душа, я не заметила твоих
следов песчаных, слизанных волной,
когда вошла ты гулко в этот стих
и поменялась обликом со мной.

* * *

во мне застыли реки и поля,
под снегом разоренная земля,
а в жар бросало – перед остываньем.

не сбив дыханья, не напишешь птиц,
слетающих с простуженных страниц;
не задержав руки, не бросишь камень

из-под ресниц, стекающих весной,
где с битой скачет девочка за мной,
по клеткам меловым, и босоножку
рисует ангел мой, облокотясь
на облако изменчивое, – грязь
он кисточкой снимает понемножку.

Лариса ВОЛОДИМЕРОВА

* * *

стесняться птицы обнаженной...
не обнажась, но нежась; в жены
себя не проча никому –

пророча музыку ручную,
мурлыча песенку мучную,
речную вязкую му-му.

всё против шерсти и рябины –
рябило небо там, на родине,
где я себя саму забыла,
пока звала и хороводила, –

но откликалось отражение –
без выражения, с акцентом.
сплошь, как таблица умножения,
зазубрено – в крови пинцетом.

* * *

если можно стихом управлять,
то – пространством и временем.

твоим замершим именем,
вмерзшим по рукоять
в ять

и значки полевые
ромашек: они – пулевые, –
их вместе с зимою объять.

* * *

я лежала бы в хевроне золотом,
я б над мертвым морем серебрилась
всей душой, плескалась в облаках
у тебя в раскинутых руках.

я бы в глину красную цветы
распускала, чтоб склонялся ты
у моей решетки дождевой

с талой, невской, призрачной водой.

Владимир ХАНАН

НОЧАМИ ПАМЯТЬ

Обычный дом среди домов обычных.
Кирпич. Четыре этажа. На двух –
На третьем и втором – балконы.
Один из них в квартире на втором,
Где жил мой старый друг. Теперь он умер.
Балкон традиционно пуст – ни кадок
С соленьями, ни хлама, как на прочих.
И только свет – едва ль не каждой ночью.
Лет тридцать, ежели не больше,
Сюда я поднимался, неизменно
Встречаемый остротами – порой
Не слишком тонкой, иногда забавной.
Кто там сейчас живет – не знаю.
Друг мой умер,
И я не захожу, лишь иногда
Моя печалью переполненная память
Сюда, к безмолвному подъезду
Приходит по ночам и смотрит на знакомый
Балкон и на окно.
И света не увидев, плачет.

Владимир ХАНАН

* * *

В том месте снов и тишины,
Где я болтался горстью четок
В тени костела, и в холодный
Любил смотреться монастырь,
И католическим старухам
Дарил копейки от души –
Грибами пахло и чужбиной.
Но приезжали в гости к нам
Высокие и свадебные гости,
И я летел за ними на коленях
По скользкому от близкой крови полу,
И непонятных звуков языка
Ловил стихи и радовался жизни.

Как я был счастлив в этом октябре! –
В прозрачном холоде над Неманом серьезным,
И у хозяйки доброй на дворе,
Где яблоки росли, и ночью звездной
Кричал петух, и жук звучал в коре.
Где звонкие я складывал дрова
Для пасти однотрубного органа
С окаменевшей глиною на швах,
Где у соседки древнее сопрано
Светлело, как лучина в головах.

Где я два дня Вергилия читал,
И пас быков, и птичье слушал пенье,
И узнавал счастливое уменье
Лесную тишину читать с листа.
Где я забыл, что значит пустота.
Где я обрел и вынянчил терпенье
Страдать и петь с тростинкой у губы,
Которой вкус труда и смерти равно впору,
Где я слова по-новому чертил,
А монастырь густел, венчая гору,
И серп луны меж избами всходил.

Владимир ХАНАН

* * *

Марине

У брони торжественного танка,
На краю болотных степи
Я тебя приветствую, гражданка,
Итальянка, знать, петербуржанка –
До другого слова дотерпи.
Мне и то ведь много, как в печурке
Сонно бормотали по ночам
Уголья. Уж вы полешки-чурки!
Лень вставать... А то сыграем в жмурки,
И уедем в Углич невзначай.
Как, бывало, на санях под гору
Вылетал на деревянный мост!
То-то было смеху, разговору,
Колокольню-галочьего ору,
Звону колокольного – до звезд!
За мои дошкольные сугробы,
Китайка по разрезу глаз,
Поедим крутой домашней сдобы,
Выпьем водки и добавим, чтобы
Это было не в последний раз.
Подберем по возрасту подарки,
Колокольчик купим, волчий клык...
У иконы выставим огарки.
Это здесь когда-то по запарке
Колоколу вырвали язык.
Сколько я забыл за эти годы
Суеты в подручных у молвы:
Запах трав, волну с налетом соды,
Но зачем-то помню, как подводы
Провожали тело до Москвы.
Что мы знаем о судьбе угодной?
О любви ? – колодезную жуть...
Голос крови, нежностью голодной...
Будь он проклят, этот рай болотный!
Мы одни. Нас двое. Как-нибудь...

Виктор ГОЛКОВ

* * *

Мы живем в муравьиной общине,
каждый каждому – брат или сын.
И царит в молчаливой гордыне
надо всеми закон-властелин.

Роем мы подземелья и ходы,
а над нами не светят огни,
и ужасное бремя свободы
безысходности нашей сродни.

Но люблю я ненужное дело,
что вершится столетья подряд,
и несу свое грешное тело,
а огни надо мной не горят.

* * *

Как будто заперты в чулан,
и матово белеют лица.
Мы – беженцы из разных стран,
нам не дано договориться.

Из пеплом затканых эпох
сошлись во имя и во слово.
Спешу, народ-чертополох,
взойти из мертвого былого.

Лишь боль поди утихомирь,
в душе растущую некстати,
как заключенная в квадрате
нули глотающая ширь.

Виктор ГОЛКОВ

* * *

Палестинцы у костра
в клочьях сизого тумана.
Ни цыганского шатра,
ни залетного цыгана,

ни молдавской толкотни
в Кишиневе возле рынка.
У костра стоят они –
на одном из них косынка.

Вот такой судьбы каприз,
так на свете происходит:
вместо клена кипарис,
а вокруг убийца ходит.

Только пекло много лет
вместо льда, что вьелся в глину,
только выветрился след
тех, кто звал нас в Палестину.

Словно в пошленьком кино –
бедняки и кровососы,
и в глазах моих темно
от арабского вопроса.
Исподволь на них взгляну:
вот комиссия, создатель!
Чувствуешь свою вину?
нет, не чувствую, приятель.

Знаю, я тебе не люб,
ненавистен до зарезу.
Но ведь я не душегуб
и в автобус твой не лезу.

Виктор ГОЛКОВ

* * *

За полночь проснешься ты
в темной комнате однажды,
но не утоляет жажды
жаркий воздух темноты.

Это старость все вокруг
выжгла напрочь огнеметом.
И в ответ на сердца стук
бормотать не стоит: кто там?

Словно было не с тобой,
всплеск любовного томленья
и, размеченный судьбой,
жесткий вывих поколенья.

А финал уже вблизи –
здесь, на расстояние вдоха.
В дневнике твоём, эпоха,
черный росчерк жалюзи.

* * *

Хоть зарплата регулярно приходит в банк,
Не становится на душе легко.
Скоро мы услышим, как стреляет танк:
Это недалеко.

И лёжа в кровати, горячей как печь,
Взором хрипящий телевизор долбя,
Как свою принимаешь чужую речь,
Льющуюся в тебя.

Виктор ГОЛКОВ

* * *

Я слежу за стрелками будильника:
Бесконечна эта беготня.
Каждый час, как ненависть насильника,
Выжигает время из меня,

Что пускай и до изжоги скверное,
Но в конце захочешь удержать.
А оно едва ли безразмерное,
Оттого судьбы не избежать.

Оттого-то тяжелее дышится,
Даже если выйти ночью в сад.
И на пальме ветка не колышется
Как на липе сорок лет назад.

* * *

Тени сходятся косые
там, где черная кровать.
За окном кусты босые
перестали волхвовать.

Эта пальма, как сиротка,
на земле взошла святой,
и вливается мне в глотку
кипарисовый настой.

В форму новую отлился,
к древней истине прильни,
чтоб в песке зашевелился
прах таинственной родни.

Леонид КОЛГАНОВ

ЛЬДЯНОЙ СЛЕД

Ладе Пузыревской

От Солима* до Новосибирска,
И – от Иордана до Оби,
Я готов, как волк голодный, рыскать,
Господи, – в охоте пособи!
Дай мне след ее, ледяной и узкий,
Режет он во сне и наяву –
Острие его, с тоской тунгусской,
Словно льдом покрытую Неву, –
К устьям уст я приложу покорно,
Зацелую всласть уступ стопы,
Льдом Невы порежусь приворотно,
Льдом Оби пойду считать столбы –
Ледяные! – Сибирь в свой зрак вбирая,
Сам всадил в себя я след ее,
С нежностью фатальной самурая,
Словно ледяное лезвие! –
Совместив – как смертник – харакири,
С ласкою последнею ее,
Всё свое оставлю в этом мире,
Только след возьму в небытие, –
Падая как метеор тунгусский,
Всажен мне под сердце, как металл,
След ее, мучительный и узкий,
Свет ее – сияющий кристалл!
И душа рыдает вновь по-русски,
И во мне, до крышки гробовой,
След ее – такой хрустально-хрусткий,
Свет ее – единый Свети мой!
И, когда от всех уйду, устало,
Навсегда останется во мне:
След ее, такой родной и талый,
Свет княгини на Печаль-стене!

*Солим – древнее название Иерусалима.

Леонид КОЛГАНОВ

КТО-ТО НОВЫЙ

Жизнь моя, ты – подводная лодка,
Что с рожденья – на горьковском дне,
И как будто паленая водка,
Кровь давно опалившая мне!
Ибо смолоду я – из спаленных,
Чем себя постоянно гублю,
Потому не люблю я холеных,
А потерто-притертых люблю!
Жизнь моя, – ты моя Хиросима,
Что пылает в распадной душе,
Ну, а проще, – бездомная Сима,
Распростертая на этаже! –
Прикорнувшая в спальном районе,
Средь таких же расхристанных душ...
Я – на нервах своих оголенных,
И паленою водкой спаленных,
По ножам от тебя ухожу!..
Ты – годин обгоревшая стая,
В прогоревшей банкроты душе,
Кружит пепел от края до края –
На уже не земном вираже!
Кружит пепел, как демон над адом,
На распутье беспутных светил.
Кто же Симу пометил распадом,
Кто во мне Хиросиму спалил?
Бог иль дьявол, иль меченый атом,
Или случай, слепой и немой?
Я не знаю, но чувствую, рядом –
Кто-то Новый пылит за спиной!

Леонид КОЛГАНОВ

ЗИМНИЙ ОГОНЬ

Кружит снег, как вдова, завывая,
Над зимою российских равнин,
Рвусь я к ней из горячего края,
Словно огненный ветер-хамсин!

Чтоб она меня вновь охладила,
Или я ее вновь опалил,
И метель нас опять закружила
Средь безвестных ямщицких могил!
Чтоб она, словно с пылу молодка –
Выбегая, – валилась в снега,
И горела в них – яростью плотской,
И пускалась со мною в бега!

Чтоб за нею в снегах, как охвостье,
Я петлял, что в Сибири, лезгин,
Чтоб меня, как заморского гостя,
Сжег огонь ее северных льдин!..

Кружит снег, как вдова, завывая,
Над зимою российских равнин,
И как будто меня отпевает,
Словно вьюга – заблудший хамсин!

Ася ВЕКСЛЕР

ВООБРАЖАЕМЫЕ ПЕРЕВОДЫ

* * *

Нет ни того, кто меня ревновал,
ни другого, к кому ревновал он.
Много чего улеглось –
далеко не вчера это было.
Но долговечней, чем сильный загар,
обогретость любовью:
вроде бы осень, а волосы с блеском,
в глазах ожиданье и кожа упруга.
Пусть зеркала, сговорившись,
талдычат свое, на ночь глядя.

* * *

Ни золотой каемочки на блюде,
ни феи, ни сокровищ из ларца.
Но сызмальства готовность улыбнуться
не оставляет черт ее лица.

На всё про всё – улыбчивость в беседе,
хоть ясно ей – улыбки не в чести.
Ах, неспроста предпочитают леди
достоинство и сдержанность блюсти.

Сочтут за слабость – станешь уязвима;
за поиск благ – и вовсе не дыши.
А правда в том, что жизнь неисправима,
а теплота – от полноты души.

Улыбчивость дается от природы,
и тут уж ни при чем судьба и годы.

Ася ВЕКСЛЕР

МЕЖДУСТИШИЕ

Не пишется? Ну что ж, и без тебя
изведены, как всем известно, горы
бумаги, перьев, шариковых ручек
и тьма внутрикомпьютерных страниц.
А много ль добавляется к тому,
что примиряет душу с этим миром
и заодно тебя с самим собой?

Вот весь остаток жизненной долины.
Куда, к чему теперь-то торопиться,
драть горло, в хвост и в гриву гнать коня?
Оставь неприрученность озаренью,
сквозному гулу, лепету созвучий
и безупречно паузу держи.

КРУГОВОРОТ ЖЕЛАНИЙ

Быть почти что имяреком,
сдержанной натурой.
Стать публичным человеком,
знаковой фигурой.

К сильным мира прикоснуться.
Вспомнить о начале.
И калачиком свернуться,
чтоб не замечали.

Ася ВЕКСЛЕР

МОРСКИЕ ВОРОТА

Б. Иоселеву

Возможность погостить на океане, –
что можно было знать о ней заране,
какой-токой располагать приметой,
тем боле там, в той жизни, а не в этой,
когда ничто, казалось, не сулило
особых странствий, – разве что светила
свежо мерцали над водой канала, –
та в сторону залива отбывала.

О, дальноркость! Глянув, обнаружу
себя, идущей стопами наружу,
лицо чуть вверх, прямая тень за спину.
Какой мне смысл сходить за балерину?
Ах, если есть конкретные вопросы,
то я ступаю улицею Росси;
а если интересны вам детали,
там настоящих балерин видали.

Я сызмальства под музыку любую
танцую; а когда и не танцую,
хоть для красотки, хоть для оборванца
могу из мглы извлечь рисунок танца.
И стать бы мне танцоркой несусветной,
но опоздала с выучкой балетной, –
недетский крах, что, безусловно, грустно,
зато есть выход: смежные искусства.

То плавное, то резкое движенье.
Менялась жизнь – и местонахождение.
И выдался блаженный промежуток:
в соседстве с океаном трое суток
я просыпалась в комнате зеркальной, –
недоставало только пачки бальной
и башмачков атласных на пуантах,
и ранних лет в надеждах и талантах.

Ася ВЕКСЛЕР

ИСХОДЯ ИЗ МЕЛОЧЕЙ

З. Палвановой

Тьма забот у знаков препинанья.
Противопоказан им покой.
Без контроля или понуканья
тихие умельцы под рукой.

Здрасьте вам, команда занятая!
Двоеточье; точка с запятой;
точка плюс тире и запятая,
машущие рожице кривой;

половинки-парочки – две скобки,
две кавычки, – тишь да благодать
(те и эти, в общем-то, не робки
и умеют речь обособлять);

далее, лобастый знак вопроса
и другой, что рвется восклицать, –
кто еще сумел бы безголосо
порознь и дуэтом выступать.

Наконец, ваш выход, многоточье!
Пауза. И нам – кому куда:
в междуречье, или в междустрочье, –
есть, о чем подумать, господа.

Я сторонник знаков-заморочек
и препон, без коих пропадешь:
ведь без их старинных проволочек
строфы превращаются в бубнеж.

Уделю им сколько-то вниманья,
потесню причины унывать –
безответным знакам препинанья
тоже надо жить и выживать.

Зинаида ПАЛВАНОВА

* * *

Побудку мне поет колибри,
за ноткой выпевает нотку,
сев на оконную решетку:
«Вставай, трудись, рифмуй, верлибри!»

Про будку мне поет колибри –
где я когда-то сторожила,
где всё про жизнь свою решила...

Сквозь сон затрепетали фибры
души – и одеяло сбросили:
подъём! И враз я совершила
подъём, и утро – как вершина,
и жизнь красна в разгаре осени.

* * *

Выбрасываю увядшие розы.
Одна из них
осталась красивой –
лишь темнее стала,
лишь суровее стала,
лишь тише, лишь глуше,
лишь суше...

Не хочу засыхать.
Пощади мою плоть,
Господь!
Я шучу, я знаю, что надо.
Правда, мне не до шуток.

Не спаслась бедой,
не ушла молодой
в тень из света.
А теперь
мечтаю засохнуть,
как роза эта.

Зинаида ПАЛВАНОВА

ДЕКАБРЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

Игорю Бяльскому

Что за время года настало?
Я гляжу на кусты багряные,
на плывущие тучи рваные –
это осень, конечно, осень.

Что за время года явилось?
Я гляжу на пальмы окрестные,
на густые цветы неизвестные –
наконец-то прохладное лето!

Что за время года вернулось?
Я гляжу на холмы заоконные,
на террасы нежно-зеленые –
сердце глупое чувствует весну.

Всё смешалось в Ерушалаиме.
Я гляжу на миндаль седой –
то ли после беды, то ли перед бедой.
Это просто зима, зима...

Всё смешалось в Ерушалаиме
в несусветное настоящее,
пересаженное, щемящее,
перегруженное, летящее.
Кто распутает, кто рассудит?

Только снега и нет,
только снега и нет –
он пойдет во сне,
и разбудит...

Зинаида ПАЛВАНОВА

* * *

Я ничем не могла ей помочь.
Среди белого дня на нее навалилась ночь.
В хостель она ни за что не хотела.
Теряла зубы, чернела, худела.

Пришлось переехать всё же.
И что же?
Ну и дела –
она расцвела!

Я у нее в гостях.
Куда подевался вечный страх?
Она борщом угощает меня
среди солнечного дня.

У нее картины пока не повешены,
со шкафов так и плещет цвет.
Мы еще не старые женщины.
За стеной живет холостой сосед...

Грязный двор за чистым окном.
Так подробности я замечаю,
словно в мире осеннем сквозном
за удачу теперь отвечаю.

ДИЕТСКОЕ

Что нам делать нынче с любовью?
Снова вместе мы, снова рядышком.
О, давай займемся морковью,
сделаем сок и оладушки!

Мясо – это пища не летняя
в нашем возрасте. Воздержись.
Ты – любовь моя не последняя,
потому что последняя – жизнь.

Зинаида ПАЛВАНОВА

* * *

Завелись в компьютере стишки,
зазвенели денежки в кармане,
дни плывут, весомы и легки, –
вот что вижу в радужном тумане.

Дом отмыт от грязи вековой
и прорежен, словно в детстве грядка.
Ты вернулся, наконец, домой,
в царство небывалого порядка.

Нам привозят малое дитя.
Нянчим чадо, устали не зная...
Это мной намечена шутя
линия житейская сквозная.

Дальше я не вижу ничего.
Впрочем, близко, если честно, – тоже...
Только чую: жизни существо
на мое сознание похоже.

Из кирпичиков забот и дел
временное строю мирозданье.
Может быть, и смерти за предел
смахиваст на мое сознанье?..

Информации оттуда нет.
Буду верить благостным приметам.
Буду представлять себе тот свет
просто светом, небывалым светом...

Борис ЛУКИН

ГОРИТ ВО ОБЛАЦЕХ ЗВЕЗДА

* * *

Я помню в детстве – «Мама ждет» –
роднее нету слов.
Она – за снегом и дождем –
глядит раз сто в окно;
и для нее важнее всего,
лишь я и тень моя...

Мной позабудется легко.
Всё годы затенят.

Но день придет – прильнув к окну,
глазочек надышав,
и сам заглянешь в ту страну
счастливых малышей.

Шепнешь во тьму: «Ну как вы там?
Всё ль помните меня?..»
Ответом – в дом,
улав летать,
ворвется ребятня.

* * *

Нас сводят женщины – земной
Им ясно виден путь.
Ниспровергатели основ.
Иных пути забудь.

Идет – прелестна и строга,
А мы – за ней вослед.
И под ногами облака.
И это – наш секрет.

Скажи, кто выдумал ее?
Меня не он создал.
Не порастает жизнь быльем,
Коль так она проста.

Борис ЛУКИН

Пока я выбран – нет иных.
И сердце медлит шаг
И замирает – в такт твоим.
Одни часы – спешат.

Их делал старенький еврей
Во-первых тех веках,
Спешил он к женщине своей
Вот так: тик-так, тик-так...

А нам, зачем спешить, когда
Всё вторит ей одной –
Горит во облацех звезда –
Небесной и земной.

ЛАБИРИНТ

Есть девушка, которая на шаре
Пределами чуть больше плащаницы,
Давным давно, со времени пожара,
Впервые пробежавшего по лицам.

Есть девушка и Минотавр на Крите;
И кажется, что в этом лабиринте,
Где звезды, трудно думать о простом,
И тело просит вовсе не о том.

Есть девушка... И, значит, быть свиданью...
Но так все ожидания стары,
Как ветры в парусах старинного преданья
О кораблях, которым плыть и плыть.

Есть девушка... От времени и бронзы
Свободная... Да будет жизнь добра!
Дождется ли? Он долго ищет розы.
Дождись его. Вам встретиться пора!

Борис ЛУКИН

НА ПАРОМЕ

На пароме хлюпаем
Сухоной-рекой.
Гоним волны крупные
на тот и на другой.

Берег слева горкою
с церковью лет в сто
провожает в Вологду
молитвой и постом.

А мы сидим на палубе
ноженьки в воде –
в черно-стылу голубень,
чтоб помолодеть.

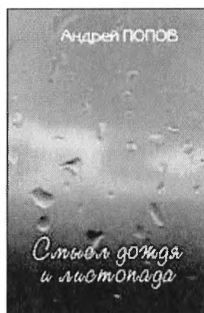
Ой, как близко бережок –
Сухонька узка,
От той смерти бережет,
что глядит с мыска.

С милой об руку сойдем,
на бугор взлетим.
Хорошо-то как вдвоем
жизни посреди.

ОБ АВТОРЕ: **Борис Иванович ЛУКИН**, Москва. Поэт, переводчик, литературный критик, член СП России. Родился в 1964 г. в Нижнем Новгороде. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар поэзии Евгения Винокурова). В последние годы работал в «Российском писателе» и «Литературной газете». Автор книг стихов «Понятие о прямом пути» (1993), «Междуречье» (2007), «Долгота времени» (2008), «Поединок» (2009) и многочисленных публикаций в российской и зарубежной периодике. Автор проекта – Антология современной литературы «Наше время».

Борис ЛУКИН

О Христе и о дожде осеннем...



Андрей Попов. Смысл дождя и листопада: Стихотворения. – Сыктывкар: Союз писателей Республики Коми, 2010. – 144 с. – 980 экз.

С годами понимаешь, что почти все события в жизни не случайны. И знакомство с Андреем Поповым из той же чреды.

Сначала заочно – я рецензировал для «Литературной газеты» одну из его предыдущих книг, кажется, это была: «О любви и смерти», в которой есть такие стихи:

И вновь Твою
Потерпим, Боже, волю,
И скорбь, как благодать.
И побредем по жизненному полю –
Учиться умирать.
Терпи, душа, – не жди себе поблажки, –
Любую тесноту.
Прости, Господь, что так порою тяжко,
Невмоготу.

Без перечисления всех филологических и поэтических достоинств данного стихотворения сразу о главном для меня – в поэтической строке выплавлен слиток из боли: своей, кровной, отцовской, из опыта человека, любящего жизнь и мир вопреки довольно жестоким действиям в его адрес самой этой жизни и мира. Вряд ли кто, не зная судьбы автора, отгадает, что стоит за строчками: «*Как понять мне благо это./ Правду Божью, скорбь мою?*».

Недавно, составляя очередной том антологии современной литературы России «Наше время», я был несколько удивлен, когда московский поэт, один из авторов, попросил убрать цитату из статьи о его творчестве, где упоминались подробности нынешнего его болезненного жития и присущих этому скорбей. Он считает, что в

стихах всё сказано. Удивило меня в его просьбе то, что, возможно, не было понятно читателям во время чтения приведенного выше стихотворения Андрея Попова – поэт, создавая новую реальность, почти всегда уходит от реалий жизни, которые, естественно, перестают прочитываться за строками, даже талантливыми. И просто необходимо (особенно сегодня при катастрофическом засилье книжных, филологических виршей, в которых не чувства скрыты за метафорой, а суррогат, кукла, профанация), почувствовав силу стиха, узнать, что поэт это чувство не выдумал, не вычитал, а пережил сам и *выжил* при этом.

Может, и существующего смысла многим будет достаточно, а вот мне, жадному в литературе до «почвы», главное – ощутить трепет тела и души, скрывающийся за сочетанием: *«благо это – скорбь мою»*. Человечество существует так давно, что в XXI веке искусственность литературе противопоставлена. Естественность бытия, преобразованная в огненную материю стиха – вот чего не хватает сегодня. Мы скрываемся за шаблонами, за символами, потерявшими свою первозданность. Писатели стали настолько технически умелы, что неискушенный читатель часто и не различит, где правда, а где ложь. И не важно им, о чем говорить – о материнстве, о любви и смерти, о патриотической идее. Везде на первом месте – профессиональная ложь. И лишь иногда, как в стихах Андрея Попова, пульсирует родничок вечной энергии, той, что в свой час возвращает нам весеннюю младость, не забывая про своевременность осенней грусти.

Повторяю про себя строки: *«Прости, Господь, что так порою тяжело,/ Невмоготу...»*, чувствую силу жизни, выводящую из любых передрыг, если смысл и жизни, и любви, постигнут человеком через собственный опыт, которому и метафора есть в стихах поэта: *«Безнадежное светлое дело»*. Постигнуто и названо: *«смыслом дождя и листопада»*, т.е. вечности двух событий-структур, противоречащих друг другу.

Попытаемся разобраться с этим поэтическим образом поглубже. Дождь – вода: синонимы ожидаемого рождения-возрождения, прихода времени любви. Листопад – увядание: пространство у ворот смерти, время подведения итогов, когда чувство любви к покидаемому миру превышает энергию юношеского всесилья. И не случайно пора листопада так завораживает живущих. Как не почувствовать осенней порой всё преобладающую тягу к продолжению, непрерывности жизни, что сродни любви Господней к человечеству во время Его смерти на кресте. Отсюда рождаются строки: *«Но смысл дождя и листопада/ В преображении души»*.

Я и сделал столь объемное разъяснение, чтобы подвести к главной мысли – читать стихи Андрея Попова следует, понимая (не обязательно принимая) его наисерьезнейшее отношение к учительской роли поэта в мире, роли мыслителя и провидца, существа в творческий миг всемогущего и вечного. Мысль эта столь же не новая для людей творческих, сколь сегодня отвергаема. Попов при этом не ставит себя

вровень со Всевышним, даже постигнув трагедию потери сына, когда реальность с невероятной легкостью проводит водораздел между несколькими сущностями единого: поэт, философ, отец. Горе (трагическая потеря сына), по мысли поэта, ниспосланное ему Господом становится одним из главных тем творчества. Поэт не озлоблен, он до сих пор несколько обескуражен случившимся.

Я весь седой и многогрешный –
Юн старший следователь, он
Ведет допрос, чтоб потерпевшим
Признать меня.
Таков закон.
Рассказывает без запинки,
Придав словам суровый вид,
Мой сын единственный,
Мой Димка
На Пулковском шоссе убит...

...Ах, следователь мой неспешный,
Ты не поймешь, как я скорблю...
Я потерпевший, потерпевший.
Я потерплю.

Эта тема была главной в предыдущей книге Попова, в новой она стала внутренней интонацией, камертоном. Перед нами предстает выживший поэт, пишущий стихи с неизвестным большинству читателей (и, слава Богу!) опытом потери, однажды и навсегда подкрепленным высказыванием, отчасти сродни верленовскому «всё прочее – литература»:

На небе моем огромном
Сегодня темно и хмуρο.
О чем остается помнить?
Что смерть – не литература.

Русская литература не богата на подобные произведения. А тем более, на рассуждения по этому поводу. Психиатры давно бы поставили не очень приятный диагноз и автору, и читателям. И всё же на память приходят еще несколько имен отцов-поэтов познавших боль утраты – от Павла Антокольского с поэмой «Сын» до Владимира Макаренкова автора книги «Ворота во мгле».

Я читаю стихи Андрея Попова, пишу эту статью и думаю: «Наверное, надо было с первых строк спросить – готовы ли читатели настроиться на серьезное, сопереживающее чтение?».

– Если не готовы, тогда зачем читать дальше? – спросим мы с иронией в фирменном стиле поэта, прежде чем найдем вот эти строки:

Ночью
ты снова
поворачиваешься ко мне.
Говорю:
– Не лежи на сердце.
– Повернись. Я обниму тебя.
– Что мне сердце? –
отвечаешь ты
и засыпаешь у меня на плече.
А я смотрю в темноту потолка
и повторяю:
– Господи,
я никогда никого
не сделал счастливым –
«сердце чисто созижди во мне».

Я слышал, как автор читает свои стихи. Зал всегда ждет его несколько ироничную манеру мудрого собеседника. И хотя ирония его вовсе не смешит, хотя и вызывает порой грустную улыбку, всё же это единственный случай в моей жизни, когда я принимаю ее. Да и ирония ли это, если она порождает внутри себя жемчужину, помогая поэту сказать: *«Хотел написать: Я никогда не буду счастлив. Но испугался – стихи так часто сбываются».*

Об этом же говорила Цветаева. Не грех повторить каждому поэту, чтобы творчество продолжалось:

Родина!
Давай поговорим
Об осеннем свете, русском Боге.
Это близко нищим и больным.
Скучно безошибочным и строгим.
Скучно миру –
И отводит взор
От калик, встревоженных спасеньем.
Родина!
Продолжим разговор
О Христе и о дожде осеннем...

Вот, оказывается, для чего нужны все прежние знания, опыт, чувствования, созерцания – чтобы не торопиться уйти, изведав грусть, печаль и безысходность, а чтобы продолжать разговор *о Христе и о дожде осеннем...* Попов продолжает не только для себя, а, как и всякий настоящий талант, для всех нас осмысливать и записывать:

Еще немного – и предел,
И обживайся на том свете,
Где все небесны, словно дети...
А я зачем-то повзрослел.

Взрослость автора вступает в противоречие с современными установками, вывернувшими наизнанку смысл слов «будьте как дети», когда цивилизация всевозрастно виртуально воюет и «живет», непрерывно ищет «новое» яркое товарное благо, постоянно обновляет свой внешний облик, абсолютно «по-детски» не желая думать о дне завтрашнем, не в смысле еды и достатка, а в смысле *все умрем* или *о судьбе вечной души*. Действительно, в нынешнем мире быть взрослым дано лишь поэту.

Есть в этой книге и переложения известных молитв, и стихи о переживаниях молящегося, но стихотворные варианты библейских страниц предстают по-новому. Например, «Исход». У Попова мы получаем новое содержание этого символа. Приведу первую и последнюю строфы стихотворения:

Неискренние стихи... Зачем ты их пишешь, Ева?
Выдуманные чувства зачем доверять строке?
Зачем говорить, не сорву плод с запретного древа?
Пишешь – что не сорвешь... А плод уже держишь в руке...

...Так наступают будни – обычный сбор урожая.
Осенние дни заботы. Чувства теперь глухи.
Небесной любви не будет. Это исход из рая...
Зачем ты их пишешь, Ева, неискренние стихи?

Нет, речь ведется не о бездарной поэтессе с именем Ева; мне думается, что говорится об искренности в поэзии, поэзии-жизни, поэзии-воспоминании-о-райской-жизни. О, может быть, последнем для современного, почти не верующего в Господа, человечества – оплоте, где еще должна быть правда о жизни нашей до Исхода... из Рая – о Поэзии. Мы говорим о своей греховности, о всечеловеческой падшести, о смертном, страждущем возвращении к Творцу и воссоединения с Ним. Да простит меня читатель за религиозный пафос.

В финале моих размышлений о стихах и творчестве Андрея Попова прочитаю еще несколько полюбившихся строк, говорящих поэтически просто и метафорически четко о том, что близко и мне, и чем логично завершить наше повествование:

Душа моя! Какая теснота!
Вот это повод для любви и слова.
Стесненная со всех сторон вода
Стремится вверх – ей нет пути иного...

Борис ЛУКИН, Москва

Андрей ПОПОВ

ПОКОЙ НЕБЕСНЫХ ЛИР

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ

По воде как посуху пойду,
Задевая по пути звезду,
Что в полночном море отразилась.
Господи, а если пропаду?

Взгляд теряет звезды и луну.
Шаг ныряет в шумную волну.
Маловажный, что ж я усомнился?!
Только усомнился — и тону.

Мысль, как камень, падает до дна,
Чтобы стала жизни глубина
Постижима страннику по водам —
Как она темна и холодна!

Как темны подводные края,
Где скользит упрямая змея —
Мысль моя, как проходить по водам
До небесной тайны бытия.

ВРЕМЯ СВЕТА

Как много их – святых и строгих,
Познавших души и успех!
А мы с тобой грешнее многих,
А мы с тобой грешнее всех.

И спросят с нас! А для ответа
Какой у нас тобой расчет?! –
Мы ждем упрямо время света,
И значит, к нам оно придет.

Придет – нам это просто надо
Сильней, чем строгим и святым...
Христос поднимется из ада,
И мы поднимемся за Ним.

Андрей ПОПОВ

* * *

Свежа осенняя прохлада.
И краски осени свежи!
Но смысл дождя и листопада
В преображении души.

Приму я узкую дорогу
И поздней осени порыв,
Что надо подниматься к Богу,
Любовь и дождь соединив,
И слышать в невысоком слогс
Иной покой небесных лир,
И видеть, пребывая в Боге,
Себя и весь осенний мир.

ПОДНЯТ ВЫШЕ

То птицу видел, то звезду,
То солнце яркое в зените...
Трехлетний сын просил в бреду:
– Повыше, выше поднимите!

Отец брал на руки его,
Заботливо и осторожно,
Не понимая ничего,
Приподнимал, насколько можно.

– Повыше! Низко так кругом!–
Был мальчик Господом услышан.
И эпитафия о нём –
Всего два слова: «Поднят выше!»

И ты, поэт, в своём бреду,
Отринув суету событий,
То птицу видишь, то звезду,
То солнце яркое в зените...

И, может, после снов земных
Стихи когда-нибудь напишешь,
Которые Творец услышит,
И мир подумает о них
Всего два слова: «Поднят выше!»

Андрей ПОПОВ

* * *

Сердце верит, не устанет –
Гонит прочь
Время темных испытаний –
Эту ночь,
Одиночество и ветер,
Трепет сна...
И приходит на рассвете
Тишина.
Тишина – и сразу дорог
Каждый слог.
Что ж я плачу, как ребенок?!
Это Бог.

* * *

Кто-то тайно приказы изрек,
Кто-то свел в напряжении скулы,
Чья-то мысль, словно пуля, мелькнула –
И я выбран, как верный залог.
Эй, поэт, затаись между строк
И смотри в автоматное дуло! —
Гаркнет резко исчадьё аула,
Палец свой положив на курок..
Я – заложник столетней беды,
Мне в лицо она весело дышит...
Праздный мир с одобреньем услышит,
Что меня, приложив все труды,
Обменяли на сумку с гашишем
И на остров Курильской гряды.

ОБ АВТОРЕ: Андрей Гельевич ПОПОВ, Сыктывкар. Поэт, историк, журналист. Родился 25 сентября 1959 года в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный университет. Постоянно печатается в газетах, журналах, коллективных сборниках Республики Коми. Автор десяти сборников стихотворений. Публиковался в журналах «Наш современник», «Север», «Арт», «Арион», «Мир Севера», «Войвыв кодзув» («Северная звезда» /коми/), «Крещатик», «Московский вестник». Стихи переводились на венгерский язык. Член Союза писателей России. Заместитель председателя правления Союза писателей Республики Коми.

Владимир БАТШЕВ

ПАМЯТЬ

Поэма

*И девочка в платьице синем
прижмется к плечу моему.*

А.Галич

За эту вот площадь живу...

Н.Асеев

Куда понесла меня память,
над ней мы с тобой не вольны –

1

...ты вспомни – на женщине платье
под цвет незнакомой волны.
Нет-нет, она будет в костюме!
Но цвет – непонятный волной...
А тряпки, белье и кастрюли
останутся в жизни иной –
от жизни иной – только запах,
которым век прошлый пропах –
в нем тюрьмы, надежды, этапы
и вроде не жизнь, а роман.

И снова отчаяньем осень,
и снова усталость от дел...
И внучка нечаянно спросит:
– За что же боролись вы, дед?

За что? Растеряюсь, как школьник,
который ответа не знал.
За женский шальной треугольник –
знакомый всем таинства знак?
За эту вот площадь живу?
За свой заграничный уют?

Владимир БАТШЕВ

За то, что на свете живу я?
За то, что *вчера* не убьют?

Ах, память, ты мне не советуй,
я знаю всё сам на корню...

– За то, чтоб любить безответно!
И не отвечать никому
на глупые ваши вопросы:
зачем прожита твоя жизнь –
затем – что по сердцу – колеса,
затем – что под ребра – ножи,
затем – что мне нервы задели,
и как издевался Зоил,
затем, что мы гнить не хотели
колодою, брошенной в ил!

2

Мы были веселые люди –
смелей и наивней других.
Никто не подал нам на блюде
ни славы, ни денег, ни книг.

И я не ломился в ворота,
где, словно баран в воротах,
стоял Растиньяк криворожский
и сладко на нас клеветал.

Он через границы ломился,
рядился в костюме простоты...
Клеймо не смывалось – *лимитчик!* –
кричали трава и кусты.

Кому-то – баллада.

Баланда –
в бараке дорожке вдвойне.
Пускай заберет свои лавры,
останутся тернии мне.

Владимир БАТШЕВ

Да что там какой-то лимитчик!
Пускай в Коктебеле своем
напыщенно-патриотично
играет в Волошина он.

Таких километры на полках –
читай-не читай, не зови...
Не он – так соседская сволочь
оскалится к нашей любви...

3

Но крыш черепицы косые
в окне мне еще не видны...

*...там женщина будет в костюме
под цвет незнакомой волны...
Ты вспомнишь любимое тело...*

Тогда, наплевав на закон,
мы жили с тобой, как хотели,
за рамкой советских оков!

Пустая густая усталость,
глаза бирюзою полны...
Как рыба, забьется русалка,
в одежде заморской волны.
Реальность мечте не поможет,
и скрип разломает кровать.
С русалки ты будешь, как кожу,
костюм бирюзовый срывать!

Затылок вдруг небо сырое
надавит сквозь серую муть.
Почувствовать вдруг сиротою
так страшно – когда одному.

Там Парка прядет свою пряжу,
и тянутся нитью года...

Владимир БАТШЕВ

Там женщина сразу не ляжет,
но ляжет с тобой – навсегда.
И ты от нее оторваться
не сможешь, не хочешь – зачем?
А клясть свое будешь коварство
и клясться: зачем ты зачух?

И жизнь оборвется застольем,
и точку поставит кастет,
и женщина глухо застонет,
роняя слезу на костюм.

4

А этот где, солнечный парень,
мальчишка, летящий во сне?

Его равнодушно ошпарит
соседка в невытом окне –
Амур упадет, станет биться,
не хватит ему детских сил
в руках краснолицых милиций,
в кругах местечковых громил.
А бывший парторг напоследок
(чтоб даже не пикнул Амур)
и лук поломает, и стрелы,
и крылья отрежет ему,
и нож оботрет без опаски.
Ты кожей узнаешь ответ...
Погаснет в глазах у Пегаса
свет искры и таинства свет.

И я не заплачу – завою
на воду – и страх наведу
над майновской стылой водою
у франкфуртских баб на виду.

Владимир БАТШЕВ

Всё это оставишь в романе,
как мелочь, что с пола поднял,
как грохот не спавших трамваев,
как травмы прожитого дня.
Вдруг буквы в глазах разбежались,
что это – опять атропин?
Где слов и мочи недержанье –
разрыв незнакомой тропы.

Не мне, так другому (кому-то),
но челюсть сведет мирабель.
Капут тебе, славный компьютер –
в тебя забежал муравей!
На части тебя разрывает,
как воду весенний карбид,
в названиях звонких развалин,
в обетах нездешних обид.

И женщина бросит вибратор:
все тело желаньем полно –
арбитром Арбата – Висбаден
аукнется рейнской волной.

И день с наслаждением ударит
в макушку лучами – поймешь,
что кажется – будто задаром,
но даром бывает лишь ложь

В глазах, ослепляюще пятна
запрыгают, словно удар.
Но это не пятна – а память
болезненно рвется сюда.

А в ноздри ударит весенним –
(забытая резвость ветвей!)
черемухой или сиренью,
и юностью резкой твоей.

ДОН АМИНАДО



ОТ ПУБЛИКАТОРА: Аминад Петрович Шполянский, хорошо известный русской эмигрантской публике как **Дон Аминадо**, родился 25 апреля 1888 в Киеве, а закончил свои дни в Париже 14 ноября 1957 года.

Михаил Булгаков дал его имя одному из персонажей «Белой гвардии».

Не было популярнее поэта в русской эмиграции в 20-30-е годы. А почему? А потому что Дон Аминадо писал стихотворные фельетоны в парижской газете «Последние новости». Но мало того, он был бытописателем эмигрантской жизни. И делал это отлично. Не зря его стихи ценили коллеги по поэтическому цеху – Бунин, Цветаева, Гиппиус.

Это один из моих любимых поэтов, поэтому не удивляйтесь, что я привожу не одно, а пять его стихотворения. Мог бы и больше, но объем сборника не позволяет.

Он придумал и новый жанр литературы – афоризмы, написал целую книжку блестящих – не в укор нынешним авторам – афоризмов, поразительных сгустков мысли и духа. Вчитайтесь в его строки – здесь масса афористических строк! А стихи, разве не современные?

Настоящие поэты всегда – пророки. Господь диктует с небес, и рука поэта водит по бумаге, выбрасывая на нее то, что поэт, может быть, и не хотел сказать сегодня, а берег для будущих поколений своих читателей.

И проблема, которую поэт называет просто: «И некто, не родившийся, родится, серебряными шпорами звеня», не про сегодняшнюю разве Россию это?

Владимир БАТШЕВ, Германия

ДОН АМИНАДО

АМО — АМАРЕ

Довольно описывать северный снег
И петь петербургскую вьюгу...
Пора возвратиться к источнику нег,
К навеки блаженному югу.

Там первая молодость буйно прошла,
Звеня, как цыганка запястьем.
И первые слезы любовь пролила
Над быстро изведанным счастьем.
Кипит, не смолкая, работа в порту.
Скрипят корабельные цепи.
Безумные ласточки, взяв высоту,
Летят в молдаванские степи.

Играет шарманка. Цыганка поет,
Очей расточая сиянье.
А город лиловый сиренью цветет,
Как в первые дни мирозданья.
Забыть ли весну голубую твою,
Бегущие к морю ступени,
И Дюка, который поставил скамью
Под куст этой самой сирени?..

Забыть ли счастливейших дней ореол,
Когда мы спрягали в угаре
Единственный в мире латинский глагол
– Amare, amare, amare?!
И боги нам сами сплетали венец,
И звезды светили нам ярко,
И пел о любви итальянский певец,
Которого звали Самарко.

...Приходит волна, и уходит волна.
А сердце все медленней бьется.
И чует, и знает, что эта весна
Уже никогда не вернется.
Что ветер, который пришел из пустынь,
Сердца приучая к смиренью,
Не только развеял сирень и латынь,
Но молодость вместе с сиренью.

ДОН АМИНАДО

* * *

Убого жили.
Сказать не смели.
Не тех любили,
Кого хотели.
Не те глаголы
Не так спрягали.
И сном тяжёлым
Свой век проспали...
А мир был полон
Чудес-загадок!
Слезой солон,
Любовью сладок,
В словах и звуках
Высок и ясен,
И в самых муках
Своих прекрасен.
А мы за призрак
Хватались каждый,
Справляли тризны,
Томились жаждой.
Боялись прозы,
В стихах мечтали...
А сами – розы
Ногой топтали.
И вот расплата
За жизни наши... –
В огне заката,
Из смертной чаши,
В смятении, в розни,
С вином причастья,
Мы пьем свой поздний
Напиток счастья.

ДОН АМИНАДО

ЗАСТИГНУТОЕ НОЧЬЮ

*Я поздно встал. И на дороге
Застигнут ночью Рима был.
Ф. Тютчев*

Живем. Скрипим. И медленно седеем.
Плетемся переулками Passy
И скоро совершенно обалдеем
От способов спасения Руси.
Вокруг шумит Париж неугомонный,
Творящий, созидающий, живой.
И с башни, кружевной и вознесенной,
Следит за умирающей Москвой.

Он вспоминает молодость шальную,
Веселую работу гильотин
И жизнь свою, не эту, а иную,
Которую прославил Ламартин.
О, зрелость достигается веками!
История есть мельница богов.
Они неторопливыми руками
Берут из драгоценных закровов.

Покорствуя величественной воле,
Раскиданные зернышки Руси,
Мы очередь получим в перемоле,
Дотоле обретаясь в Passy.
И некто, не родившийся, родится.
Серебряными шпорами звеня,
Он сядет на коня — и насладится:
Покорностью народа и коня.

Проскачут адъютанты и курьеры.
И лихо заиграют трубачи.
Румяные такие кавалеры.
Веселье такие усачи.
Досадно будет сложенным в могиле,
Ах, скучно будет зернышкам Руси...
Зачем же мы на диспуты ходили
И чахли в переулочках Passy.

ДОН АМИНАДО

1917

Какой звезды сиял нам свет?
На утре дней, в истоках лет,
Больших дорог минуя стык,
Куда нас мчал лихой ямщик?..

Одним черед. Другим черед.
За взводом взвод. И – взвод, вперед!
Теплушек смрад. Махорки дым.
Черед одним. Черед другим.

Один курган. Другой курган.
А в мире ночь. Седой туман.
Протяжный вой. Курганов цепь.
Метель. Пурга. Татары. Степь.

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Был ход вещей уже разгадан.
Народ молчал и предвкушал.
Великий вождь дышал на ладан,
Хотя и медленно дышал.

Но власть идей была упряма
И понимал уже народ,
Что ладан вместо фимиама
Есть несомненно шаг вперед.

Публикация Владимира БАТШЕВА

Гея КОГАН

СКРИПАЧ НА КРЫШЕ

Хоть праздновать, хоть печалиться –
за всеми заносит след;
а прошлое возвращается,
зовешь его или нет.

И не виноватым школьником
пройти испытанья вновь –
идет оно, как Раскольников,
туда, где пролита кровь.
Придет по известным признакам,
которых не побороть,
и не бестелесным призраком –
идеей, одетой в плоть.

Растрогают ли историю
молитвы и детский плач?
Взгляните: над крематорием
на крыше сидит скрипач.
Под куполом неба, выше ли,
куда не попасть пока;
скажите, что вы услышали
в рыданье его смычка?

Владеть всепланетным подданством
когда-то приговорен,
бездомностью – не безродностью
гордится немного он.
Но издавна небожителей
скрывает угарный дым.
В Париже, Нью-Йорке, Витебске
он будет для всех чужим.

Навеки клейменным памятью
звук скрипочки всё слышней,
а сколь ни стоять на паперти –
любви не дадут на ней.

Гея КОГАН

И прощено ли – непрошено,
возникшее невзначай,
хитро ухмыльнется прошлое
на наше ему: "Прощай!"

Мир сделать пытались лучше мы
и впрок наломали дров,
но стелется копоть жгучая
от наших былых костров,
а значит, спросить нам не с кого
и самым суровым днем.
Мы словно подходим к зеркалу
всё ближе, и видим в нем...

ПОСЛЕДНИЕ ЭМИГРАНТСКИЕ СТИХИ

1

Мы, конечно, вернемся, но только не к точке отсчета.
Так же пахнет асфальт. Так же дождь вырастает стеной.
Но приснившийся день помаячил недолго у входа,
потому что "назад" не всегда означает "домой".

По местам, где нам было и росно, и слезно, и разное,
пробегу торопливо, почти не касаясь земли,
но вернусь постоять. И не то чтоб спешила на праздник,
и не слишком стремилась, а ноги сюда привели.

Запах моря и дыма. Но кто там сказал "ностальгия"?
Непонятное слово. Душе незнакомая кладь.
Только высохли губы, и мысли приходят нагие
без оплетки словесной – ни вымолвить, ни записать.

В этом нету урона, ведь всё, что случилось – наука,
хоть плоды достаются не всем, а кому повезет.
Я приеду назад, а домой ли? Об этом – ни звука.
Молоком и малиною летний пахнет небосвод.

Гея КОГАН

2

Ни грустить и ни каяться я не хочу:
ни к чему, не умею и не в чем –
этот груз был, наверное, мне по плечу,
раз его я взвалила на плечи.

Ни к чему, потому что и здесь, и везде
раскаленными брызгами света
отражается солнце в холодной воде.
И вопросы закончим на этом.

Лоб горяч, и слезятся глаза на ветру,
но над прошлым расплакаться – нет уж!
Мне на всё отболевшее не по нутру
наносить аккуратную ретушь.

Чтобы спину с усилием в конце разогнуть
и предстать пред Очами с повинной,
в этой теплой земле прогрызаем свой путь,
в золотой кожуре апельсина.

А какой, мне уже безразлично, погост
в загаданный день примет в лоно,
но *оттуда* в *туда* перекинулся мост,
перед жизнью прогнувшись поклоном.

И какая бы следом хула и молва
ни тянулись, да будут нам святы
колокольцы созвучий, родные слова,
что всосали мы с млеком когда-то.

Но, ей-богу, не стоит считать за беду,
что, единым обласкана летом,
щедро яблоня в нашем созрела саду,
а плоды упадут и к соседу.

Виктор ФЕТ

РЕКА

Всё, что ни есть на белом свете –
огонь на солнце, лед в комете,
пещер невидимая тьма –
всё к нашей жизни равнодушно,
в то время как она сама
собой, меандрами реки
извилистой, течет послушно,
и каждый день ее изучен
у этих гипсовых излучин,
где все события легки.
И целый мир собрался здесь
в единый фокус, в эту взвесь
еще не меркнувшего сна,
топографического пира,
и версия иного мира
уже не так удалена.
Сквозь эту ткань иной пловец,
и солнц, и истины ловец,
возьмет остатки наших снов
в свою ладью, как горсть жемчужин,
там каждый вдох и выдох нов,
и каждый всплеск и отблеск нужен;
там счет идет на доли шага,
там крепче ньютонова тяга,
а берега моей реки
непредставимо далеки.

*23-24 декабря 2010,
Хантингтон*

Виктор ФЕТ

НЕ БУДЕТ

Не будет потрясения основ:
со стрелкою давно совпала риска.
На троне воцарился Годунов
на фоне нефтяного обелиска.

Нам больше не показывают снов,
и мы природе не вчиняем иска:
наш мир теперь имеет форму диска,
лежащего на спинах трех слонов.

Отрекся Галилей, и Тихо Браге
уже не проживает в старой Праге;
замедлилось течение лет и дней,

и память размывается волнами,
и мы опять усядемся плотней
вокруг огня, зажженного не нами.

3-4 января 2011

ПУТЕШЕСТВИЕ

Иерусалим, и Рим, и прочие места
отмечены на старых портоланах,
но в атласе недостает листа.
Несложно для поверхности земной
составить указатель именной
со сведениями о разных странах.
Труднее распознать, чей осторожный взгляд
уже разглядывал, столетия назад,
подходы к берегам, эрозию пород
и трепет птиц под куполом зеленым.
Мир существует и живет,
Чарльз Дарвин, по твоим законам.

А то, что остается за кормой
корвета “Бигль”, уходит по прямой,
не достигая линии закатной,
а значит, и останется за картой.
Зачем же нам описывать края

Виктор ФЕТ

внутри закрытого объема,
когда не здесь лежит судьба твоя,
возможность истины и дома?
А время в Англии иное,
оно по Гринвичу течет,
оно не растворимо в зное
и в Кордильеры не влечет.
Когда мы странствуем, мир возникает снова,
отыскивается утраченное слово,
лучи и волны продолжают танец,
отлив усердно порождает сушу,
мир открывает каменную душу –
обсидиан и мягкий сланец;
а не отмеченная в атласе река
дает действительности вкус черновика.

22-23 апреля 2011

НЕМОЕ КИНО

Под резким светом, в мире плоском
пройди себе по шатким доскам
на дебаркадере времен,
где контур жизни изменен.

У новых дней не хватит места
для магии простого жеста,
запечатленного давно
на лентах древнего кино.

Здесь ходит мышца лицевая
и видится движенье век
под звон беззвучного трамвая
и старомодный саундтрек.

Над миром разлита тревога,
но крепко держится тренога,
а чудный театральный грим
теперь уже неповторим.

13-14 мая 2011

Виктор ФЕТ

ЭНЦЕЛАД

Как жизнь литературна
бывает иногда:
меж кольцами Сатурна –
соленая вода!
В крошечной тьме Вселенной
открылись берега,
где хлещет звездной пеной
поморская шуга.

И более не надо
ни меда, ни вина:
фонтаном Энцелада
душа опьянена.

30 июня 2011

МЫ ДУМАЕМ

Мы думаем, что сущность слов проста,
и мы привыкли к этой мысли вздорной;
на самом деле лучшие места
отведены на плоскости узорной
не нам, а им – и есть за что: они
и движут, и скрепляют наши дни.

К динамике обыденной привыкла
речь, от природы свойственная нам,
что ритм биологического цикла
готова придавать мечтам и снам –
и прыгает от счастья каждый атом,
доставшийся в наследие приматам.

Мы думаем, что память – наш союзник;
на самом деле разум – это узник
в оковах памяти, что вместе с ней
спешит над бездной лет тропею дней,
зажмурившись, чтобы перенести
слепящее безумие пути.

Да сохраняются наши языки,
наполненные древними словами,
как неизученными веществами,
где атомы усердны и легки,
где глину слов несет издалека
поток недремлющего языка.

сентябрь 2011, Хантингтон

Ирина КАНТ

* * *

По терракотовым
пантеро-котovým
камешкам
Журчит вода.
В никуда – часы, в никуда – года.
В никуда – века.
Сохранить бы журчание ручейка,
Биение сердца, экстаз души.
Вечный ветер столетия ворошит.

* * *

В граде Петра –
белые ночи,
А в Пётре* – жара,
нету мочи.

В граде Петра – сыра
Дороженька вдоль Невы,
А в Пётре – пески, ветра
Под куполом синевы.

В граде Петра тройка-чудо
Летит сквозь даль веков,
А в Пётре с утра лихие верблюды
Раскачивают седоков.

В граде Петра ветра замели
Мой на снегу след.
А в Пётре исчезли в песке и в пыли
Следы моих штиблет.

* Петра – город в Иордании

Ирина КАНТ

ДУЭЛЬ

Князь Мышкин-Нарушкин
И граф Подподушкин
Устроили в парке дуэль.
Под кленом, под вязом
С подвязанным глазом
Граф медленно целился в цель.

Обласканный Душкой
Хранил под подушкой
Драгое ее письмецо,
Взяв шляпу подмышку,
Как кошка на мышку,
Сопернику глянул в лицо.

И вот по приказу
Два выстрела сразу
На ветке спугнули ворон.
Но, к счастью для Душки,
Их общей подружки,
Всё сладилось без похорон.

На князе рубаха
Вспотела от страха,

У графа померкло в глазу,
Но два дуэлянта,
Как два бриллианта,
Сияли, присев на возу.

Князь Мышкин-Нарушкин
И граф Подподушкин
Свои облегчили сердца.
И с Душкой вместе
В приличнейшем месте
Распили графинчик винца.

Ирина КАНТ

* * *

И друг, и враг, компьютер мой, desktop,
Пройдем с тобой еще один этап
Вреда здоровью, наслажденья духа.
Нажмем на "мышку". Ни пера, ни пуха!

Два клика – открывается окно
В Европу. Мне и грустно, и смешно.
В бездонном океане информации
Так много вдохновенья и фрустрации.

Пока душа взлетает в облака,
Болят спина и правая рука.
О шариковых ручках забываю –
Теперь я не пишу, а набиваю.

Часы летят. Венком лавровым
Твой монитор пора бы увенчать.
И вдруг "завис". Как будем отвечать?
Перезагрузимся. Как Хиллари с Лавровым.

* * *

Смертным хочется ввысь
И вширь, и вдаль, и впрок.
Прошу тебя, возвернись,
Удача, на мой порог.

Не хочешь? Так обернись
Гадалкой в цветном платочке.
Загадочно улыбнись
Не мне, а моей дочке.

Марина ГЕНЧИКМАХЕР

ЭТА НЕЖНОСТЬ, КОТОРОЙ ЖИВУ

Стихи, посвященные Итаночке

* * *

Она рисует солнце на краешке листа:
Глаза – как у японца, лучи – как борода.

А ниже – две японки (как солнышко – точь в точь)
Идут на ножках тонких – конечно, – мать и дочь!

Они мне очень нравятся: прелестная семья!
Ведь старшая красавица-японка – это я!

А следом с мордой плоской (откуда Бог принес?)
Идет-бредет японский (глаза – как щелки!) пес.

Японок явно радует и этот пес ничей,
И небо бородатое от солнечных лучей.

Такого не припомню я из моего окна.
Как хороша Япония – волшебная страна!

Пожалуйста, не пой мне, что век недолог наш!
Поймал мою Японию дочуркин карандаш!

Я не бывала в Токио – ужасно далеко!
Но счастье в жанре хокку вам опишу легко:

Вся жизнь ясна до доньшка, и смысл ее простой:
В японском этом солнышке с лучистой бородой.

* * *

Плесни мне, Пиросмани, на разлив
Той непосредственности, о которой позже
Серьезный критик скажет: «арт-наив»;
Моя дочурка: «Я сумею тоже!»
Она сумеет тоже? Ну и пусть!
Уроки мамы не проходят всуе!
Я ярко-желтым солнце нарисую
И ярко-синим фоном задохнусь...

Марина ГЕНЧИКМАХЕР

* * *

Мне не быть respectable дамой,
Чтобы туфли из замши
И костюм из Парижа....
Лишь вчера я девчонкой бежала по жухлой траве,
И по-прежнему, кажется, там же,
Тот же ветер в моей голове,
Лишь слегка набрала килограммы,
Но дочурка, мой чертик бесстыжий,
Швыряет мне мяч,
И нелепая мама несется за мячиком вскачь,
А восторг так и брызжет!
Какая смешная игра!
А ведь скоро пора...
И меня по ночам обдаёт неожиданным жаром,
И немеет рука....
Но пока
Я несусь в облака невесомым доверчивым шаром,
Лишь порой опускаюсь с небес в непонятную грусть.
Дочка верит, что добрая мама бессмертна...
И пусть!
Ведь сама я не верю, что старость таится за дверью,
А над болью смеюсь.
И молюсь
Не о плоти своей,
О беспомощном маленьком тельце!
Ну и девочка: шустрая, юркая, как саламандра!

Как же счастливы мы, что в веках заблудилась
Кассандра
С беспокойной толпой из троянцев, а может, ахейцев.
Лишь в ночной тишине предрекает тревожное сердце
Близость скорой зимы.
Но от глаз наших скрыты финальные зимние кадры.
И поэтому счастливы мы...
Как же, Господи, счастливы мы!
Как нам верится в завтра!

Марина ГЕНЧИКМАХЕР

* * *

Ей наука земная не впрок:
От нектара любви тяжелея,
Мельтешит наша легкая фея,
Как колибри, с цветка на цветок.

Теплым ветром ее занесло
В мир мерцающих радугой пятен,
Где с добром конкурирует зло,
Но для феи их смысл непонятен.

На такую и гневаться грех:
Может – ангел, а может – звереныш.
Так бубенчик: нечаянно тронешь,
А в ответ или плач, или смех.

Или взмах мотыльковых ресниц
Непокорно-бесшумных, как вызов.
Вся душа-то ее из капризов
Да из трелей неведомых птиц.

И она вслед за ними поет,
То проказит, то смотрит с любовью...
Что ж ты, мамка, нахмурила брови,
Разворчавшись на чадое свое?

Это счастье, а счастье, как дым.
Лето сменит ноябрь, но куда
Называй ее чудом своим
И блаженствуй причастностью к чуду!

* * *

Щебетала, щебетала, утомилась,
Уронила свои туфельки «на вырост»,

Все заботы по-младенчески стрекозьи
Отложила, не задумавшись, на после

И уснула, не добравшись до кровати,
В белом, праздничном как у принцессы, платье.

Марина ГЕНЧИКМАХЕР

Стало тихо, стало грустно отчего-то...
Что ж ты, мамка, засиделась без работы?

Мой, мети – ведь от тебя пока зависит
Как чисты ее рентованные выси,

Сколь комфортны ее первые полеты,
И наполнены ли крохотные соты.

По конфоркам расставляй кипеть кастрюли,
Да потише, их Высочество уснули...

* * *

"Убери ночную рубашку!
Уходи от меня с пижамой!"
Я гляжу на ее мордашку,
Притворяясь суровой мамой.

Как же можно костюм Диснея
Променять на мешок из байки,
Отправляясь в страну, где феи
Над цветами, как рыбы стайки?

Но, наверно, и там не гладко:
Бродят страхи, вскипают драмы,
Раз под полночь ее кроватька
Опустеет под возглас: «Мама!».

Ткнется в бок... Ты ее укроешь
Под крылом-рукавом ночнушки,
И хранишь от ночных чудовищ,
Как цыплят бережет несушка.

До утра не уснешь, – и ладно!
До чудес ли в краю далеком,
Если фея в шелках нарядных
Мирно спит у меня под боком?

Марина ГЕНЧИКМАХЕР

* * *

Мне ее подарили. Во сне ль, наяву
Я лишь этой капризной пичугой живу,
Не гадая о власти и силе
Тех, что радость мою подарили,
Эту нежность, которой живу!

Невесомы по-птичьи ее позвонки,
Серебристы напевы, движенья легки,
А в гнезде ее – вечное лето:
Переливы лазурного света
И прозрачные тени легки.

Но в моих бестолковых, дрожащих руках
Вечно рвется лазурь, а узор впопыхах
Золотые ломает иголки,
И стежки, будто всхлипы, недолги,
И неровны, как жизнь впопыхах.

А она все щебечет, подобно чижу,
Я молиться боюсь, я почти не дышу,
Ибо каждое слово некстати
На пороге живой благодати –
Я отныне лишь счастьем дышу.

Остается собой заслонить сквозняки
И окно, за которым не видно ни зги.
Не узнала бы чуткая птаха
То, что свет ее соткан из страха,
А в окошко не видно ни зги...

Марина ГЕНЧИКМАХЕР

МЫ И НАШИ АНГЕЛЫ

Дети – нежные ангелы с радостными глазами... Они звучат бодро и рождены для счастья. Мы – их хранители, хоть мы далеко не ангелы. Мы принимаем их теплыми, доверчивыми, с мокрыми слабыми крылышками за плечами и старательно обучаем, как не летать. «Мамочка, давай, я буду принцесса, а ты – король!» – «Нет, мое солнышко! Маме некогда. Сперва мама будет кухаркой, а потом уборщицей. А то папа придет с работы и будет ругать маму, что нечего есть и не убрано. А ты, даст Бог, станешь врачом или юристом...».

В воздух медленно взлетает легкое перышко несбывшейся детской надежды. «Мамочка, пусть мишка будет красным, а елка сиреневой!» – «Детка, елка должна быть зеленой, что скажет воспитательница? Крась аккуратно, нельзя залезать за линии. Какая мама-мишка?! Это – домашнее задание, маму-мишку нарисуй на отдельном листочке!».

Второе невесомое перышко планирует рядом с первым. – «Мамочка, пойдем в Диснейлэнд?» – «Нет, доченька, Диснейлэнд дорог, мы пойдем в парк по соседству: покатаемся с горки». В воздухе плавно кружатся забавные белые перышки; ребенок растет. – «Мамочка, не иди на работу! Я не хочу в садик! Я хочу с тобой!» Девочка рыдает, потом смиряется и, как солдатик, идет в детский сад. Безукоризненно раскрашенный коричневый мишка одиноко скучает у не менее безукоризненной зеленой елочки...

Маленький гадкий утенок (Ах! Какая смешная, прелестная кроха!) постепенно превращается в прекрасную синюю птицу счастья бывших советских домохозяек: ошипанную, нелетающую, упакованную в стандартный блестящий целлофан, – в самый раз для котла, где закаляется сталь, бурлят гениальные педагогические идеи и закипают социальные эксперименты.

Жизнь между тем идет своим чередом: бензин дорожает; бизнес выходит из бизнеса; папа теряет работу; элитный дорогой детсад сменяет плохая государственная школа.

В воздухе, как при погроме, носятся выданные с корнем белые перья. Это – страшно, а может, красиво: зависит от точки зрения. Немного похоже на кружащийся тополиный пух. Тополя нынче тоже отправляют детишек в люди...

Дочка прочно становится на ноги, приобретает профессию и прекрасный английский акцент, который режет ухо при разговорах по телефону: «Нет, мама, можно, мы, пожалуйста, не пойдем в парк в субботу! Моя малышка имеет классы по программированию, а потом у нас «свиминг в пул!» – «Нет, мама, какой концерт вечером! У нас проджект для чилдрен-гарден!» – «Нет, мама, какое играть! Мы

Марина ГЕНЧИКМАХЕР

готовимся к тесту для прескул! Компитишн, могут не принять...».

И это не так уж плохо – соседка, к примеру, всю жизнь растила оклад, вместо ребенка, да сдуру завела на старости собственный бизнес. А теперь живет рядом, в доме для стариков и заводит нудные беседы, о том, куда вкладывать деньги. То ли дело иметь внучку – маленького нежного ангела с сияющими, радостными глазами...

СКАЗКА ОБ УПАВШЕЙ ЗВЕЗДЕ И СВЕТЛЯЧКЕ*



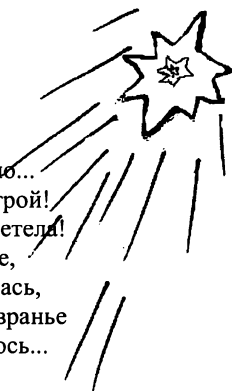
Вы слышали? Случилась беда!
На полянку у сломанной елки
Прямо с неба упала звезда
И разбилась на сотню осколков!
Видно, этой глупышке звезде
Не сиделось спокойно на месте:
Как птенец, расшалилась в гнезде –
Вот и вывалилась из созвездья!
– А теперь угасает звезда,
От нее ни свеченья, ни проку... –
Эту новость на длинных хвостах
Разнесли балаболки-сороки.
– Вот несчастье! С такой высоты!
И разбилась, как плод-скороспелка!
Очень жаль, что не будет звезды! –
Языками зацокали белки.
– Ей, бедняжке, уже не взлететь!
Как ей больно, должно быть, и плохо! –
Заревел огорченный медведь,
Заворочавшись в темной берлоге.
Заскулила печально лиса,
Всхлипнул ежик, одетый в иголки,
Дружно морды задрав в небеса,
Воем горе оплакали волки.
Все жалеют звезду горячо:
Кто рыдает, кто стонет, кто плачет...
Лишь какой-то невзрачный жучок
Подошел к незадаче иначе:
И собрав соплеменников рать
(Их немало, поверьте на слово!),
Попросил все осколки собрать
И скрепить их смолою еловой.



**Иллюстрации автора*

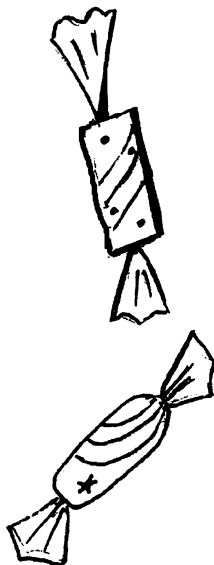
Марина ГЕНЧИКМАХЕР

Починили букашки звезду,
А по лесу пошли пересуды:
Мол, пылает она за версту,
Как заморско-небесное чудо.
Но жучок никакой не герой.
Звезды клеить – нехитрое дело...
Вот вернул бы красавицу в строй!
И... Представьте... Звезда полетела!
Возвратилась в созвездье свое,
Залучилась во тьме, заискрилась,
Словно всё, что случилось – вранье
И, наверное, просто приснилось...
Не приснилось! Героя везде
Вы найдете по яркой примете:
Прикоснувшись к упавшей звезде, –
Он теперь будто искорка света!



СКАЗКА ОБ УТРАЧЕННОЙ МАГИИ*

Не знаю где, не знаю как,
Наверно, в башне белой,
Но жил да был волшебник, маг,
Веселый и умелый.
Он много приносил добра
Своими чудесами;
Его любила детвора, –
За что? – поймете сами.
Он не умел ответить «нет»:
Раз надо, – значит надо!
Он наколдует вам конфет
И горы шоколада!
Ведро песка теперь халва,
А из травы – котлета...
А что приятней волшебства
Подобного к обеду?
Наш маг прогонит стадо тупое
На чей-то день рожденья,
А если кто-то невезуч, –
Добавит в жизнь везенья.



* Иллюстрации автора

Марина ГЕНЧИКМАХЕР



Но за горой, в чужой стране,
Увы, не до, не после,
Волшебник жил, который НЕ
Любил детей и взрослых.
Не только летом волшебства,
Зимой жалел он снега...
И тут пришла к нему молва
Про доброго коллегу.
От гнева он лишился сна,
И почернел от злости...
И вот объявлена война:
Встречайте злого гостя!
С руки перчатку он прислал
Или с ноги – ботинок,
Но приглашенье не на бал,
На грозный поединок...
Когда идет на мага маг,
Война течет с размахом:
И гром, и молния, и мрак,
И все дрожат от страха...
Волшебник добрый победил,
И празднует победу.
Но весь запас волшебных сил
Растратил он на это...
И больше он не чародей,
И ничего не может –
Такой, как тысячи людей,
Как я, как тот прохожий...
И вот ушел наш добрый маг...
А что ему осталось?
И говорили все: «Чудак!
Исчез! Какая жалость!»
Прошла неделя, месяц, год,
О нем никто не слышал.
У всех полно своих забот...
Но кто там на афише?
Вокруг кого всё время смех
И детвора повсюду?
Кто рассмешить сумеет всех? –
А разве смех – не чудо?
И пусть на голове колпак,
И нос болгарским перцем,
Но каждый клоун – в чем-то маг
С веселым, добрым сердцем!



Александр ГАБРИЭЛЬ

БЕЗ ВЕСТИ

За праздничным окном летит игривый бал,
в морозной полутьме – прозрачной звуки вальса...
Печальна доля тех, кто без вести пропал.
Еще печальней – тех, кто без вести остался.
Любой из них к судьбе безрадостной привык...
И, отнеся себя к несчастной низшей расе,
они и не живут, а пишут черновик,
пролог для жизни той, которая в запасе.
Незримый их девиз – не греться и не греть,
ни в чем не отличать заката от рассвета...
Потупясь. Вдоль стены. То впроголодь, то впрядь –
поверив, что в конце зачтется им за это.
За ними без огня влачится бледный дым,
кроящий им судьбу по тусклому шаблону.
Прошу тебя, Господь, не дай мне стать таким.
Не влей меня, Господь, в их серую колонну.
Пусть мимо не пройдет веселый карнавал,
и фейерверком ввысь взлетают звуки вальса...
Горюю я о тех, кто без вести пропал,
но не хочу быть тем, кто без вести остался.

ЗОЛОТО

В шумном мире, дрязгами расколотом,
мы страдаем, любим, пьем вино...
Но молчанье остается золотом,
хоть в Начале было не оно.
Слово есть костер в процессе тления.
Спешка. Недодуманность. Недуг.
Странно лживы по определению
мысли, обратившиеся в звук.
Видим снег, и ад, и синь небесную,
ввысь взлетаем, падаем на дно...
Нет, не обратишь в труху словесную
то, что нам прочувствовать дано.
И пускай нам будет во спасение,
обретя уверенность и вес,
сдержанное произнесение
ничего не значащих словес.

Александр ГАБРИЭЛЬ

ОПЫТ

Так как жизненный опыт всему голова,
и для душ он – подобие бронжилета,
чем ты старше – тем зримей выходят слова,
тем понятней и ближе источники света.

Так как жизненный опыт всему балансир
и всему измеритель послушный и чуткий,
ты легко обойдешь мышеловочный сыр,
даже если от голода сводит в желудке.

Только мысли, в мозгу непрерывно свербя,
рвут тебя на куски.
Мир твой темен и зыбок...
Будь он проклят, тот опыт, лишивший тебя
сладкой яростной боли от проб и ошибок.

Ты находишься там, где покой и успех,
научившись у опыта верам досужим
и уменью смиряться с отсутствием тех,
кто единственно нужен.

ССАДИНА

Ты с душою не находишь примиренья,
ты цепляешься за рваные края,
за попытки осознать себя и время
на расчерченном отрезке бытия.
Видишь солнце, но в упор не видишь света,
выворачиваешь суть наоборот
и накладываешь масло, словно вето,
на надежды зачерстневший бутерброд.
Не приученный ни к посоху, ни к кисти,
не привыкший ни к бореньям, ни к мольбе,
ты всё больше отдаляешься от истин,
изначально предназначенных тебе...
Лишь в отчаянном, болезненном ознобе,
к уговорам беззастенчиво глуха,
стоматитом воспаляется на нёбе
сардоническая ссадина стиха.

Александр ГАБРИЭЛЬ

* * *

То дозируя на вдохе воздух клейкий,
то уверовав в магический кристалл,
ты высчитывал то годы, то копейки;
часто складывал, но чаще – вычитал.
Ты ни счастлих не знавал, ни лихолетий,
ты страстями не уродовал чело
и всю жизнь ходил в спасательном жилете,
опасаясь, не случится ли чего.
Ты с надеждою не делал ставок очных,
лишь одну игру любил – наверняка,
наблюдал песчинок бег в часах песочных,
не решаясь строить замки из песка.
И не ведал ты, одолевая броды,
и сутулясь под потоками дождя,
что с небес всё видит Бог седобородый,
от бессилия руками разводя.

МИРАЖИ

Другие б, может быть, сказали: "Баста! Точка.
Пора покинуть царство сказок и былин".
А в нас стучит бессменной сотней молоточков
шалльной надежды шебутной адреналин.
В закате осени мы видим свет весны, и
упрямо гоним мысли черные взашей.
Нет, мы не то чтоб оптимисты записные –
у нас лицензия на ловлю миражей.
В нас нет наивности, достойной Паганеля.
Бывает так, что все усилия – зря,
а пресловутый мягкий свет в конце тоннеля –
порой лишь отсветы чьего-то фонаря.
О, как же просто и легко утратить веру
на этом жизненном безжизненном плато
и провалиться в вожденную пещеру,
во власть неверья ни в кого и ни во что!
Но нас, ей-богу, не для этого рожали,
мы из бродяг не превратимся в сторожей...
Сезон охоты.
Нам пора за миражами.
На этом свете жизни нет без миражей.

Александр ГАБРИЭЛЬ

ЗВУКИ

Он был старомоден. В чем-то, наверно, скучен.
В эмоциях скуп. Ни "оха" не знал, ни "аха";
но к звукам в душе хотел подобрать созвучья,
включая в такие дни Дебюсси и Баха,
и, словно по волшебству, разлетались тучи
свербящей тупой тоски, пустоты и страха.

От звуков ненужных морщился. Хлопать дверью,
кричать или бить посуду обучен не был,
зато наслаждался шорохом листьев в сквере
и там же кормил голодных пернатых хлебом.
Он в эти минуты жил. Не считал потери
и был как звенящий мост меж землей и небом.

Ночами сверчка он слушал, не зная скуки,
умел различать оттенки в пчелином гуде.
Он мог сочинить сонату – но в эти трюки
не верил совсем, не смея мечтать о чуде.
И только лишь слушал, слушал живые звуки

так жадно, как могут только слепые люди.

ЯНВАРСКИЙ СПЛИН

Простите, Эдисон (или Тесла) – я приглушаю электросвет.
Мое гнездовье – пустое кресло. По сути дела, меня здесь нет.
Деревьев мерзлых худые ребра черны под вечер, как гуталин.
Оскалясь, смотрит в глаза недобро трехглавый Цербер, январский сплин.

Из этой паузы сок не выжать. Не близок, Гамлет, мне твой вопрос.
А одиночество – способ выжить без лишней драмы и криков: "SOS!"
Чернила чая с заваркой "Lipton" – обман, как опий и мескалин...
А мысли коротки, как постскрипtum; но с ними вместе не страшен сплин,

ведь он – всего лишь фигура речи, необходимый в пути пит-стоп:
проверить двигатель, тормоз, свечи и натяженье гитарных строп.
Кому-то снится веревка с мылом и крюк, приделанный к потолку;
а мне покуда еще по силам сказать Фортуне: "Merci beaucoup!"

за то, что жизнь – как и прежде, чудо, хоть был галоп, а теперь – трусца;
за то, что взятая свыше ссуда почти оплачена до конца,
за то, что, грубо судьбу малюя – а в рисованье совсем не джуж –
совпал я с теми, кого люблю я. До нереального сходства душ.

Александр ГАБРИЭЛЬ

Еще не время итогов веских, еще не близок последний вдох.
Танцуют тени на занавесках изящный танец иных эпох.
Да будут те, кто со мною – в связке. Да сгинет недругов злая рать.

Трехглавый Цербер, мой сплин январский,
лизнет мне руку и ляжет спать.

МОЛЧАНИЕ НЕБЕС

Люби, безумствуй, пей вино под дробный хохот кастаньет,
поскольку всё разрешено, на что пока запрета нет.
Возможен сон, возможен чат, надежд затейливый улов...
Лишь небеса опять молчат и не подсказывают слов.

Они с другими говорят, другим указывают путь,
и не тебе в калашный ряд. Иди-бреди куда-нибудь,
играя в прятки в темноте с девицей ветреной – судьбой,
как до тебя играли те, кого подвел программный сбой.

Не сотвори себе Памир. Не разрази тебя гроза.
Пусть с надеждой смотрят в мир твои закрытые глаза.
Пусть тебя не пустят в рай, в места слепящей белизны –
зато тебе достались Брайль, воображение и сны.
Ты лишь поверь, что саду – цвесьть, и будь случившемуся рад.
На свете чувств, по слухам, шесть. Зачем тебе так много, брат?
Зачем же снова сгорблен ты? Зачем крадешься, аки тать?
Не так несчастливы кроты, как это принято считать.

Ведь я и сам, считай, такой, и сам нечетко вижу мир...
Пусть снизойдет на нас покой, волшебный баховский клавир,
и мы последний дантов круг пройдем вдвоем за пядью пядь.
Да, небеса молчат, но вдруг
они заговорят опять?!

ДВОЙНИКИ

Как хорошо, что ты вполне живой, что двигаешься за обозом следом. Ты как бульвар, присыпанный листвой. Ты как подарок, спрятанный под плодом. Ты в точке А. Всё там же точка Б. Мелькают дни при свете монитора. Кто виноват, что ты избрал себе замедленный режим самоповтора? Ты старше, старше, но всё так же сир и не привычен к драйву

Александр ГАБРИЭЛЬ

и форсажу. Макропулоса дивный эликсир не поступает, хоть убей, в продажу. Совсем неплохо, что не твой финал – быть радостно повешенным на рее. Да только самый серый кардинал тебя ни на оттенок не серее. Не с теми ты дружил, ласкал не ту, латал борта от перманентной течи... Но в каждом крике слышалось: "Ату!", и сразу шея втягивалась в плечи. Ты прошагал, наверно, пол-Земли, ты строился "свиньею" (в смысле, "клином"); но просто шел, куда тебя вели на поводке привычном и недлинном. Дни-близнецы, как четки, тербя, ты верен делу самоплагиата, и с преданностью смотрит на тебя твоя судьба. Ручная, как граната.

Но верить в то, что ты так страшно прост, никак нельзя. Ну разве только спяну-с. Ты флюгер, переплавленный в форпост. Двудонный чемодан. Двудонный Янус. Вы разошлись, как в море острова, как с истинною ложь, как Сена с Марной. И ты повернут профиль номер два к другой Вселенной. Перпендикулярной.

А там ты – шаловливый шевалье, знакомый и с веселием, и с гневом. Тяжелые жемчужные колье ты возвращаешь праздным королевам. Штурмуешь то Монблан, то Эверест, склоняешь недоступных к поцелую и никогда не движешься в объезд, когда добраться можно напрямую. Ты Одиссей. Ты повсеместно зван. И плачет Пенелопа на Итаке, когда ты разрезаешь автобан на гоночном могучем "Кавасаки". Неповторим ты в выраженье чувств, наград и восхищения достоин: не только весельчак и златоуст, но и к тому ж неустрашимый воин. Твой теплый хрипловатый баритон не разольется в рефлексивном стоне... А снизу смотрит офисный планктон, завидуя при этом по-планктоньи. Не с ним ты от восьми и до шести, не с ним ты накатить готов по двести, ведь у тебя по-прежнему в чести дворянские понятия о чести. Сражаешься, смеешься на пиру, у дамы просишь искренне прощенья... И жизнь свою листаешь поутру... В который раз. Без тени отвращенья.

Живут в одном плену герой и лох, с одною кровью и с одною кожей. Гибрид из них двоих не так и плох, вот только, к сожаленью, невозможен. Им поздно драться за любую пядь с упрямством театрального паяца: один из них обязан побеждать, другой из них обязан покоряться. И вроде бы простой расклад таков, и вроде здесь не надобен оракул: у шевалье должен быть сто очков, зато у оппонента – кот заплакал. Да вот – увь... И всё наоборот. От логики остались только крохи...

И в битве двойников сильнее тот, кто лучше соответствует эпохе.

Сергей ЯРОВОЙ

ГОРОДУ

В этом городе мы растворились с тобой
Средь кафе, ресторанов, прохожих, платанов,
Средь туристской толпы, муравьиной гурьбой
Потеснившей Сите, запрудившей фонтаны.

Нас Монмартр распылил стайкой белых цветов
В виде маленьких, хрупких февральских «ромашек»,
Нам на души набросив туманный покров,
Жизнь слагать приучил из богемных замашек.

Этот город впитал нас, вмстив в Монсурри,
В планировку английских ухоженных парков,
В Люксембургском саду, и в саду Тюильри
Наши тени пришили сосновой булавкой.

Этот город в плену вас оставит навек,
Приковав кандалами к Вандомской колонне,
И ни Бог, ни король, ни родной человек
Не сотрет его линий на наших ладонях.

Мостовые квартала Латинского нам
Время жизни своей возвращают сторицей,
Мы хмельные плывем по бордосским волнам,
Кабернеет. Всплывают знакомые лица...

15 октября 2004 г.

* * *

В гравюрах Дюрера ночами ты снишься мне,
Ты, зябко поведя плечами, бредешь во сне.
Бредешь и бредишь, сквозь болота, леса, туман.
В бреду проскальзывают ноты, соль дальних стран,

В них облака, сгущаясь, виснут. Топь – киселем.
Там обрывается отчизна, где мы – вдвоем,
Там злом распахнутые ставни страшной вдвойне,
Наш бред, усугубленный явью, увяз во сне.

Безумная ночная птица... Тень в тишине.
Ты спишь, и это тебе снится: ты снишься мне.

22-23 октября 2004 г.

Сергей ЯРОВОЙ

* * *

Возвышенным сонетом сделай жизнь,
Отточенным творением поэта,
В ненастье, в счастье ль – равно дорожи
Весны катреном и зимы терцетом.

Познав гармонию небесных сфер любви,
Исчислив алгеброй пропорций совершенство,
Ты истинной любовью назови
Страданья сплав с восторженным блаженством.

Будь всё и вся, будь мудр и весел ты,
И, наконец, пред ликом пустоты,
Омытая слезою вешних гроз,

Росой кровавой, под шипами роз
Рожденной, упадет душа, чиста,
В разверстые объятия креста.

17 марта 2005 г.

* * *

Храм, призраком возведенный в пустыне,
Пристанищем спасительным нам стал,
Наставника его увидеть ныне
Дано лишь сквозь магический кристалл.

Что заслужил он, одинокий воин
Храня сии священные места?
Был рыцарь за заслуги удостоен
Роз терниев и бархата креста.

Возделывая Храм, подобно саду,
И день, и ночь, не покладая рук,
Вселенную он получил в награду:

Тягучий вечный сон, в котором птицы
Чрез пентаграмму, вписанную в круг,
Несут погибель Зверю и Столице.

21 марта 2005 г.

Сергей ЯРОВОЙ

* * *

Так рвутся дни на лоскутья мгновений,
И полночь мнится серединой дня,
Так с холодом ночных прикосновений
Смешался пепел мертвого огня.

Воображение сигает дальше зренья,
За иероглифом угадывая кровь,
Прозренья отделяя от презренья,
И ад из них замешивая вновь.

Сочится отравительная немочь,
Не тысячи ли это мертвых лун
Как из могил, настойчиво и немо
К нам тянут лапы из слепых лакун,

Из снов, где, вспугнутые выводком мышат,
Песчинки времени встревожено шуршат.

27 июня 2005 г.

* * *

Нет, ты не понимаешь. Я – бессмертен.
Я врос в тысячелетия Китая.
Я – основание искусства каллиграфа.
Я – обезглавленный в Пикардии Сент-Квентин.
Ионою прошел нутро кита я.
И не было изящней в мире графа,

Чем я. Я отдал каждому столетью
Себя всего, бессмертье стало былью:
Я – бытность и развалины Помпеи,
Я – лошадь, истязаемая плетью,
Кровь, придорожной впитанная пылью,
Тень шудры в душном мареве Бомбея.

Я первым стал в истории поэтом,
Качая на руках прачеловека,
И что мне ваш Гомер и ваш Вергилий?!
Сирены ветренные пели мне дуэтом.
Я – хмель пчелы, отравленной от века
Тяжелым ароматом диких лилий.

Сергей ЯРОВОЙ

Я многократно эхом гор умножен,
Неотличим от горного тумана.
Я – отраженный в росах день Вселенной.
Я – тонкий меч, струящийся из ножен,
В горах Китая вскрик печальный обезьяны.
Я золотую нитью драгоценной

В ковер судеб вплетен был Абсолютом.
Мой жизни путь был в небесах начертан
Я – светоч, освещающий Дорогу
Большого Взрыва праздничным салютом.
Теперь ты понимаешь? Я – бессмертен.
И все мы изначально равны Богу.
22 октября 2005 г.

* * *

Ирине Сергеевне Белецкой

С ветвей срывались ворохи миров –
С орбит рвались скопления галактик,
Упрятывая в шепчущий покров
Приверженцев духовных тайных практик.

Тончала нить, и нисходил покой,
Мозаика пространство укрывала,
И откликалась вековой тоской
Душа, исполненная вечного начала.

Мир соткан из случайных пестрых снов,
Проявленных в великом афоризме,
Из дивных снов, бессмысленных, как слов,
Произнесенных не в своей отчизне.

Нас множество, бесчисленных миров,
Соединенных тонкой нитью жизни.
5 ноября и 9 декабря 2005 г.

Филипп БЕРМАН

РЫЖИЕ СКРИПКИ

Асе

Были руки без звука
И глаза из разлуки
И дрожащие плечи
Как дрожащие свечи

И темнели пролеты
Белых лестниц разлеты
И глазные овалы
Луговые провалы

Только рыжие скрипки
О весне всем кричали
И зеленое солнце
Тихо в небе качалось

И у нас под ногами
Как по серому скальпу
Зеленела травинка
Над умершим асфальтом

Зеленела рождалась
у нагретого камня
И неслышно стонала
И неслышно дрожала

От весны и от скрипок
И от желтых разлетов
От весеннего крика
От глазных поворотов

А потом стало тихо
Только губы обмялись
И зеленое солнце
Тихо в небе качалось

И травинка под нами
Шевелила губами

Филипп БЕРМАН

И неслышно стонала
И неслышно дрожала

От весны и от скрипок
И от желтых разлетов
От весеннего крика
От глазных поворотов

Только рыжие скрипки
О весне всем кричали
И зеленое солнце
Тихо в небе стояло

* * *

Асе

Мне кажется, что я бегу по молодому лесу
Лес это ты
И я живу в лесу
Я прибежал к березе к молодой березе
Ты помнишь ведь была береза
И выпитый овальный туесок березового сока
И был зеленый луг и новая береза из леса
И влажная земля под тяжестью листа
Без веса

И я бегу легко, я чист перед тобой, по лесу
Оставим прошлое при входе в новый лес
И вынесем хлысты подрезанных стволов
Чтобы зажил надрез
И снова, уж в который раз,
Мне кажется, что я бегу по молодому лесу
Лес это ты и я живу в тебе

Среди ветвей
И неба и земли
Тебя встречаю исчезая,
Как плоть земли и вес листа
Мы замечаем и не знаем

Филипп БЕРМАН

* * *

Игорю Михалевичу-Каплану

Гитарный звук,
Разорвана струна.
Разбилась ртуть.
Нет, не струна,
Свербящая тоска,
России путь.
Нет, не тоска,
А в срубе вековом
Он брагу пьёт.
Нет, не мужик,
Упавшая сосна,
Ветвями льнет.
Нет, не сосна,
Электроснег
Глаза нам жжёт.
Нет, то не снег,
А вихря стон
В степях идёт.
Нет, то не стон,
А Русь, а Русь,
Мессию ждёт.

* * *

А по утрам
Когда придёт ответ
Я встану рано
Помолиться Богу
Возьму немного хлеба на дорогу
И вдаль уйду
Встречать Его рассвет

Лиана АЛАВЕРДОВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО ДЯДИ СОЛОМОНА

*«О Господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...»*

Ф.Тютчев

1

Как рада, что тебя я повидала
по бытовому поводу, поскольку
нет времени на званые обеды –
и я зашла в июльскую жару.

Мы говорили о литературе,
и ты, поклонник золотого века,
сказал, что век серебряный не ценишь.
О дочери твоей зашла беседа,
о внуках... Я письмо переводила
с английского на русский, а часы
торжественно обозначали время
знакомым звоном. Слушать скрипача
меня ты звал остаться. «К сожаленью,
бежать мне надо». Не до Перельмана!
Как рада, что тебя я повидала
в последний раз...

2

В день траурный, в день разрушенья храма,
в треклятый день для каждого еврея,
царапающий сердце нам осколком
погромной ночи, кончиком пера
писавшего указ невероятный
кичливого испанца Фердинанда,
когда Ерушалаим был распахан
и Англию покинул иудей,
в тот день, когда положено поститься
и горевать, к воде не прикасаясь,
мой дядя-атеист пошел на берег.
Тогда-то Ангел Смерти рассердился.
Он глянул взором гибельным так близко
распахнутых невыносимых глаз,
что сердце страхом пониманья сжалось
и замерло...

28 июля 2004 г.

Лиана АЛАВЕРДОВА

* * *

С. Д.

1

Смятенная душа, трагическая доля,
твои загадки больно и некому решать.
В саду, где птичий свист корит меня невольно,
я в думах о тебе опять, опять, опять...

Мы в бруклинском саду, как два листа, кружили.
Твой длинный монолог сводил меня с ума.
Дурманило и жгло июльское ярило,
но холодит ноябрь: идет-грядет зима.

Смятенная душа в ореховой скорлупке
дьюймовочкой плывет. Далекий, странный путь!
А я на берегу с тобой прощаюсь, хрупкой.
Кольчуга правоты мне сдавливает грудь.

2

Белочка по листьям прошуршала.
В сердце царапается жалость.
То отдыхая, то наступая
Нечто во мне трудится, не уставая.
Иногда, как будто и не бывало –
вымерло, корова языком слизала.

Иногда же в виски стучится громко
голосом плачущего ребенка.
Это загадочное нечто,
которое, хочется верить, вечно...

3

растерялась ты растерялась
девочка моя какая жалость
тебе бы мир познавать порхая
а ты вот растерялась смешная такая
у тебя челка словно у пони
прохладны узкие твои ладони
волосы у тебя в мелких колечках
девочка моя мое сердечко

Лиана АЛАВЕРДОВА

муж твой никак не постигнет нечуткий
что ты за птица но точно не утка
ни яиц ни пуха не поживиться
возможно колибри мелкая птица
ты не выносишь рутины и быта
и к большому счастью не знакома с артритом
без усталости могла бы летать и кружиться
птица колибри мелкая птица
но тебя отгоняют зачем ты не знаешь
вот ты и растерялась смешная
не вписаны ни в какие реестры
грустная виолончель без оркестра
ни туда ни сюда с боку припеку
девочка моя как одиноко

5 октября 2006

* * *

О невыразимом и невыносимом
не пишут насильно.
И только когда – переполнено блюдо –
слова изольются,
тогда лишь за кисти берется художник,
презрев невозможность
творенье создать, адекватное чувствам.
Отсюда – искусство.

30-31 декабря 2005г.

* * *

Осенняя роза
дрожит на кусте.
Мерзнет, бедняжка...

* * *

Телефонная трубка лежит на боку,
как раненая в живот.
Холодными пальцами тронуло плечо
одинокчество.

Лиана АЛАВЕРДОВА

* * *

Шершавые руки,
дежурные фразы,
невзрачность знакомства.
А в сердце – ни стука,
и глухо – ни разу
не булькнет в колодце.

Как было предвидеть
в блаженном покое
в полуденной гамме,
что скоро начнется такое, такое,
короче – цунами.

Февраль 2006

* * *

С болью, с кровью отрываю
Дружб искусственных присоски:
От участия лицемеров
Избавляются непросто.

Любопытство принимала
За сочувствие к себе я.
Но теперь я цену знаю
Их словам: мели – Емеля.

И, слезами заполняя
Трещины в былых пристрастьях,
Дружб я новых опасуюсь,
Как возможного несчастья.

* * *

Илья-пророк, Илья-пророк,
а ну переступи порог,
в пасхальный день приди!
Поведай нам, Илья-пророк,
что ждет нас впереди.
Молчит тяжелое вино,
достоинство храня.
Относит ветер на Восток
Молитву для тебя...

Елена ЛИТИНСКАЯ

ПРОЩАЛЬНАЯ ГРОЗА

Осенняя прощальная гроза
ветрами, как волками, завывает.
И ветками опавшими стучит
по беззащитной хрупкости окон.
А я, любимый мой, твои глаза
и руки постепенно забываю.
Крещением в сентябрьской ночи
омытая, распалась связь времен.

Осенняя прощальная гроза
дарует долгожданную прохладу.
Крылатою судьбою залетит
в гостиную сквозь битое стекло.
И буреломной ярости, что за
окном, я, проливая слезы, рада.
Прости меня и просто отпусти
из ночи в день. Светает... Рассвело.

ПАМЯТИ Л.Л.

Был полон зал. Читала я стихи.
Вдруг ты впорхнула яркой птицей белой.
Умолкла я, споткнувшись о стихий-
ность твоего прилета. Не сумела б

я так по-королевски опоздать.
Букет цветов как дар и искупленье
греха. «Привет, подруга!» Жест и стать
кинозвезды. На миг мой зал – твой пленник.

Не знали мы, что был прощальным взмах
крыла. Ты жить умела и любила!
Улыбками стреляла, а сама
уже навеки в мыслях уходила.

Елена ЛИТИНСКАЯ

НОЧНАЯ МЕТЕЛЬ

Снег упрямо валит и валит
с необъятного черного неба.
Всё прошло. Ни морщины гнева.
Я – спокойствие каменных плит.
Я устала искать черепки
на раскопках нашего детства.
Снег идет. И некуда деться
от щемящей снежной тоски.
Стихи, вьюга, замри, приглуши
свой невидимый адский оркестр.
И печаль мою болью не пестуй,
и светилам мерцать разреши.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Включаю компьютер. Уже почти
набрала адрес твоей электронной почты...
Прошу тебя, скорее прочти
мыслей моих дистанционный почерк.
www.небеса, точка.

Напиши сам пару избитых фраз...
Поздравь меня, ну хоть с Новым годом!
Сколько прошло лунных фаз
с тех пор, как ты получил свободу
и концы – в землю, не в воду?

Пришлось мне отказаться от прав
на твою заблудшую душу.
Он смертью смерть поправ,
а ты – жизнью жизнь разрушил.
Вокруг меня голоса всё глуше.
Спряталась от мира куколкой в кокон,
но бабочкой, видно, уже не взлетела б.
Как вернуть мне то лето в Поконо,
жаркое температурой твоего тела?

В окне на голубом листе вот оно –
письмо от тебя – облаков мелом...

Елена ЛИТИНСКАЯ

СТАРЫЙ ДОМ

Вот дом, который построил Джек...
Р. Бернс

Вот дом, в котором мы жили тогда.
Отдаю себя бывшему в дань я.
Мой рай потерянный, моя звезда,
безымянная в мирозданье.

А вот подъезд. За десятки лет
перевидал немало ног он.
Третий этаж. Чужой свет
уютом дразнит из моих окон.

А вот skylight, откуда Бог
завидовал нашей любви безбожно.
Зависть – смертный грех и порок.
Он – Всевышний. Ему можно.

А вот задний двор, где ты привечал
гостей пивком и гитарной дрожью.
Одни прочный нашли причал.
Других уж нет, и тебя тоже.

А я осталась. Живу пока,
urbi et orbi малознакома.
И гонит, гонит меня тоска
в зыбкое прошлое к старому дому.

* * *

В сентябре не цветут одуванчики.
Ну, а этот, какой-то чудной.
В ярко желтом стоит сарафанчике,
перепутав сентябрь с весной.

Я и он позабыли о времени.
И дана нам великая власть
возвратиться в апрель. Только демоны
из-за туч усмеваются всласть...

Елена ЛИТИНСКАЯ

СВЕТОТЕНИ ДУШИ

Много лет прошло. Только память
грузом времени не сокрушить.
Я израненными стопами
в лабиринте твоей души

все блуждаю. Менял ты личину
маскаратно – то ангел, то бес –
в очередности беспричинной
мизансцен, монологов без.

Божий промысел: ада иль рая
удостоить двуликую жизнь.
На картине былого играют
Светотени твоей души.

РАССВЕТ

Чуть слышны чашек голоса.
Рассвет, как паутинка, тонок.
И солнце – ласковый ребенок –
На мир из облаков-пеленок
Таращит желтые глаза.

Касаньем легким холодит
ступни песок, остывший за ночь.
Стальной красавец Верразано
меж берегов завис тарзанно.
За горизонт ушли дожди.

Вчерашнего костра зола –
пикник, размытый океаном.
«Две тысячи десятый *аппо*».
Звучит значительно и странно.
Кто б мог подумать! Дожила.

Бреду вдоль берега. Волна
игриво дразнит. Вспоминаю
прогулки в том далеком мае.
Своею волею Даная
в минувшее заточена...

Ирина АКС

* * *

Кто беспечен, кто осторожен –
всем Фортуна цену завесит.
Верен выбор твой или ложен –
не влияет и не зависит...

Знай: замки не спасут от вора,
ключ – примета смешных традиций,
а дырявый ящик Пандоры
запирать – только зря трудиться.

* * *

Ну да, всё нормально, и возраст – не в счет,
я вроде пока не на том рубеже,
но все мои плюсы – со словом «еще»,
а все недостатки – со словом «уже».

Еще мне семь верст, как и прежде, не крюк,
и ночь мне покуда отраднее дня,
но выросли дети вчерашних подруг,
и все они батей зовут не меня...

Пока не успел растолстеть-облысеть,
покуда не выдуло дурь из башки,
но первых морщин понатянута сеть,
и я уже вряд ли рвану за флажки.

Увы, благородный налет серебра
облез, как с прабабкиных вилок «фраже»...
еще я почти что такой, как вчера,
но завтра, похоже, я буду «уже»...

Ирина АКС

ЭПИЛОГ

А однажды ранней весной Белый Лебедь вернулся туда,
где покосились курятники на берегу пруда
и пронзительно зеленели крапива и лебеда.

Его не сразу, но вспомнили на родном его птичьем дворе
и старый кот у забора, и старый пес в конуре.

Сестры-утки и братья-селезни отворачивались, ворча:
«Уродец-то наш отъелся на заморских харчах!»
Потом спросили: «Ну что, от тоски по дому зачах?»

Ты там одичал изрядно и набрался дурных манер!
А мы тут неплохо устроены, каждый – на свой манер.
Вот мама-утка, к примеру, минувшей зимой была
главным украшением рождественского стола!»

Он взлетел.
Немного помедлил, над отчим домом паря,
выдохнул полной грудью сладкий воздух родных широт
и успел напоследок услышать: «Смотрите-смотрите! Кря-кря!
Там, высоко в поднебесье –
это что еще
за урод?»

* * *

...а поди ты знай, как всё оно было,
кто чей ученик, кто чей сын...
Да, там были веревки – но не было мыла
и совсем не росло осин.

А кривая судьбы стремится в пределе –
к чему? Но речь не о том...
И что с нами было на самом деле –
тоже вряд ли спросят потом.

Ирина АКС

А КОРОЛЬ-ТО...

А что в Королевстве? На том же параде
король выступает всё в том же наряде.

Всё, в целом, обычно: ведь долгие годы
костюм короля не выходит из моды.

Успело привыкнуть уже население:
любуются в пятом, поди, поколенье

всё тем же костюмом на том же параде...
Сменился король – но менять не пора-де

наряд: в королевстве традиции крепки,
гордятся потомки, как некогда предки –

а впрочем, возможно, уже не гордятся,
но, как ни крути, в бунтари не годятся.

Соседи с советами лезут – а на-ко,
мол, выкуси! Все ж попривыкли, однако,

и всем надоела костюмная тема:
ну да, ну обычай, такая система...

Лишь умные мальчики, праздничным строем
идущие вместе в колонне по трое

скандируют хором, и слышится где-то:
«Король-то – одетый! Король-то – одетый!»

Виктор КАГАН

ГДЕ СЛЕПОЙ – ПОВОДЫРЬ У СЛЕПОГО

* * *

Стынет точка, что сказке и книжке конец,
в белизне без конца и без края,
и обложка, и крышка, и делу венец,
и на веки ложится, не тая,
эта боль, эта блажь, этот жизни каприз,
эта соль на губах – привкус слова,
эта оторопь неба, глядящего вниз,
где слепой – поводырь у слепого.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЕТЛАГА

В поисках рифмы к грядущей беде,
в гонке за ритмом охрипшего мира
плавает небо в слоистой воде
под неусыпным зрачком конвоира.

Черной дырою зияет зрачок,
стынет на мушке чудной светлячок.
Спи, моя радость, ложись на бочок.
Лучшая песня в мире – молчок.

Сеткой дождей огороженный рай.
Кладкой кирпичной – умные книжки.
Стрелкой по кругу часов – вертухай
на циферблате повешенной вышки.

Крутится шарик – конвойный волчок,
ковшик небесный похож на крючок.
Спи, моя радость, ложись на бочок.
Лучшая песня в мире – молчок.

Спи, моя радость, да будет покой
в снах твоих тепл, словно слезная влага,
словно тебя я касаюсь рукой
сквозь государственный гимн ГУЛАГа.

Виктор КАГАН

* * *

И какой бы октябрь ни пылал на дворе
в заплутавшей навеки отчизне,
эта муха во льду и жучок в янтаре –
как в слезе отражение жизни,

словно я по господней небритой щеке
вместе с шаром земным утекаю,
в нем лежу без забот, без сует, налегке,
душу в небе свою окликаю.

Собирает пыльцу ледяную пчела
и не надо уже ни двора, ни кола,
чтобы в них хлопоча раствориться.
Лишь гудят растревоженно колокола
и бездонная сфера кромешно светла,
и заплакать, и снова родиться.

* * *

На питерских промозглых сквознях,
где за проходим крался в штатском страхе
или прохожий крался мимо страха,
пытаясь ускользнуть от сглаза глаз,
в лопатки влипших, словно в диабаз
дождем с окна снесенная рубаха,

шатаюсь, натянув кепарь на нос
и задавая сам себе вопрос:
«Неужто всё на самом деле было?»
А сбоку голос говорит: «Дурак!
Ах, если б это было только так,
как знаешь ты ... И небо здесь – могила».

И просыпаюсь, господи, в поту:
когда мы заступили за черту,
из-за которой не найти возврата,
где брат на брата, сам против себя,
где убиваешь, истово любя,
и где вина ни в чем не виновата?

Виктор КАГАН

А сверху голос: «Не кричи во сне».
И медный Петр на бронзовом коне
взлетит меня к Неве, и там с размаху
лицом пробью свинцовую волну
и уплыву к зияющему дну
башку без страха положить на плаху

и спать без снов до самого утра,
когда наступит на глаза вчера
и свистнет рак, и замолчит кукушка,
и колокол замечется в тиши
витающей в четвертом сне души,
что телу еще верная подружка.

ПАМЯТИ ДМИРИЯ ГОРЧЕВА

этот год и весной утопал в снегу
так что хрен разберешь где холм где овраг
и в сугробах по самое не могу
на гармошке наяривал песни дурак

колобок катился наперекосяк
и зане его на коне не догнать
и цыганка-звезда подавала знак
ошалевшей стране не желавшей знать

и пока мудрецы чесали яйцо
и с пикейных жилетов перхоть трясли
наши мальчишки утром лицом в крыльцо
посреди миров на краю земли

хлопья снега слетают с лысых осин
дрыхнет поп что с воскресной обедни пьян
и еще не проснулись жена и сын
и не просит пожрать собака степан

а душа уже в гости к богу бредет
по снежку босиком свободно дыша
а по делу-то мой не его черед
да не слышит бог меня ни шиша

Виктор КАГАН

* * *

Артуру Кальмейеру

И лет пройдет сто или двести,
продрогший, вымокший насквозь –
с тобой посмертно буду вместе
и в жизни этой смертной – врозь.
Так семью восемь – сорок восемь
всему на свете вопреки.
Так у того о жизни просим,
кто наши сдал в утиль коньки.
Все эти корневые связи,
галдящие сквозь боль души,
как князи, прорастут из грязи –
кошмарны, чем и хороши.

* * *

Возьми да и нарушь условия игры...

Е. Витковский

И неба июньского мякоть,
и марево свежей листвы,
и вздох меж *смеяться* и *плакать*
в тиши заполошной Москвы.

То густо, то пусто – до хруста,
до тонкого звона в ушах.
И что ему ложе Прокруста,
когда до небес только шаг –

лишь руку протянет, и слово
откроется в той простоте,
с которой глубины былого
прильнули к живой высоте.

Он трепет почувствует лески,
и – еже писах, то писах –
светло улыбнется по-детски
с недетской тоскою в глазах.

2009-2011

Рудольф ФУРМАН

* * *

Осень. Понедельник, вторник, среда...
Обстоятельств тянущаяся череда
кажется неодолимой...

В голову лезет какая-то ерунда,
от которой не останется и следа,
а время в это время проходит мимо.

И оно, возможно, и знать не знает,
что в счет моей жизни не попадает,
потому что бесцветным дням не веду счета...

Но впереди четверг, пятница и суббота...
и надежда, что не будет безвременья пытка,
а запомнятся чьи-то глаза, улыбка,
письмо, одинокое дерево, рукопожатие, слово,
которое, говорят мудрецы, – всему основа.

А в воскресенье... воскресение не состоится,
если от быта привычного не отключиться,
не посетит наитие, не смогу подвести итог,
а буду смотреть, как в небе осеннем летают птицы
и как умирают листья, ложась, как шенки, у ног.

* * *

Не говори о времени. Пока
ты говоришь – оно уже другое,
оно вошло в другие берега
и в них течет, и говорить – пустое,
и ни к чему усталые слова,
они – как отгоревшая листва,
как медяки, от времени затерты,
а новых нет, они еще в аорте,
кипят, но тотчас вырвутся на свет,
когда придет их срок, но лучше всё же,
не торопясь, осмыслить и понять,
что времени должны мы возвращать,
и чем оно обязано нам тоже.

Рудольф ФУРМАН

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

А будет когда-то последняя осень,
я буду печален и, может, несносен,
пытаясь волнение унять.
Пейзаж ее будет, как прежде, роскошен,
а я, этой жизнью изрядно изношен,
привыкший за годы – терять.

Ни холодно в городе будет, ни жарко,
пройду по аллеям промокшего парка,
опавшей листвой прошуршу,
а лучшего мне и не надо подарка,
чем воздухом этим, густым, как заварка,
я вдоволь еще подышу.

Прощание будет у нас молчаливым,
без слов я скажу, что всегда был счастливым,
когда приходила она
в мой город, где с каждым ее появлением
стихами я жил и ее вдохновением,
и грустью, что черпал до дна.

Борис ЮДИН

БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.

Б. Ахмадулина

Что дождь?

Дождь падал на колени
В тугие блюдечки ладош.
И мокрым лепетал сиреням:
"Ты из другого измеренья.
А здесь по случаю живешь..."

А то, что пахнут розмарином
Произносимые слова,
И то, что шея лебедина –
Так в том метафоры повинны,
Как признак иночества.

Он, все приметы обесценив,
То ускользал в притихший зал,
То приставал к тебе на сцене –
Крылом шуршащим прирастал.

И было больно, страшно, странно
Узнать, пролившись на паркет,
Что дали занавес так рано
И в зале погасили свет.

* * *

Когда нас по свету носило,
Была страшна и велика
Центростремительная сила
И центробежная тоска.

Вскипали на шоссе гудроны,
Ломались мачты каравелл,
По швам трещали все законы
Перемещенья твердых тел.

Обескуражен и запутан,
В пространстве инобытия
Чесал потылицу сэр Ньютон,
Гнилое яблоко жуя.

Борис ЮДИН

* * *

Увидеть Париж и умереть!
И. Эренбург

Пусть вывозит кривая! Ведь, я доверяю кривым.
По прямой только – с горки на санках и в шапке-ушанке.
Хорошо бы увидеть Париж, и остаться живым,
И в пивных "залить" о несчастной любви к парижанке.

Дескать, дым сигарет, винегрет, триолет, флешолет...
Как она ворковала: "Бонжур", заедая коньяк круассаном!
И ушла в никуда, то ли в сон, то ли в ранний рассвет,
Словно Кукин, однажды ушедший в тайгу за туманом.

Буду пить, буду врать, сочиняя закат и восход,
И блевать в туалете под вечер прокисшим салатом.
А кривая везет, сивый мерин восторженно ржет,
Уплывает Париж в облака разноцветным фрегатом.

ЗА ПОЛВЕКА ДО...

Мелкий дождь моросит, и осклизли суставы моста,
Как окурки в жестянке от шпрот. Начинается осень.
На пластинке виниловой цифрами – возраст Христа:
Тридцать три оборота. Всё ж лучше, чем семьдесят восемь.

Тридцать три фуэтэ – в них пуанты пылают огнем!
Оборот – и шуруп проникает в дощатое девство.
– Ставь пластинку, – ворчит радиола, – Налей и бухнем,
Чтоб потребность в игре породила игру в непотребство.

Жизнь плоска, но зато многогранен обычный стакан.
Сколько блеска в его содержании и позитива!
Фуга Баха становится фигой и лезет в карман,
Чтоб оттуда бесстрашно показывать нам перспективу.

Тридцать три оборота судьбы – на потом, на потом, на потом...
Пусть игла из корунда скользит по виниловой плоти,
Чтоб от звуков органа вибрировал сталинский дом
И толпа электронов рождала любовь в электроде.

Клавдия РОТМАНОВА

* * *

«Человек человеку – Никто!» –
Бормочу, завернувшись в пальто,
«Коль – Никто, так ничем не обязан», –
Так мне шепчет услужливый разум.

Нахлобучу беретик поглубже.
Свет реклам отражается в лужах.
Впереди – ни еды, ни ночлега.
Есть лишь страсть, ощущение побега...

Это в нынешней жизни? Или
Где-то в прошлой?
Меня позабыли,
А вернувшись, уже не нашли.

Лишь колеса грохочут вдали.
Я сбежала на стыке времен
И пространства...
Не надо имен!

1980-2011

Клавдия РОТМАНОВА

ТЕЛЕСЮЖЕТ

Подружка-красотка,
Холодная водка
И полный приятелей дом!
А что с нами будет,
Когда нас разбудят?
Мы это увидим потом.

Красавицы нету.
Стальные браслеты
У нас на запястьях сошлись.
Ведь мы персонажи
Дешевенькой лажи...
Эй ты, сценарист, отзовись!

А что с нами будет,
Когда нас осудят –
Неужто спасения нет?
Здесь дело нечисто –
Давай сценариста,
Пускай перепишет сюжет!

ХАНДРА

Воспоминанья – или наваждение,
Которое придумала сама?
Тогда со мной была моя сума,
А впереди маячила тюрьма.
Но я там не была. А в подтверждение
Того, что живы, те, кто были там,
Мне письма присылали временами.
И то тепло, что было между нами,
Светило из тетрадного листа.
А здесь вдали не пишется, не дышится.
И новые стихи друзей – упрек,
Что мной опять не выполнен урок.
Я в алфавите, словно буква ижица,
Которая наборщику – не впрок.

Клавдия РОТМАНОВА

* * *

Под проливным немислимым дождем
Мы в поисках тепла нашли друг друга...
Уже неважно, что нас ждет потом –
Я все приму, но только не разлуку!

Пускай всё – поздно!.. Но тем слаще вкус
Любви, надежды, озорства и страсти.
И я тебе еще не раз приснюсь
Азартной королевой странной масти.

И кто б сказал, что будет полный стол,
Что гости к нам с тобой придут на свадьбу,
Когда июньский дождь с небес сошел?!
Ведь мыслилось: «Его нам – переждать бы!»

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Я знала: взлететь бы надо!
Да не распахнуть крыла!
Небо к земле прижато.
Олово, нежить, мгла.

Время остановилось.
Замерли в горле слова...
Тихо в дупло забились
Маленькая сова.

17 марта 2011г.

Люба ФЕЛЬДШЕР

* * *

Totusi este trist în lume!

М. Эминеску. "Floare albastra" ("Синий цветок")

Цвет небесный, синий цвет
Славил не один поэт.

Синеву иных начал
Эминеску воспевал.

У любви короткий срок, –
Говорит его цветок –

То ли василек Шагала,
То ли просто василек.

Всё еще приносят боль
Эти строчки про любовь.

"Грустно жить на этом свете", –
Повторяю вновь и вновь.

Надо сборник тот найти,
Чтобы дух перевести,

В прошлое на миг вернуться...
В настоящее уйти.

Люба ФЕЛЬДШЕР

ЦЫГАНЕ

Цыгане у вокзала жили,
На узкой улочке одной.
Их почему-то не любили
И обходили стороной.

Мы часто, не спросив у взрослых,
Играть ходили у домов
Приземистых и низкорослых, –
Как будто из других миров.

Не возвращаются в начало,
Когда еще далек конец.
Цыгане жили у вокзала:
Сапожник, ювелир, кузнец...

Они раскрасили картинки
Моих далеких детских лет,
Еще до Пушкина, до Глинки,
До мнимых и реальных бед.

ОБЛАКА

У хрупких душ повадки облаков –
То ливнем брызнут,
То ударят градом.
Поверьте им,
Побудьте с ними рядом –
Не бойтесь этих призрачных оков.
О сильном, не умеющем рыдать,
О слабом, не скрывающем рыдания,
Я стану думать – словно выбирать
Дано мне, бесконечно выбирать,
Пока не остановится дыханье.

Люба ФЕЛЬДШЕР

ТАНГО

На пышной еврейской свадьбе
Мы с папой танцуем танго.
И у меня получается
Не хуже, чем у других!
Гости за стол садятся.
Нас пригласили случайно.
Невеста ярко накрашена,
И полноват жених.
Где это было? Кажется,
В городе моего детства,
Или позднее, в юности,
Когда я в Москве жила.
Впрочем, какая разница...
Танго – мое наследство,
И я танцевала на свадьбе
Старательно – как могла.
Если мне станет грустно,
Вспомню далекий вечер.
Гости кричали "Горько!"
Кто-то посуду бил.
Только теперь я знаю,
Что на всем этом свете
Меня, как мама и папа,
Никто никогда не любил.

* * *

Дворы, дворы...
Какая разница –
В одной стране или в другой!
В них вечное вершится празднество
Под солнцем или под луной.
Валяется посуда битая.
Белье трепещет на ветру.
И кукла – старая, забытая,
Ждет, что возьмут ее в игру.
Сверну в проулок с людной площади,
Увижу ветки и забор.
И с умилением, как в прошлое,
Вернусь к себе – войду во двор.

Люба ФЕЛЬДШЕР

* * *

Кристаллинская снова поет,
Старомодно и сентиментально,
О дожде, о молчанье печальном
И о счастье, что ждет у ворот.
Было детство, и пела она
То же самое, только когда-то.
Забываются лица и даты,
Ну а песни – на все времена.
Спрячу диск. Не хочу беречь
Постаревшие сердце и душу.
Только голоса не заглушить –
Он звучит, даже если не слушать.

* * *

Жизнь Арсеньева – книга книг,
Одинокой души отрада,
Унимающий боль родник
В глубине осеннего сада.

Закоулки женской души,
Роковая природа грусти –
Я читала о них в тиши
Опостылевшего захолустья.

Жизнь Арсеньева, жизнь моя...
Я уехала, и не знаю,
Как весной зеленеет земля
У заброшенного сарая...

Что дано – совершилось в срок.
Тонкий лед забвения тает.
Бунин тоже был одинок,
Только это не утешает.

Евгений МИНИН

ИНТИФАДА

Мальчик,
нацеливший камень в меня,
мальчик,
 в ответ ожидающий пулю,
думаешь,
я промахнусь – нет уж, дулю!
То, что я плохо стреляю – брехня.
Будет реветь амбуланс вдалеке,
станешь героем лихих телекамер,
будут снимать,
 как неловко ты замер,
на окровавленном желтом песке.
С жадной меня разодрать на клочки,
ненависть снимется
 в ракурсах ближних,
с горем о том,
 что со свистом булыжник
не угодил мне в лицо, под очки.
Буду смотреть я на всё в полусне,
страшный пейзаж
 сумасшедшего века,
это не просто – убить человека,
пусть даже трижды опасен он мне.
Как возвратиться к стихам на столе,
пусть – невиновен,
 никем не допрошен...
Мальчик,
 опомнись!
 Пока что не брошен
камень...
И пуля еще не в стволе!

Евгений МИНИН

У ВРАЧА

Что наше сердце, друг, – беспомощная мышца,
Сам черт не разберет, как лечится она.
Не разорвать ей круг, чем издавна томишься,
И не нащупать брод – там, где не видно дна...
Приподнимает жизнь таинственный свой полог,
Сердечко-то она вручила напрокат.
И смотрит на меня печально кардиолог,
А я гляжу в окно, где плавится закат.

* * *

Снова день с таблетки я начну –
может – с белой, или той – зеленой,
и таким леченьем утомленный,
выть готов не только на луну.
Я не знаю, верный это путь –
медицине плакаться в жилетку,
только смерть не выйдет обмануть
химией, упрятанной в таблетку.

БОЛЬ

Она не весит ни карата,
ее не снимет акаمول.
Она –
предательство,
утрата,
невидимой иглы укол.
Нас многому не учат в школе,
но объясняет бытие,
что есть такая степень боли,
когда не чувствуешь ее.

Георгий САДХИН

* * *

А. Лихтеру

*Я в Азию вернусь
кочевником раскосым.
И. Михалевич-Каплан*

Что нового?
Нью-Йорк, Ньюарк, Нью-Джерси...
Осенний полдень, прозвенев в окно,
как рыжий пес своей лохматой шерстью
уткнулся в ноги солнечным пятном.
Цыплят по осени считают и бранятся –
они, подбросив квотер как пятак,
отцовского акцента сторонятся
и молча угоняют Понтиак...
А на варенье прилетают осы
и по вечерней розовой росе
приходят группами общительные сосны
на Вашу сторону Калужского шоссе.
Канада не Австралия – пятерка
по географии. И не видать ни зги.
А нам отсюда, из Нью-Йорка,
Вы удивительно близки.

* * *

Я увижу тебя на воскресном балу
в бледно-розовом, стянутом в пояс платье.
У красавиц подруг и у глаз кавалеров тебя отберу,
пока скрипка ушедшего времени плачет.

Удивишься, уже ли так просят руки?
Дорогая, но время коварнее шпаги.
Я не спал, для тебя завивая стихи,
в кружевные слова на бездушной бумаге.

Распахни эту ночь как рубаху на мне.
Пусть повиснет на плечиках стульев.
Теплый свет нарисует на темной стене
песню наших с тобой поцелуев.

Георгий САДХИН

Вознесешь свои руки под крону волос,
будет губ моих дерзкой отвага.
Так течет за окном по стволам у берез
молодая весенняя влага.

По широким ступеням, играя ногой,
убежишь дорогою и жаркой.
И дворцовая площадь обступит дугой.
Улыбнешься и скроешься праздничной аркой.

* * *

Осенний полдень, тих и полосат,
сквозь жалюзи пролился на кровать,
и даль, что так доступна у окна,
напомнила, как ночь была длинна.
Канун повеял запахом берез
когда коснулся проливных волос.
Твоя рука стекала как вода
к моим губам, мила и холодна.
Озябла. Ноги под себя сложив,
ты восседала, как в тени кувшин,
манивший пить. Испить один глоток,
что правит миром и пьянит висок.
Всё что сбывалось – было впереди,
и ты заснула на моей груди.

ТОСКА ПО РЕКЕ ПСЕЛ

Прокатишься волной, приятель старомодный,
забьешься плавником по берегу из плит.
В июльский душный зной – усталый, семиродный –
щекочешь у колен и предлагаешь пить.

Холодную зимой сольешься с берегами,
под ледяным родством безудержно томим,
напомнишь о себе лишь редкими мостами,
да стайкой рыбаков – приверженцам твоим.

Георгий САДХИН

* * *

Хочу с тобой побыть наедине,
окружность очертить и оградиться,
пусть время остановится вовне
и дождь осенний будет литься-длиться.

Рукой как шарф тепло обвить, –
касание губ заменит нам признание –
а дождь осенний будет моросить
и невзначай угадывать желанье.

Ртом обойти знакомый профиль твой
и на дуге, на память подбородку,
нечайный вдох отметкой голубой
оставить, как отлив роняет лодку.

Где до сих пор причесывает дождь
дверной фонарь всей пятерней рябою
и на стекле пригретых капсель дрожь
зову тебя, машу тебе рукою.

* * *

Белле Ахмадулиной

Восхищенно гляжу – из парящего снега,
серебрясь одеяньем, проходите вы,
поднимая ледышку – осколочек неба –
к узелку алых губ уголок синевы.
Это вам лишь доступно, желанью в угоду,
прикоснуться ко льду невзначай языком,
и не холод, а просто почувствовать ноту,
снежный вихрь, завивая скрипичным ключом.
Ваш пример заразителен, гордая фея.
Запрокинув беретик, сорву, как юнец,
ледяную сосульку стеклянного змея,
но почувствую лед – а у вас леденец?

Георгий САДХИН

У КАРТИНЫ ШАГАЛА

Я навстречу тебе лечу
над родимым теплом, над хлебом.
Захочу – твоему плечу
подарю полушалок неба.
Жизнь – театр, говорит Шекспир,
а отсюда, где реют птицы,
цирком кажется круглый мир,
и кумир колесом кружится.
Козы, куры и черный дым.....
Ах, лиха судьба – не потеха.
Но цветением поют сады,
где твой смех переносит эхо,
на своем крыле голубом —
есть один властелин – Любовь.

* * *

Ломись дугой упругий небосвод
в голубизне широких глаз, разящих.
День на земле спешит за горизонт,
но не для нас – парящих.

Как будто даль нарочно пролила
бокал Кианти – сладко заблудиться,
Но холодок проходит вдоль крыла,
а солнце обжигает лица.

У Кордильер твой гребешок резной
я подниму по праву кавалера.
Так просто уронить его весной
от Денвера паря до Делавера.

Наталья РЕЗНИК

* * *

Веселый мальчик пухлыми губами
Бормочет непонятное, смеясь,
Тряпичных кукол сталкивая лбами,
Солдатики отбрасывая в грязь.

Когда шалун забудется в кровати,
Зажав конфету в маленькой руке,
Мы встретимся, измученный солдатик,
Среди игрушек в старом сундуке.

* * *

Из меня вырываются сотни кошмарных зверушек,
И рыдают, и просят вон в окружающий мир.
Это значит, я выросла, кончилось время игрушек,
Пионерии, школы, дворов, коммунальных квартир.
Это значит, закончилась прошлая жизнь понарошку,
Та, где мама и папа, с которыми всё нипочем.
Да, я взрослая – чищу на собственной кухне картошку,
Двери в собственный дом открываю своим же ключом.
И чудовища эти, которых не сыщешь капризной,
Бьются, мечутся, просят чего-то, исходят слюной.
Как я выросла поздно из детской игрушечной жизни!
И чудовища странные выросли вместе со мной.
Их незрячи глаза, а их зубы огромны и остры.
Слишком тесно во мне. Слишком громко рычат и ревут.
Выпускаю наружу безумных, некормленных монстров.
Если рядом стоишь, не взыщи, – и тебя разорвут.

Наталья РЕЗНИК

* * *

...Я всё равно упорно приезжаю
С той родины, которой не нужна.
Меня встречает странная, чужая,
Понятная, привычная страна.

И я, с какой-то неуместной дрожью
Ступая в неосвоенный простор,
Иду домой – к надежному подножью
Любимых кем-то колорадских гор.

* * *

Юзеры, зацикленные на "мысле",
Такие, как мы, компьютерные наркоманы,
Прорываются, пробиваются через мили,
Прокладывают электронные автобаны

По лесам, рекам, горным отрогам,
Через урочища, скованные заклатьем,
Чтобы потом лететь по этим дорогам
За одним коротким рукопожатьем.

Я строю проспекты, автострады, шоссе, хайвеи
Сквозь понятия адресов, времени, эмиграций.
По ним я уже и ходить, и ездить умею.
Но и ты научись по ним до меня добратся.

Вилен ЧЕРНЯК

АКСАКАЛЫ

Среди песков чернеют скалы,
И солнце плавит небосвод.
Мы в этом мире аксакалы,
Носители седых бород.

Ишачий крик и щебет птичий,
И за барханами гюрза,
Нам всё едино. Наш обычай –
Сидеть, полузакрыв глаза,

В одной руке с пиалой чая,
Другую четки теребя.
Мы никого не замечаем,
Но видим всё вокруг себя

И слышим тоже. Разговоры,
Что стариков мудрее нет.
Но здесь, под глиняным забором,
У нас не просят дать совет.

Никто не спросит виновато,
Взывая к сердцу и уму,
Чем явь безбедная чревата
И сны тяжелые к чему.

Настанет день, и смолкнет шепот
Про нашу святость и про ум,
И наш тысячелетний опыт
Песками занесет самум.

А глинобитные дувалы
Падут, как падает слеза.
Мы в этом мире аксакалы.
Сидим, полузакрыв глаза.

2011

Вилен ЧЕРНЯК

ЦВЕТЫ В ПУСТЫНЕ

По утрам прозрачный воздух стынет,
Ветры океанские сквозят.
В Южной Калифорнии пустыня
Зацвела, как ровно год назад.

Люди по фривеям запыленным
Мчатся, созерцая этот вид.
А пустыня светится зеленым
Желто-красным весело горит.

Если вы не верите, проверьте,
Убедитесь, сами побывав!
Кто его назвал Долиной смерти,
Этот край цветов и свежих трав?

Только знайте, есть всего неделя,
Может, чуть поболее одной,
И уже к пришествию апреля
Выжжет их текущий с неба зной.

Целый год, пока настанет снова
По весне цветам пустыни срок,
Будет кактус в роли часового
Охранять лишь камни да песок,

Будет ждать весну с ее дождями,
Долгожданной влагой с высоты.
И опять улягутся коврами
На песках недолгие цветы,

А увянув, вспыхнут непременно
Через год, как было много раз.
Пусть же будет новь благословенна,
Каждый год, при нас и после нас!

2011

Лина ВЕРБИЦКАЯ

* * *

Ах, черешня-вишенка,
Сакура японская!
Белоцветье пышное,
Весны вашингтонские!

Снежные вершины ли,
Иль фата парящая?..
Стаи лебединые
Мига преходящего...

Пена ль Ниагарская
Над озерным берегом,
Что в сияньи царственном,
Что от кисти Рериха!

Ты ль не исцеление
Ото всяких болей!..
О застынь, мгновение,
Жарко сердце молится...

МОСТ ВЕРРАЗАНО

То ль Шестой симфонии звуки,
То ль шекспировская строка...
Вознеслось величие духа
На Гудзоновых берегах.
То ль мелодией, то ль сонетом,
То ль ваноговой кистью взмыл
Этот гимн Новому свету,
Этот взмах соколиных крыл...
Чудо-арфа, к чьим струнам ветры
Прикасаются вечной рукой,
Ты хлеб-соль для тех, кто ответа
Ждет на этой тверди чужой?
Гордый символ земли далекой,
Ты врата в таинственный храм?
Здесь ли, у твоего ль порога,
Обрету заветный Сезам?

Лина ВЕРБИЦКАЯ

О, как вспыхнул ты мне навстречу...
И поверилось среди огней, –
Может, вправду еще не вечер? –
Может, множество светлых дней?..

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

Из-за серых далей солнца полоса,
Тихую печалью светится лоза...
Гроздь не клонит стебель,
Дремлет желтый лист...
Все заботы в небыль с летом унеслись...
Отпоила соком
Розовую гроздь,
Ту, что в путь далекий
Провожать пришлось.
Провожать за сотни
Незнакомых верст,
Где не быть и горсти
Теплых южных рос.
Сиротой под ветром
Клонится лоза –
Не найти ответа
В шепоте листа...
Светит ли там где-то,
В том доме чужом,
Уголок приветный
Веточке ее?..
Забродить ли светлой
Молодым вином,
Полевым букетом,
Званным в каждый дом,
Сокровенным словом,
Ласкою в глазах?
И с молитвой-зовом
Вдаль глядит лоза ...

Евгения ДИМЕР

Из цикла стихотворений о Мексике

САН-МИГУЕЛ ДЕ АЛЬЕНДЕ

Плато меж гор расправило свободно плечи;
Там древний город, полный солнца и тепла.
В нем храмы гордо подняли кресты, как свечи;
Вешают время каждый час колокола.

В тенистом сквере скромно нежится прохлада,
И на скамейках не найти свободных мест.
Щекочет ноздри запах “такос”, “энчиладас”;
Ласкает слух “мариачи” сыгранный оркестр.

На улице ведут осла с косматой гривой,
За ним повозка громыхает по камням...
Но есть закон: водители машин учтиво
Путь уступать должны, как людям, так и псам.

Здесь генерал Альенде* добывал свободу
(А город не забыл его былых заслуг).
И день его рожденья – праздник для народа,
В котором не иссяк вольнолюбивый дух.

* Генерал Игнасио де Альенде принял активное участие со священником Идальго в восстании за независимость Мексики (1810 – 1815гг.)

Евгения ДИМЕР

ТЕНОЧТИТЛАН-МЕХИКО

...и прозвучал голос бога, обращенный к племени ацтеков: «Идите на юг и там, где вы увидите орла на кактусе, терзающего змею, остановитесь и выстройте город».

(Из предания)

1

Там, где терзал змею на кактусе орел,
Был город славным племенем основан.
По красоте и по богатству в Свете Новом
Он среди своих собратьев первенство обрел.
В нем совершать убийства разрешал закон:
Там в жертву богу приносили человека.
При Монтесуме, императоре ацтеков,
Он был испанцами жестоко покорен.
Кортес, как коршун, с грозным войском налетел
Он не щадил ни городов, ни деревушек
В неравной битве, где огонь гремящих пушек
Легко остановил полет индейских стрел.
...Но вскоре в побежденном городе опять
Жизнь забурила, новые возникли храмы.
Теперь он пальму первенства упрямо
Пытается у Токио отнять.
В нем небоскребы и крупницы старины,
Богатство – бедность, возрожденье – тленность.
Он – самая большая драгоценность
Обильно серебром подкованной страны,
Родившейся в горнилах войн под лязг мечей.
В нем, мнится, слышится поныне отзвук битвы
И Габсбурга* последние молитвы,
И окрики его бездушных палачей.
Давно утихли страсти, мир в сердца проник.
Лишь в память бравого отца Идальго**

*Эрцгерцог Максимилиан Габсбург – ставленник Наполеона III на мексиканский престол.

**Сельский священник, главный руководитель массового восстания за независимость Мексики (1810-1815годы).

Евгения ДИМЕР

2

Раз в год под колокола звон многострадально
Раздастся: "Грито де долорес" – боли крик.
А вечером на улицах ласкают слух
Живые песни трубадуров "мариачи"?
И в струнах их, как будто упрекая, плачет
Униженного Монтесумы гордый дух.

Но город по ночам страшится темноты,
Прислушиваясь будто с удивленьем
К стремительному росту своему,
Грозящему ему
Утерей красоты
И полным истощеньем.

НАШ ГИД

О дальних праотцах своих индеец-гид
(Наверное, студент, красавец смуглолицый)
На "Зокало" – на главной площади столицы –
Толпящимся туристам говорит:
"Когда-то здесь была цветущая страна.
Ее дотла конквистадоры разорили,
В католиков ацтеков силой превратили,
Испанские им дали имена.
Но их культуры уничтожить не смогли –
До наших дней остались пирамиды, храмы,
Где каждый камень был отесан их руками.
Былого не стереть с лица земли...
Когда прошли вражда и бедствий времена,
Для Мексики ацтеки стали доброй почвой,
На ней росла и крепла новая страна, –
Так строятся дома с основой прочной".

Евгений ИЦКОВИЧ

Из цикла «Искушение чисел © ЕСИ»

1

На дереве моем
Земля качает ветки,
Она в дверной проем
И лестничные клетки
Отбрасывает тень
Зеленого спасенья,
И наступает день!..
А завтра – Воскресенье!
И будет вечен сад,
И он спасет ограду,
И мы найдем преград
Небесную отраду.
Когда в душе цветок
Забвенья и разлуки,
Но под руками ток –
И ток ударит в руки,
И ветви, сгоряча
Не чувствуя доверья,
Начнут хлестать с плеча
И выломают двери.
Что ж, в вечность? – Так в огонь!
Что ж, каяться? – Так в лето!
И сердце – как ладонь
Над вымолвленным светом.

.....

8

Уколись о разбитое сердце
И умри! Заклинаю – умри!
Вот и поздно, и некуда деться...
И, как слезы, стоят фонари.
Мы раздавлены городом-монстром,
В каждом доме – пронзающий склеп,
Вот и поздно, и время для роста
Извращающих душу судеб.
Я отравлен, я – время распада,
Нежность-ненависть вечности горше,
Накренись же скорее, и ада
Зачерпни притворенной пригоршней!

Евгений ИЦКОВИЧ

Но я брежу.... Ты где-то... в постели...
Кто тебя укусил? Но не я...
На груди твоей в сонном простреле –
Телефонная шея-змея.

.....

14

Ветви у сосен – так еще...
В небо открыты двери,
Будто упала тень-сучок,
Тени в воде поверив.
Дрогнет надежда, и воздух част,
Вечное мечет новью,
И в предрассветный этот час
Всё набухает кровью.
Брызнет... но это потом... Пока
В порах игольной кожи...
Вороны ночью – наверняка!
А соловьи? – Быть может...

.....

16

Мы примем равенство разлуки.
История полна обид,
Когда толпа, воздевши руки,
Стоит деревьями навзрыд.
Последний вал накрыл перроны
И смысл судьбы минутный сор,
Беспозвоночные вагоны...
Увы! Фантазия рессор.
Нас правит временщик причины,
Дорога – пристани указ,
В нем счастья нет, одни личины,
Одни провалы вместо глаз.
Он спит, он полон злой истомы,
И вечность коротает день...
Мы не знакомы? Мы знакомы?
Куда как страшно – только тень.
И ты – без имени, без плоти –
Падешь росой на веки сна,
Замрешь слезой на повороте
И тронешь веткой щель – весна!

Светлана НОВАК

МНЕ ХОРОШО ПОД ЭТИМ НЕБОМ

* * *

Стемнело, под фонарным светом
Лежит замерзшая земля,
Мне хорошо под этим небом
Стоять, не чувствуя себя.

Как будто в легкую снежинку
Я превращаюсь и лечу,
Мне никого сейчас не нужно,
И ничего я не хочу.

Я просто падаю тихонько,
Кружусь, кружусь в полночной мгле.
Я скоро медленно растаю,
Никто не вспомнит обо мне...

* * *

Опустит ночь гардины
Со звездной бахромой,
Сегодня, мой любимый,
Расстанусь я с тобой.

Возьму портрет с комода,
Подарок давний твой,
Отправлю в непогоду
Недрогнувшей рукой.

Клочки подхватит ветер,
Таков уж твой удел,
Прощай, мой друг сердечный,
Лети, куда хотел.

* * *

Научусь любить бесстрашно,
Научусь потерь не знать,
Научусь я день вчерашний
Никогда не вспоминать.

Светлана НОВАК

Повернусь навстречу счастью,
Всех врагов прощу своих,
И своей, и Божьей властью
Отрекаюсь я от них.

* * *

Кто она, твоя другая?
Хорошо ли с ней,
Сладко ль спится ей в постели,
Что была моей?

Как ей нравится в окошке
Наш весенний сад,
Что с тобой мы посадили
Двадцать лет назад?

Не сужу, не обвиняю
Я ее ни в чем,
Ведь сама теперь живу я
В доме не своем.

Бережет ли вас икона
От чужого зла,
Та, над креслом у балкона?
Нас не сберегла...

* * *

Был он городом радости,
Местом светлой любви,
Где когда-то с тобой
Были счастливы мы.

Он был ярким, как небо,
Зеленел от листвы,
Город розовых снов,
Город белой зимы.

А теперь потускнел
Даже солнечный свет,
Потому что тебя
В этом городе нет.

Владимир ШАТАЛОВ

* * *

Всё просто
обыкновенно всё
теперь вдруг кажется –
и ростани и прошлое как остов
несбывшегося
и отблески закатов
 в зачерненных сажей
разбитых стеклах окон
в развалинах пристанищ
лиц перемещенных.
Так просто кажется
огонь пожарищ
людей мятущееся стадо
вот лишь дорог поменьше стало
чтобы дойти к России.

То годы проходили.
То снега заносили.

Сегодня первое число
будто месяца первого весны.
Неважно ведь какой и где неважно.
Только хочется чтоб в каждом
кто не забыл еще цветенье жизни
чтобы оно отозвалось.
Но вот не каждому быть живу:
всё просто ведь
 когда осколками стекла
полосовали жилы.

Вспомнить даже странно
облака и синь, степные ветры
и сверстников с глазами –
цвета веры.

Владимир ШАТАЛОВ

СМЕРТЬ МАТЕРИ

Который час?..
Ни стрелок и ни числ,
ни событий и ни встреч.
На перекрестках тишина.

Луна.

А вспомнишь – закричишь,
как кричат в разломах стен
без дверей, без окон и без крыш
в пустоты улиц, площадей,
в обвал обугленных камней,
и в гнев и в месть,
в огонь и в боль,
и в ночь, и в снег.

Кричу.
И слушает одна –
та, что недвижимыми глазами
смотрит мне в глаза.

Нельзя назад.

Который час?..
Ни стрелок и ни числ,
ни событий и ни встреч.
Все поезда ушли.

Кричу.
Кричу стихи.

Владимир ШАТАЛОВ

ПОСЛЕ СОНАТЫ ШОПЕНА

О. В.

Шорохи листьев.
Недошедшие письма...

Безмолвие улиц,
безмолвие стен

и лица,
до боли знакомые лица
тех,
кто ушел далеко, насовсем.
Всё узнаю и всех слышу
и словно где-то, и словно нигде –
рассвет над пылающей крышей
и мертвая тишь площадей.
И больше нет ничего,

никого –

только ветер,
ветер один,
где потерянный день,
где сбылись все прощанья,
где не сбудутся встречи
в безмолвии улиц,
в безмолвии стен.

Недошедшие письма...
Шорохи листьев.

Владимир ШАТАЛОВ

* * *

Виктору Урину

Всё случается
в непогоду.
Что случается
в непогоду...
Чайник поставишь и чаю
в кружку нальешь с медом
торопливый глоток выпалит небо
ругнешься на одном из шести материков
голубой планеты
и где-то
в городе без названия
на улице без названия
откликнется отзвук
в будни оползающего века
где ты
где я
только затерянные образы
оставшиеся от тех, что на заре розовой
в кудряшках цвета пакли
бежали вдоль реки
а вокруг пахли
цветы
медом

Но всё случается
в непогоду.

Юрий КРУПА

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ В ЖИВОПИСИ

ВЛАДИМИРА ШАТАЛОВА

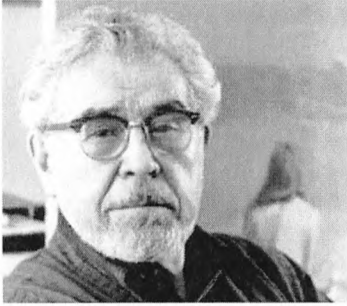


Фото Хелены Рински

1917 - 2002

*Всё просто
обыкновенно всё
теперь вдруг кажется –
и росстани и прошлое как остов
несбывшегося
и отблески закатов
в зачерненных сажею
разбитых стеклах окон
в развалинах пристанищ
лиц перемещенных.*

*Так просто кажется
огонь пожарищ
людей мятущееся стадо
вот лишь дорог поменьше стало
чтобы дойти к России.*

В. ШАТАЛОВ

Эта работа не ставит целью дать исчерпывающую оценку художественному творчеству Владимира Шаталова, ее задача – отдать должное художнику, мастеру, в самом высоком понимании этого слова. Другая задача этой публикации – шире взглянуть на его искусство и привлечь внимание публики к большому живописному наследию Шаталова, недостаточно изученному и потому малоизвестному.

Владимира Михайловича Шаталова я встречал на литературных вечерах в Филадельфии, на которых он иногда присутствовал, но активного участия не принимал, мало общался с посетителями вечеров, вступая в диалоги, предпочтительно с теми, кого хорошо знал. Как правило, Владимир Михайлович находил себе место в стороне, откуда с нескрываемым интересом наблюдал за происходившим и внимательно слушал.

В его внешности не было ничего необычного: средний рост, коротко остриженная седая борода, очки в тонкой металлической

оправе, крупной вязки свитер – словом, типичный образ пожилого романтика, одного из тех, кто был в молодости воспитан на книгах Хемингуэя и остался верен своему кумиру на всю жизнь. Однако из бесконечного числа рядовых “хемингуэевских” романтиков Владимира Шаталова отличали руки и глаза. Правильные по форме и рациональные в движениях, его руки могли принадлежать только человеку, использовавшему их, как точный универсальный инструмент – для создания уникальных вещей. Умные, слегка прищуренные, наблюдательные глаза с неугасаемой искоркой свидетельствовали о неутолимой пытливости и активной натуре их обладателя. Именно руки и глаза были неопровержимым свидетельством того, что их владелец принадлежал миру искусства, органично соединив в себе две важнейших составляющих понятия художник – профессиональное мастерство и творческую душу.

Большинство читателей “Встреч” и “Побережья” знали Владимира Шаталова поэта, тогда как в биографических справках указывалось, что он художник и поэт. Справедливости ради следует отметить, что главным призванием Владимира Михайловича являлась живопись, стихи же вошли в его жизнь позднее, тем не менее став неотъемлемой частью его творческого наследия, продемонстрировав еще одну сторону богатого шаталовского таланта. В случае с Владимиром Шаталовым, нельзя делить его творческое начало на художественное и поэтическое, оба они составляли единое целое и питались из одного романтического источника. Подтверждение тому находишь в картинах Шаталова, отмечая поэтичность и чувственность их композиций, насыщенных рифмами красок и ритмами мазков, а его стихи удивляют своей живописностью, наполненностью ярким солнечным светом, блеском золота куполов и белизной парусов в небесной синеве.

С Владимиром Шаталовым у меня было всего две-три коротких встречи, и хотя я внутренне испытывал к нему огромный интерес, полноценно общаться с ним не пришлось, не было бесед о жизни, обмена мнениями об искусстве, споров. Очень сожалею, что так и не нашел возможности познакомиться ближе с художником, чьи произведения привлекали внимание своей духовной глубиной и высоким профессиональным мастерством.

Материал для этой публикации приходилось собирать по крохам, большей частью из воспоминаний людей, знавших Владимира Михайловича, работавших или друживших с ним. Попытки отыскать хоть какую-то официальную печатную информацию о художнике потерпели неудачу. Всемогущий и всеведущий интернет предложил мне одно только упоминание о Шаталове. На сайте Сюзан Скэри (Susan Schary) – успешной американской художницы, работающей в строгой реалистической манере, –

сообщается, что она "училась живописи в Филадельфии, у известного русского художника Владимира Шаталова". И ничего больше... Все ныне существующие сведения о Владимире Михайловиче Шаталове сводятся к кратким биографическим справкам, представленным в немногочисленных русскоязычных литературных изданиях Зарубежья, да в редких сохранившихся каталогах выставок, в которых художник принимал участие. Несколько коротких очерков-воспоминаний были напечатаны в тех же русскоязычных изданиях после смерти Шаталова, в 2002 году.

Трудно представить, в конце XX начале XXI века искусство заметного живописца, члена американской национальной академии дизайна и многих американских художественных обществ и организаций, участника бесчисленного количества выставок, получившего за свои художественные работы множество наград, оказалось сегодня покрытым пеленой забвения и не известным широкой публике. Частично это объясняется характером Владимира Шаталова. Художник был не в состоянии привыкнуть к американскому образу жизни, который нещадно критиковал, и, вполне естественно, не мог принять условий, которые этот образ жизни предлагал личности для того, чтобы "пробить" себе дорогу к творческому и коммерческому успеху. Именно поэтому Шаталова не представляли арт-дилеры и агенты, столь необходимые для обеспечения успешного роста на Западе. Сам он сознательно не занимался "self-promotion", или самопродвижением, считая подобное занятие чем-то постыдным, не совсем порядочным, к тому же, до предела загруженный работой, художник не имел на саморекламу времени. Совершенно естественно, результатом подобной "жизненной позиции" оказался недостаток критических публикаций, положительных рецензий и профессионального анализа работ. Как следствие – отсутствие широкого интереса к продукту, о существовании которого знал ограниченный круг специалистов и близких Шаталову людей.

Художественное творчество Владимира Шаталова можно условно разбить на несколько периодов, каждый из которых представляет определенный этап формирования художника и совершенствования его изобразительного языка. Это хорошо видно на примере портретных работ Шаталова. Ранние вещи художника, одна из которых "Девушки в украинских нарядах", датирована 1942 годом, относится к периоду, когда автор работал в строгих рамках реализма, соблюдая все его принципы. Постепенно Шаталов отходил от этих принципов, портреты скульптора Н. Мухина, написанные в середине 50-х, отличает более свободный подход художника к модели. В этих в целом реалистических портретах

Владимир Шаталов использовал приемы импрессионизма, создавая воздушность, опуская ненужные детали и смело работая мазком. В конечном итоге, в своем портретном творчестве художник добился максимального раскрытия характера портретируемого, его внутреннего мира минимальными средствами. Лаконичность цветового решения и простота форм стали главными отличительными чертами работ Шаталова, портрет Гоголя является тому ярким примером.

Картины Шаталова демонстрируют виртуозное владение автором различными живописными приемами и техниками. Вместе с тем каждая работа художника в своей основе имеет глубоко продуманное композиционное решение, переведенное и зафиксированное на холсте с помощью рисунка, сделанного крепкой, хорошо поставленной рукой. Шаталов смело экспериментировал, например, на одном холсте он "сводил" вместе масло и акрилик, акрилик и темперу, темперу и масло. Это делалось совершенно сознательно, с целью использовать особые возможности и преимущества отдельных красок и живописных техник, тем самым добиться максимальной выразительности.

Живопись Владимира Шаталова, по технике исполнения, а во многих случаях, и по форме, напоминает работы советских художников. Глядя на его картины, не сразу верится, что они принадлежат кисти мастера, большую часть своей жизни творившего в Соединенных Штатах. Произведения Шаталова, в сравнении с работами многих его западных коллег, отличает строгая классическая школа, основанная на всковых традициях русского изобразительного искусства, которая была присуща большинству советских художников. Владимир Шаталов прошел эту подготовку еще в Советском Союзе и остался верен ей до конца дней.

Классической школы, как основополагающего начала в искусстве, зачастую не хватало многим западным художникам, претендовавшим на оригинальность, но не познавшим и не освоившим элементарных основ изобразительного искусства. А ведь еще основатель вечно модного сюрреализма Сальвадор Дали в своих десяти заповедях призывал молодых художников выучиться писать, как старые мастера, и только потом делать всё, что они хотят. Если по технике, в целом, произведения Шаталова сравнимы с работами советских художников, то по своей форме они зачастую отличаются. Особенно это отличие заметно в поздних работах художника, которые, будь это в СССР, обвинили бы в формализме, в подражании Западу и других смертных грехах. Справедливости ради следует отметить, что Владимир Шаталов, при всей

"формалистичности" своих картин, уделял огромное внимание их внутренней сути, строго придерживаясь главного принципа реализма – единства формы и содержания. Сравнивая работы Шаталова с картинами ведущих советских мастеров, невольно отмечаешь полную независимость в выборе сюжетов и их трактовке. Работая в условиях свободного мира, в отсутствие партийно-идеологического прессинга, Владимир Шаталов затрагивал темы глубоко волнующие лично его и людей его поколения. В раскрытии сюжетов художник опирался на богатый трагическими событиями личный жизненный опыт, руководствуясь при этом исключительно собственным сознанием и пониманием предмета, не вкладывая в свои картины навязанную сверху однобокую идеологическую суть.

Владимир Шаталов комфортно чувствовал себя, работая в разных жанрах, будь то портрет или пейзаж, как правило, любую его работу отличали продуманность и виртуозное исполнение. В подходе к портрету художник наследовал лучшие традиции реалистической школы, с ее повышенным вниманием к внутреннему миру портретируемого, стремлением передать этот мир на холсте в дополнение к обязательному внешнему сходству. В портретном творчестве художника есть работы выполненные непосредственно с натуры и работы, написанные без прямого контакта с моделью. Во всех случаях Шаталов добивался не только сходства, но и передавал сложный духовный мир своих моделей. Этого он достигал будучи мастером, тонко чувствующим и понимающим натуру и умело пользующимся широким арсеналом живописных техник и приемов. Художнику было под силу при помощи кисти "вылепить" на холсте объемную голову, либо показать лицо и всю фигуру силуэтно, как в аппликации, но всегда, точно передавая уникальные черты и особые характеристики портретируемых. Любой художественный прием применялся художником целенаправленно, в первую очередь, для того чтобы максимально правдиво передать портретное сходство и характер каждого конкретного человека, его внутренний мир и духовное богатство. Найденные художником способы подачи, придавали эффектность его картинам, делали их непохожими одна на другую, определяли своеобразный почерк их автора, его оригинальный подход к созданию портрета.

Особого внимания заслуживают тематические композиции художника, наполненные глубоким философским смыслом. В этих сложных по своей задумке и исполнению работах автор, с присущей

ему откровенностью, доверял свои мысли и переживания холсту, удивительным образом преобразуя его двухмерную плоскость в трехмерное пространство, а часто добавляя еще и четвертое измерение – время. Ярким тому примером служит картина "Детство Бориса" – полотно, на котором художник объединил прошлое, настоящее и будущее. Для этой цели автор использовал простой эффектный прием: представьте, что вы смотрите на мир через стекло, его прозрачность позволяет видеть все, что находится непосредственно перед вами, а способность стекла отражать помогает видеть то, что находится за вашей спиной. Оба изображения, оказавшись в одной зрительной плоскости, образуют единую картину, где объекты наслаиваются, перекрывают и смешиваются друг с другом, создавая фантастическую многомерную композицию. Этот прием позволил художнику передать на холсте временной промежуток, включивший в себя жизни двух поколений – отца и сына.

На творчество Владимира Шаталова наложила тяжелый отпечаток судьба эмигранта второй волны. Здесь важно отметить то, что волны русской, а затем советской, эмиграций, можно разделить на две категории: вынужденную и добровольную. Первая и вторая волны, в своем большинстве, были вынужденными, третья и последующие, за малым исключением, добровольными. Вынужденная, сложившимися военными обстоятельствами, эмиграция Шаталова – главная причина присутствия ностальгических нот в его творчестве, горького чувства от несбывшихся юношеских ожиданий и острой тревоги за будущее. Иван Елагин в биографической справке для антологии "Берега. – Стихи поэтов второй эмиграции", вышедшей в Филадельфии в 1992 году вспоминал: "...Затем Германия – годы войны и скитаний по разбомбленным немецким городам, угроза насильственной репатриации и полная неизвестность будущего". Эти слова, как нельзя лучше передавали состояние перемещенных лиц, в том числе Владимира Шаталова. В этом состоянии художник пребывал на протяжении многих лет своей жизни.

Живопись Владимира Шаталова долго не отпускает, удерживает при себе. Взгляд зрителя постепенно уходит в глубину полотна, а сознание, тем временем, стремится постичь философию, вложенную художником в свою работу. При внимательном рассматривании картин Шаталова, свойственное им мозаичное начало выстраивается в организованное, последовательное повествование, наполненное

серьезным смыслом. Полотна художника малофигурны – один, максимум два персонажа, в статичных позах, как правило, в глубокой задумчивости, созерцании или ожидании чего-то и обязательно на краю. Этот край – либо порог дома, либо кромка земли на рубеже с морем, либо нетронутый краской тонированный холст или картон, где художник внезапно обрывает композицию, тем самым усиливая напряжение, вводя зрителя в состояние тревоги, наполняя его душу чувством неизвестности, неизведанности, непознанности. В полной мере эти чувства возникают при знакомстве с картиной "Птицы", где Владимир Шаталов умело использовал цвет и фактуру картона, на котором была написана работа. Приблизительно четверть всей плоскости картины вовсе не тронута кистью, а матовая поверхность картона глубокого серого цвета как нельзя лучше передала неопределенность, на пороге которой оказались герои полотна. Кроме того, серый фон стал главной составляющей цветовой гаммы картины, подчеркнув ее романтизм, заставив краски работать в полную силу. Этот же прием, только с использованием черного цвета, был применен художником в работе "Ожидание". Черный цвет фокусирует внимание зрителя на композиционном центре, попутно создавая атмосферу напряженного ожидания и смутных предчувствий, тем самым вознося драматичность полотна до критического уровня.

В своих воспоминаниях В. А. Синкевич рассказала о "муках творчества", которые испытывал художник. Я полагаю, эти муки были вызваны поиском наиболее выразительной формы, с помощью которой предельно точно и доступно можно было передать замысел, зародившийся в душе художника. Согласитесь, все виды изобразительного искусства и живопись в том числе, при бесконечном многообразии форм и методов, ограничены в своих возможностях передачи окружающего мира и особенно человеческих чувств. В силу этого оригинальное решение поставленной творческой задачи для настоящего художника, каким являлся Владимир Шаталов, зачастую оборачивается долгим и мучительным процессом, полным проб и ошибок, промежуточных удач и разочарований. Успешный выход из этого процесса можно расценивать как творческую победу, в результате которой на свет рождается долгожданное произведение искусства, оставив на некоторое время в покое изнуренного, но удовлетворенного достигнутым результатом художника.

Перечитывая поэзию Владимира Шаталова, я наткнулся на стихотворение, отрывок из которого взял эпиграфом к настоящей публикации. В скупых, как мужские слезы, словах стихотворения проявилось внутреннее состояние автора, которое, в большинстве случаев, является ключом к пониманию его художественного творчества. Ключ этот – горячая любовь к покинутой родине, многократно усиленная состоянием хронической ностальгии и помноженная на невозможность вернуться, обнаженный нерв, касание к которому причиняло Владимиру Михайловичу нестерпимую боль. Однажды, внезапно, в жизнь студента-художника, преисполненного светлых планов, ворвалась война. Не дав Шаталову закончить учебу, она стала крушить его надежды и мечты, роняя осколки в кристально чистый творческий источник молодого человека, придавая воде источника вкус горечи. Несмотря ни на что, тяжелые жизненные испытания не смогли уничтожить романтических чувств Владимира Шаталова, с их устремленностью к безграничной свободе, пафосом личной и гражданской независимости, исключительностью героев, полнотой страстей и восхищением одухотворенной природой. Художник лишь перестал идеализировать действительность, которая в его произведениях иногда представала в трансформированном виде.

Полотна Шаталова – это отчаянная попытка перенести на холст и тем самым сохранить мир, в котором художник появился, жил и творил. Мир некогда понятный, цельный и прекрасный, наполненный действительным смыслом, а затем волею судьбы расколотый на части. В своих картинах художник восстанавливал разрушенное, бережно собирая и соединяя разрозненные осколки, философски осмысливая то, что он делал. Восстановленный на картинах Шаталова мир представляет собой сбалансированное, чрезвычайно хрупкое сооружение сложной конструкции, требующее трепетного отношения и крайне осторожного обращения.

Юрий КРУПА, Филадельфия

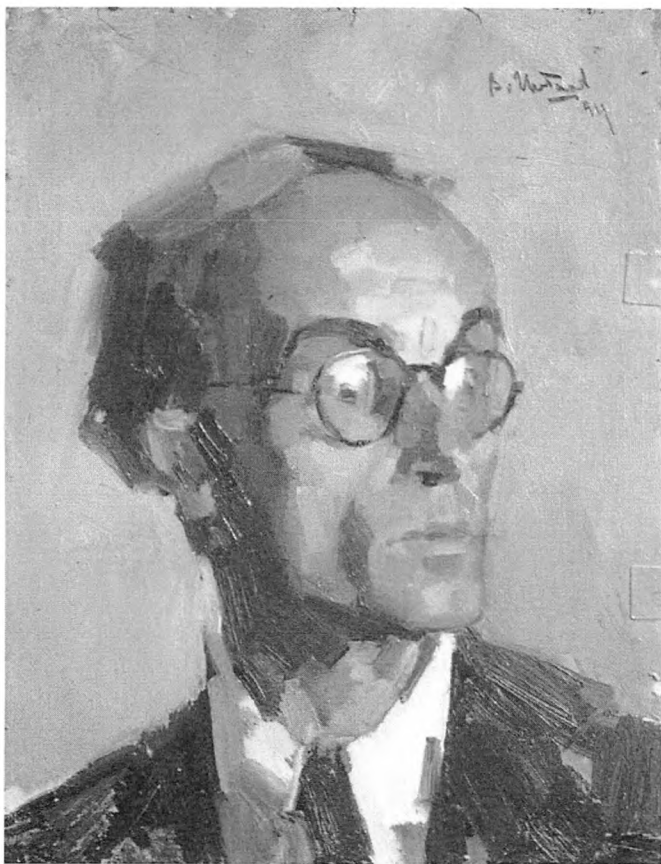
Владимир ШАТАЛОВ



Vladimir Shatalow. Poet Valentina Sinkevich.

Портрет Валентины Синкевич

Владимир ШАТАЛОВ



Vladimir Shatalow, Sketch, 1949, Oil.

Портрет неизвестного

Владимир ШАТАЛОВ



**Владимир Шаталов. Портрет Гоголя. Акрилик.
Фото Вячеслава Сподика**

Раиса РЕЗНИК

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ШАТАЛОВА

1

Открыла «Встречи» и пролиставала.
В рамке – Шаталов. Его не стало.
В графе «Об авторах» –
тире – две даты.
А я представила,
как ехал в Штаты.
Корабль шатало...
Весь мир шатало...
В страну чужую несло Шаталова.

2

Обложка – дверь в храм, где исповедь
(не проповедь) правит домом.
Осиротели двулистники
с двадцать шестого тома.
Плакатным шрифтом, вертикально,
осталось заглавие справа...
Смерть всех отражает зеркально,
у смерти свое есть право.

3

Картины – ведь те же дети.
Стихи – сыновья и дочки.
Шаталов, Вы есть на свете,
Вы живы мазком и строчкой.

Полотна полны мелодий,
в стихах пламенеют краски.
...А кто-то Вас звал Володей.
Достало ли Вам той ласки?

«Он мертв» – говорят об этом,
вздыхают о том: «Не дожил...»,
но ритмы спасут поэта,
а колер спасет художника.

Раиса РЕЗНИК

Я знаю, наслушались лжи Вы...
Не веря, вела б я речи?
Владимир Михалыч, Вы живы,
как вечны на свете «Встречи».

Не верю, что циник ценен,
что время – холодный киллер,
но верю, что Вас оценят
Ваш Белгород и Ваш Киев,

Моя Винница и Ваш Харьков –
устроят там вернисажи.
«Талант он, художник яркий,
Он наш! Он ведь здешний», – скажут...

Вы строчки чурались пышной,
боюсь Вас обидеть броской...
Не верю себе, что так вышло:
мой стих под Вашей обложкой.

ИЗГНАННИКАМ-ПОЭТАМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

*...они "не смели", потому, что им в
голову не приходило, что можно "сметь".*

Зинаида Гиппиус

Мы так естественно *не смели*,
наследственно не смели *сметь*.
Взрослели с этим и старели,
кому фортунило стареть.

Брели безгласною толпою –
немы, глухи.
Не мы о том писали с болью,
а Вы – стихи.

Раиса РЕЗНИК

СУДЬБА

Судьба меня пересадила
с корнями на чужую землю.

Приемлю или не приемлю,
мне мило здесь или не мило,
с годами ко всему привыкну,
к дворам, дорогам и бездомным,
к величию мостов бетонных
и к дикости растений дивных,
к тому, что знойный ветер волен
зажечь столбы огня, как свечи...

И звук родимой русской речи
со мною здесь по Высшей воле.

* * *

Пахнуло сладкой болью...
Дом видела во сне,
нехитрое застолье
в Песчанке по весне.
Была калитка новая,
был стол в тени ветвей,
была скамья тесовая.
И пел там соловей.

И стыли чай с закуской.
Еще цела семья,
мы слушали – не курского,
другого соловья.
Какой поклясться силою,
что нет его нежней,
отцовскою могилою
иль яблоней над ней?

Валерий ЧЕРЕШНЯ

ДВЕ ЭЛЕГИИ

1

Сегодня день – за все не дни награда.
Всё так совпало: редкой тишиной
души, и тихим местом у окна
я награжден за месяцы бездушья.

Тихий ангел
спокойно направляет трезвый взгляд
на вымерзший пустырь, где два скелета
больших деревьев связаны веревкой,
и простыни дубеют на ветру,
старуха бьется с мокрым полотенцем,
а мальчики затеяли игру,
беззвучную отсюда.

Светлый контур
многоэтажной ряби новостроек
виднеется вдали на горизонте.
Всё видимое только подтвержденье,
наружная судьба моей души,
но странным образом и вправду существует...
Я медленно живу. Свет угасает.
Сначала исчезают новостройки.
Старуха возвращается домой.
Деревья проступают черным знаком.
Я вспоминаю строки из стиха,
написанного раньше: «Бог дарует
обитель тихую...»

И повторяю: «Бог дарует».

2

...и я хочу, чтоб то была попытка
такого утра, что Лоррен увидел:
залив спокоен, солнце мутноватой
медузой поднимается из моря,
с него еще стекают сгустки света,
поющие на водах.

Длинной тенью
отчеркнуты холмы и акведуки,
в провалы небывающих руин
просвечивает небо.

Валерий ЧЕРЕШНЯ

Два матроса
на пирсе устанавливают сходни,
сидят три дамы – что они сидят?
На первом плане дерево, оно
растет во всю картину, затмевая
полнеба мощной кроной, все листья
угнетены еще ночным дурманом
и утренней росой.

Всё сиротливо,
чуть пусто и прохладно до озноба.

Так, путешествуя среди воспоминаний,
наткнешься на садовую скамейку
с облупленной зеленой краской, на
две липы у трамвайной остановки, –
всё то невыразимое, чему
реальность придает лишь расставанье,
и поразишься благородной простоте,
с каким мгновенье, плавая в свободе
«быть» и «не быть», смиряется на «быть».
И потому, здесь вовсе нет матросов,
залива, дерева – есть просто колебанье
мгновенья, прежде, чем собою стать,
и тут же уступить себя другому...

Совсем другому Мастеру дано
в нас сотворять живую непрерывность,
чтоб кто-нибудь, положим, Клод Лоррен,
не удивившись чуду говоренья,
вас тронул за рукав, сказав: смотрите,
как, всё же, им легко существовать –
заливу, дереву, холмам, матросам.

ДВА ГОРОДА

1

Город спускается к балке,
прыгает в темень ночную
и выбирается жалкой
горстью домишек, вслепую.

Валерий ЧЕРЕШНЯ

Свет, проплывавший, как сыщик,
в путаном лепете листьев,
тонкими струйками прыщет
на кукурузный бульжник.

Тепло. И спиною жметесь
тьень в закромах подворотен.
Городу что-то нейметесь,
он, как потерянный, бродит,

нервно сжимает запястья
ветвей и тасует листья,
город – свидетель несчастья
и сатанинского свиста.

И, находившись до лая
псов дворовых, затихает,
в светлеющих пальцах сжимая
окраину, белые хаты.

2

Этот запах сырости и медный вкус прощания,
кухня с капающим краном, полусветом
окон, чуть слезящихся от вечного отчаяния, –
видеть в полуметре лицо соседа.

Этих желтостенных провалов близость
с диким эхом всплеска голубиных крыльев,
с натюрмортом банок на жестяных карнизах, –
это сердцесжатие городского тыла

в двух шагах от улицы с перспективой выверенной,
чешуйчатой Фонтанки со стасовским собором,
всего, что в снах сворачивается благословенной сывороткой,
всего, чем ослепляет этот город.

Это всё, что со словами никогда не встретится,
всё живое и влажное, как детская простуда,
вечно рядом, вечно еле теплится,
словно у неверующего надежда на чудо.

Валерий ЧЕРЕШНЯ

Из книги «ВИД ИЗ СЕБЯ»

* * *

Поэзия – это не умение особого рода. Это невероятная попытка истинного знания, построения мира не путем расчленения, анализа (что делают науки), а путем гармонического соединения, творения, и попытка, конечно, более или менее обреченная, потому что элементы, из которых создается этот мир, не первичны и не пусты, а главное, многосмысленны, символичны, и между ними и тем, что они обозначают, нет единственной и четкой связи. Но сама попытка (там, где она есть), настолько велика, что, встречаясь с очередной неудачей, мы недаром испытываем трепет.

* * *

Ведь если есть только то, что представляется нашему, искаженному научным методом, разуму, а именно: человек должен вырасти, размножиться, постараться сохранить потомство и умереть, и все это, якобы, для сохранения вида Ното (который непонятно зачем сохранять), то какой нелепой «прелюдией» к этому размножению служит культура, со всеми ее сложными ритуалами, от моды до разговоров об искусстве. И всё это, чтобы произвести акт, который точно так же производился первобытным человеком.

Писатели, которые крупным планом показали эту коллизацию: Экклезиаст, Лев Толстой, обэриуты, Беккет – юмористы по существу, бытийные юмористы.

* * *

Вовсе не идеи определяют суть данной культуры, не разум, но его предпосылки, то, о чем люди не думают, но считают реальностью. Такой реальностью для нашего мышления является, например, то, что мы живем в равномерно развертывающемся времени от прошлого к будущему, что совершенно неверно для человека средневековой культуры. Как только меняются эти предпосылки, меняется культура, и сами собой исчезают идолы, которых никакая сила, казалось, не могла опрокинуть.

* * *

Хороший читатель любит искусство за то душевное усилие, которое пришлось затратить, чтобы его полюбить. Поэтому прекрасны не «блестящие», «талантливые» вещи, а вещи, «втягивающие» в себя. Поэтому так редок хороший читатель.

Быть может, тут некий закон равенства затраты энергий. Чем больше душевной энергии затрачивает автор, чем глубже он проводит вещь через себя, тем больше энергии нужно затратить читателю, чтобы полюбить вещь. И тем, возможно, она прекрасней...

* * *

Все-таки искусство – это всегда гимн бытию. Не в смысле оптимистического приятия, а в смысле полноты существования. Трагическое мироощущение, даже проклятие – тоже гимн.

При этом реализм, предполагающий узнаваемое описание реальности, довольно странный метод. Чтобы пропеть свое отношение к бытию больше подходит лепет ребенка, чем разумное воспроизведение схемы житейских отношений. Это прекрасно понимали те художники, которые от описания переходили к заклинанию. (Поздний Манделштам – это заклинание бытия, идущее от веры в мощь и реальность слова.)

И всё-таки описание необходимо как стадия. Те, кто сразу начинают с заклинания, слишком легковесны и непонятны – в том смысле, что мы не чувствуем их системы координат, точки отсчета – это обособленная система, понятная только себе самой. Тот, кто прошел муки и безысходность описательности, бесплодные попытки на рациональном уровне выскочить из нее – понятен нам, поскольку он сохраняет общее с нами прошлое, вкрапленное в его нынешнюю свободу.

В принципе, нет оснований сомневаться в совершенстве любого искренне пропетого гимна. Но концептуализм, например, сознательно ищет способ воздействия, при котором гимн возникнет в слушателе. Он хочет провоцировать гимн. Но так не получается. Очевидно, в искусстве важно пропеть свой гимн, и он найдет свой хор. Можно указать человеку, что все, что попадает в поле его бытия является гимном. Но этого искусство сделать не может, этого не может даже религия в большинстве случаев.

А впрочем, при полной анонимности, быть просто указующим перстом на полноту бытия – это, наверное, высшее искусство.

* * *

Язык Платонова – это язык, которым могла бы говорить природа, тело, то есть он снимает вечный дуализм, который неизбежно присутствует в мышлении. А поскольку язык всё-таки должен содержать смысл, у Платонова в каждой фразе присутствуют противоположности, уравновешивающие себя и как бы уничтожающие друг друга. Оптимизм фразы погашается грустной

интонацией и в итоге действительно проступает «тело бытия» вне добра, зла, веселья, грусти и т. д.

* * *

Много поэтов, настаивающих на духовном откровении... Поражает вторичность их откровений. Впрочем, боюсь, это заметно только современнику, потом они попадут в «плеяду» и отдельные их находки, может быть, станут цитатами. Есть способ «проспать» жизнь, есть способ «проработать» жизнь, т. е. найти такое занятие, от которого с неохотой отрываешься поесть и поспать, и есть способ «прооткровеничить» – тоже своего рода любимая работа. И ведь разница-то почти неуловимая между подлинным и вторичным откровением, но она есть, и лакмусовая бумажка – тщеславие.

* * *

Самая гремучая смесь в человеке – глупость с претензиями.

* * *

Странно, что люди ходят с открытым лицом и прикрытым телом. Если и есть что-то неприличное в человеке, то это лицо, на котором ясно читается его история, его нынешнее состояние, и бывает это так неприлично, что безмолвная задница по сравнению с ним – верх целомудрия. Разве что все надеются, что грамотных мало? Но если даже один...

* * *

Пастернак: сознание насилует хаос, овладевает им, заставляет поверить, что он таков. Восхищение вызывает ложное открытие – оказывается у хаоса есть законы, хаос-то вовсе не хаос. Чудо, собственно, в гениальной вере самого Пастернака, каждый раз «открывающего» законы хаоса. Поэтому смешные «святочные» совпадения в его романе, шитые белыми нитками для ироничного читателя, на самом деле апофеоз этой веры Пастернака: в любом хаосе – природном, социальном – концы сходятся. Он играет роль Бога в своей Вселенной, в придуманном им хаосе.

* * *

Мысль усвоенная, прочитанная в отличие от мысли рожденной, пусть и не новой, не имеет того, что и составляет ее главную ценность – индивидуального привкуса. Это, как с солью: можно всячески описывать эти кристаллики, но «соленость» соли не описать, и каждый ее чувствует по-своему. Потеряв индивидуальный вкус, мысль становится злом, поскольку воспринятая абстрактно, без «солености» оборачивается либо просто глупостью, либо руководством к действию, либо – чаще

всего – тем и другим вместе. Вина высказавшего мысль (на которого рано или поздно обрушивается ненависть за непрощенных последователей) только в том, что он ее высказал. Серьезная вина, но ведь это почти инстинкт – высказать родившуюся мысль. И только в истинной поэзии мысль не лишается своего привкуса, поскольку слово одновременно и значит что-то, и самим звуком становится им. Но для этого нужно понимать язык поэзии, ведь умудрялись и у Пушкина вычленить гражданские мотивы.

* * *

Самое главное у обэриутов – полное отсутствие психологизма, взгляда изнутри. Человек рассматривается как метафизическая точка, удаленная в бесконечную даль. С этой точкой проводится ряд операций логического и абсурдного характера. Эффект смешного достигается клоунским приемом: у клоуна часть тела или одежды не подчиняется человеку, у обэриутов метафизическая точка – человек – не подчиняется логике. Только вначале, столкнувшись с этими текстами, испытываешь восторг, но потом понимаешь, что это доведенный до логического конца толстовский прием остранения, но если у Толстого это только момент и угол зрения (один из многих), то здесь это почти догма, схема, которую легко применять к любому сюжету, что и делается многочисленными подражателями.

* * *

Фраза с ужимкой. Родоначальник, несомненно, Гоголь, у которого этой ужимкой лепится еще один герой – рассказчик, всякий раз другой, в зависимости от общей интонации и темы. Но только у Достоевского фраза с ужимкой приобретает навязчивый характер монолога одного и того же рассказчика, меняющего разве что темп, но не саму ужимку. И, наконец, у современных прозаиков осталась одна ужимка, пустой тик без лица, танец вводных слов и междометий.

* * *

Рембрантовские старики – оправдание нашей жизни. Если можно обрести такой взгляд и такое лицо – жизнь небезнадежна, в ней есть какой-то смысл, пусть невыразимый.

ОБ АВТОРЕ: Валерий ЧЕРЕШНЯ, Санкт-Петербург. В последние годы часть времени живет в Нью-Йорке. Родился в 1948 году в Одессе. Автор четырех сборников стихов: «Свое время» Нью-Йорк, 1996; «Сдвиг» Петербург, 1998; «Пустырь» Петербург, 1999; «Шепот Акакия» Петербург, 2008; и книги эссе «Вид из себя» Петербург, 2000, а также многочисленных публикаций в журналах: «Новый мир», «Звезда», «Дружба народов», «Октябрь», «Постскрипум» и многих других.

Мария ВОЙТИКОВА

* * *

Этот город стал моим –
Божьей милостью.
Нелегко свыкалось с ним,
С зимней сыростью,
С нудным шелестом дождей,
В ночь укутанных,
С невозможностью гостей,
Шумных, кухонных.
В этом городе, кляня
Все пророчества,
Я прошла от А до Я
Одиночество.
Город видел, город знал
Сердцем каменным,
Как слонялась допоздна
Неприкаянно.
Он чуть свет меня будил
Птичьим пением,
По ступеням возводил
Вверх, к терпению.
Он меня облюбовал
Так непрошенно.
Он меня не ревновал
Даже к прошлому.
Не метался, не менял,
Не увиливал.
Постоянство сохранял
В строгих линиях.
Он любил, не помня зла,
Без раскаянья.
Я такой любви ждала –
Твердокаменной.
Не безумной, не мирской,
Не отеческой.
Я устала от такой –
Человеческой.
Город в душу не влезал,
Знал, что выжжена.
Никому не рассказал,
Как я выжила.

Мария ВОЙТИКОВА

* * *

Лето дряхлеет, становится старым.
Дворник усердно метет тротуары.
Ветер-пастух собирает в отары
Листья свои между делом.
Дышится как-то совсем облегченно,
Мыслится как-то совсем отвлеченно,
Пишется проще по белому черным,
Даже по белому белым.

Улица мокнет с людьми и котами.
Дождик сегодня, сказали, местами.
Люди спешат под большими зонтами
Или без зонтиков вовсе.
Капли ползут по нарядным витринам.
Хочется молча сидеть у камина.
Только хватило бы серотонина,
Чтоб полюбить эту осень.

* * *

Все тот же круг. И душ родство.
С годами жить ничуть не легче.
Но время лечит, точно лечит,
Хотя не ясно, от чего.

Любовь все так же высока,
И мне опять не дотянуться,
И дважды в реку не вернуться,
И утекла моя река.

Зато остались берега.
Им было некуда деваться...
Должно же что-то оставаться,
О чем нам память дорога!

Ромашки, клевер, васильки...
И их никто, никто не скосит,
И у меня никто не спросит,
Зачем мне берег без реки.

Фрэнди ЗОРИН

ПАМЯТИ СЕМЕНА ЛИПКИНА

31 марта 2003 года поэт Семен Липкин сошел с дачного крыльца в Переделкино и упал лицом в снег. Так он ушел из жизни...

Не в том краю, что сердцу мил,
Он, вечный обрета покой,
Прижавшись к снегу, воспарил
Освободившейся душой

Над изгородью, где петух
В контексте наших дней нелеп,
Над теми, кто к поэтам глух,
А стало быть, еще и слеп.

Оставив позади Арбат,
Он, сохранивший естество,
Вдохнул весенний аромат
Одессы детства своего,

Потом – и зной земли отцов.
Не прячься от родства кровей,
Он шел, как мог, на этот зов
От первых до последних дней.

Так и запомнится навек,
Как в утро то перед крыльцом –
Поэт, лицом упавший в снег,
В грязь не ударивший лицом.

* * *

Никто бы, верно, и не делал зла,
Когда оно бы не торжествовало.
Однажды выпускающая жало,
Уже не может дальше жить пчела.

Но гений злой над добрым верх берет,
И редок там, где в радость чья-то мука,
Талант – не жалить, а жалеть друг-друга,
Для ближнего копя не яд, а мед.

Фрэдди ЗОРИН

ПАМЯТИ БОРИСА БАРКАСА

*Борис Баркас – ушедший из жизни в
безвестности автор стихов к песне "Арлекино",
с которой триумфально начиналась сценическая
карьера Аллы Пугачевой*

То дарит улыбку, то строит гримасу
Судьба. Так по жизни плывем...
...И снилось открытое море Баркасу,
И стать он мечтал кораблем.

Высоким мечтам уготованы мели,
И радость сменяет беда...

И, тая вдали, на прощанье гудели
Протяжно большие суда.

Остался Баркас на пустынном причале,
Не в силах тоску превозмочь,
И мутные волны безбрежной печали
Качали его день и ночь.

Непросто лицо разглядеть за личиной,
Бездонны глубины души,
Но если ты маску надел Арлекина,*
То, даже рыдая, смехи,

Людей весели горьким смехом паяца –
Они ведь грустить не хотят!..
Но может не выдержать и разорваться
Аорта, как слабый канат.

... Не дайте, друзья, чтобы памятник скромный
Над прахом несбывшихся грез
Зарытым талантам и жизни бездомной
Травую забвенья зарос!

Берта ФРАШ

* * *

В ответ на молчанье,
вдогонку разлуке
сорвется слеза
на поникшие руки.

В грозу уходящая молнии вспышка,
но пар остается,
его держит крышка
небесного свода
сцепившихся рук.
Его не покинуть,
пока замкнут круг.

Всё в мире едино,
и все мы различны.
Дороги знакомы,
и будни привычны.
Пусть хлеба в избытке,
тепла не хватает...
И ночь, как могла бы,
ничто не скрывает.

* * *

Молчание жестче всех гласных и грозны
глухие в разлитых морях расстояния.
Молчание длится минуту.

Нервно
сжимаясь до точки, немного отчаянья,

борозд на лице и оврагов сердечных,
вершинами гор, ограждаясь от мира.
Минуты и годы – всё кажется вечным.
Любовь только маска дневного вампира.

Слова возникают, как звезды на Млечном
и гаснут, как искры на утреннем своде,
пронзают догадкой, шершавостью речи,
спонтанностью мыслей и каплей свободы.

Берта ФРАШ

* * *

Подарок жизнь. Всё было счастьем –
разлуки, руки и глаза.

И сны, тревожившие часто,
дожди, метели и гроза.

И реки, пароходы детства,
каток, огни, шаги по льду.

И ускользящие средства
понять реальность и беду,

шептать молитвы, благодарность,
объять словами шар земной

и быть слепой, теряя малость –
подарок жизнь, в ней день с тобой.

* * *

Утро выдавливает себя сквозь раму,
сито туманом и снами засорено.

Больно ли утру продавливать рану?
Только дорога веками проторена.

Только дорога не знает усталости.

Утро апрельское склонно к репризам.

Вишня цветет, невзирая на шалости

И вопреки всем весенним капризам.

Иван ВОЛОСЮК

* * *

Уходили головы их в плечи,
Догорал закат, сгущалась мгла,
Со времен последней нашей встречи
Жизнь прошла – пустыней пролегла.

У колодца – белый снег горою,
А в колодце – черная вода,
Уколоться остроу иглою
И не просыпаться никогда.

За весной всегда приходит лето,
Жизнь пройдет, как с белых яблонь цвет,
Съесть бы только яблочко с секретом
И не просыпаться триста лет.

В этой жизни больше нет порядка,
И не ново в мире умирать,
Научите, как сгореть с остатком.
Без остатка не хочу сгорать.

* * *

Мы – поколение, связанное крепко,
Одною цепью, кабелем одним,
И торрентов вытягиваем репку
Из серых, оцифрованных глубин.

Взрослеем рано, умираем рано,
Живем не так и молимся не так.
Прости меня и сохрани от спама,
Убереги от хакерских атак!

ОБ АВТОРЕ: **Иван Иванович ВОЛОСЮК**, Донецк. Поэт, филолог. Родился в 1983 году в Донецкой области. Окончил Донецкий национальный университет. Публикации в журналах «Побережье» (США), «EDITA», «Крещатик» (Германия), «День и ночь» «Зинзивер», «Дети Ра», «Новая юность», (Россия), в литературных изданиях и периодической печати Украины, Канады, Австралии, Беларуси, Молдовы. Автор сборников стихов «Капли дождя» (2002), «Вторая книга» (2007), «Продолжение земли» (2010), «Помнящие родство» (2011, в соавторстве), «Донецкие строфы» (2011). Член Межрегионального союза писателей Украины.

Иван ВОЛОСЮК

СВЯТОГОРЬЕ

Места знакомые. Намолен
Здесь каждый камень, воздух свят.
Покинув гнезда колоколен,
К нам звуки птицами летят.

Но я не птица, поднимаясь
над Лаврой, не увижу я,
Как все огни свечей, сливаясь,
Становятся столбом огня.

* * *

– Независимость, – сказали вы, –
Проживем без москалей.
Широка страна – разваливай,
Да растаскивай скорей.
Полстраны окатоличено,
Ополячено. Объято
Безразличием, безличием,
Равнодушием проклятым.

* * *

И тебя поймали, бедная
Птица-пленница и страж,
Посадили в клетку медную,
Как графиню в экипаж.

Небо лунным светом залито,
Птица-пленница, лети!
Сколько чудных песен за лето
Ты не спела взаперти..

Иван ВОЛОСЮК

ДВИЖЕНИЕ

(Подражание Заболоцкому)

Эту быль пишу я взрослым...
Через рошу, напрямик,
На лошадке низкорослой
Ехал с кузницы мужик.
Через бор он ехал сонный,
Мимо дремлющих равнин
И, в движенье вовлеченный,
Стал пространства властелин.
Стал природы повелитель,
Дух учености стяжал,
И чреде чужих открытий
Путь скорейший указал.
Тем, кто бьются над загадкой
Бытия, не зная книг,
Нужно ездить на лошадке
Через рошу напрямик.

* * *

Билось сердце, как часы с кукушкой,
В ночь гудки роняли поезда,
Расстоянье выстрела из пушки
Нам казалось маленьким тогда.
Билось сердце в жертвенном ударе,
Ты меня тоской не удивишь,
Говорить с Москвою о пожаре –
Только сердце зря разбередишь.

* * *

Переменчива погода,
Глушь да грязь,
Осень входит в храм природы,
Не крестясь.

Предстоящий путь опасен,
Час пробил...
Неужели шум прекрасен
Птичьих крыл?

Иван ВОЛОСЮК

* * *

Прощай, немытая Россия...

М.Ю. Лермонтов

Ни Праги нынешней,
ни Праги миновавшей
Нет в памяти моей, по крови я не чех,
Но прав был человек,
однажды мне сказавший,
Что молится за всех.

Мне незачем писать для всех,
кто на земле той,
Не побоявшись жить, боится умереть?
Ты думаешь, что стих –
разменная монета,
Кочующая медь?

Ты думаешь, без нас Россия будет та же,
И сохранят ее от всякого врага?
Но на руках моих спасительная сажа
Родного очага.

* * *

Игорю Михалевичу-Каплану

Побережье – тире, львовский дождь – это точка, теперь я
Телеграфному стилю тебя научу без труда,
Ты встречаешь Айрин, открывая все окна и двери,
Так встречают гостей, так любимых встречали всегда.

Океан отнимает последнее, берег, как нищий,
Небоскребы – пучки вертикальных тире – посмотри:
Эти звезды, как точки, как взгляд затаившийся, хищный,
Как стеклянная колба с живую лучиной внутри!

9 сентября 2011

Сергей ПАГЫН

* * *

Память – словно старуха, выжившая из ума,
или развеет прахом, или снесет в чулан
все, что считал я главным... Заштопанная сума,
в бледный цветочек узел, оттянутый вниз карман

сохранят лишь безделицу: колесико от часов,
коготь птичий, железку с пружиной в ней,
маковую головку, ржавый дверной засов,
сморщенный терна плод, рассыпавшийся репей.

Гаснут беда и нежность... Стынет любви ожог...
Но во мне проступают, будто из-под воды,
крошечный вызов смерти, тоненький голосок – птичий коготь,
чешуйка сияющая слюды.

* * *

Пространству к ночи – вздох, отрада и прибыток.
И там, где всякий звук прозрачен был и сух,
оно растет под зык цикад, в траве сокрытых,
под влажный скрип дверей и жалобу старух

на то, что денег нет купить на рынке лука,
что валится совсем курятника стена...
А там – за кромкой слов, за изгородью звуков
такая дышит даль, такая тишина!

ОБ АВТОРЕ: Сергей ПАГЫН родился в 1969 году. Живет в городе Единцы (Молдова). Редактор периодического издания «НордИнфо». Автор трех книг стихов – "Обретение" (2002), "Прогулка в ноябре" (2005) и "Сверчок в радиоприемнике" (2008). Стихи публиковались в молдавских изданиях, в газетах "Литературная Россия" и "Кстати" (Сан-Франциско), в приложении "Литературной газеты" "Евразийская муза", в журналах "Дружба народов", "Литературный меридиан" (Дальний Восток), в сетевых литературных журналах "Периплы", "Вечерний гондольер", "Новая реальность", в антологии "Современное русское зарубежье", в журналах «Дети Ра» (2010), «Знамя» (2011). Член Ассоциации русских писателей Республики Молдовы.

Сергей ПАГЫН

* * *

Смерть, как мальчика,
возьмет за подбородок.
«Снегирек... щегленок... зимородок... –
скажет нежно, заглянув в глаза.
– Ну, пошли со мною, егоза».

И меня поднимет за подмышки,
и глядишь: я маленький – в пальтишке
с латкою на стертом рукаве,
с петушком на палочке, с дудкою,
с глиняной свистулькой расписною,
с мыльными шарами в голове.

А вокруг – безлюдно и беззвездно...
Только пустошь, где репейник мерзлый.
Только вой собачий вдалеке.
Только ветер дует предрассветный.
И к щеке я прижимаюсь смертной,
словно к зимней маминой щеке.

* * *

И только нежность проскользнет сюда,
где в козьей лунке знобкая вода
вдруг вспыхнула под облаком закатным,
где верещит отчаянно сверчок,
и змейкой вьется темный холодок
лишь в пальцах листик помусолишь мятный.

И ты стоишь, оставив за спиной
всю жизнь свою, весь бедный опыт свой,
и будит поля голого безбрежность
не тусклый страх, не долгую тоску –
к багряной лунке, к мятному листку
последнюю пронзительную нежность.

Сергей ПАГЫН

По картине Христофора Паудисса «Натюрморт»

Здесь смерти нет – у глиняной стены,
чья суть светла, а сны – шероховаты.
Здесь пахнет хлебом, черносливом, мятой
и пряностью неведомой страны.

На лавку сесть, душою ощутить
надежный свет, доселе неизвестный.
Вот лук и склянка с влагою чудесной,
подвешены за скрученную нить.

И луковку сухую шелуша
надежды малой,
вдруг услышать – кочет
орет снаружи... Но уже не хочет
идти во мглу рассветную душа.

* * *

На уроке химии, которую не любил,
у доски, что в разводах была белесых,
нес я чушь, без удержу говорил,
чтоб учитель вдруг не прервал вопросом –

беспощадным,
словно бревно, прямым,
под которым мой несуразный лепет
разлетался в прах, обращался в дым,
а за ними – ноль и убогий трепет.

И теперь, вслепую шепча в ночах,
копощась в словах, как мышонок в просе,
и теперь я слышу в себе тот страх
пред внезапным, тяжким, прямым вопросом.

Сергей ПАГЫН

* * *

*...ни сверчок утешенья.
Ни камни сухие журчанья воды.*
Т. Элиот

Чем жить нам с тобою, подруга-душа,
зимою, где нету для нас ни шиша
в заначке судьбы косоротой?
Здесь нежности флейта вморожена в лед
и жесткое небо над нами плывет
хозяйской дерюгой потертой.

И верность неясная персти земной,
пучку базилика да склянке пустой,
блеснувшей в руинах амбарных,
сверчком утешения нам не споет...
И только поэзии сумрачный мед
горит на губах благодарных.

* * *

К сорока у Бога просишь спокойных снов –
неба мягкого, словно проселка пыль,
яблока в палых листьях, неспешных слов,
пустоши, где сияет сухой ковьяль.

Осень сулит покой, а его все нет
ни во снах, ни, тем более, наяву.
У окошка голого – табурет,
над окошком – ангел дудит в трубу,

из бумаги вырезанный да за нить
к потолку подвешенный век назад.
Господи, как темно мне порою жить,
словно перешел я небесный сад

и по мглистой пашне теперь бреду.
И ни снега здесь, ни свечи одной.
И надежда вся, что пройдешь версту –
перелесок светится золотой.

Елена ГУТМАН

* * *

Не знаю, что произошло,
И есть ли смысл в происходящем,
Но что-то главное ушло
В бесплодных спорах с настоящим.

Среди пустеющих аллей
Грустят скамейки в сонных скверах,
Теряет нить клубок страстей
И уменьшается в размерах.

И оглушает тишина,
Когда, проснувшись среди ночи,
Осознаешь: уже весна,
А дни становятся короче.

Но даже дни в который раз,
Идя со мной на откровенность,
Предупреждают – их запас
Утратил неприкосновенность.

Не знаю, как мне с этим жить,
Кричать до судорог, до дрожи,
Когда все то, что может быть,
Прошло и быть уже не может.

* * *

Земля устала до предела,
Упрямо ночь сменяет день,
Но наслаждений жаждет тело
И не отбрасывает тень.

Покинув ад, не приняв рая,
Умножив знание свое,
Мы любим то, что мы теряем,
В конце концов теряя всё.

По воле чьей-то глупой шутки
Нам время жадно дышит вслед,
На этом странном промежутке
И жизни нет, и смерти нет.

Елена ГУТМАН

* * *

Каждый звук натянут нервом.
В голове – сплошной погром.
Мы сегодня – в круге первом
Или даже во втором.

Друг для друга яму роет,
С мыслью, «быть или не быть».
«Буря мглою небо кроет» –
Значит, больше нечем крыть.

Бесконечное движение,
Бесполезные труды.
Мы попали в окруженье
Окружающей среды

В месте, Богом позабытом,
Где у каждого своя
Жизнь, заполненная бытом,
Бытом, вместо бытия.

* * *

Давай закроем дверь, оставим ночь снаружи,
Где сумрак в нашу жизнь проник едва-едва,
Где в сонной тишине устало мерзнут лужи,
Где осень вместо слов, а вместо чувств – слова.

Мы будем слушать хрип заезженных пластинок,
Ни музыки, ни слов не смея изменить.
Жизнь состоит из двух неравных половинок,
Какую-то из них осталось нам прожить.

Пусть Вечность подождет и сеткой паутины
На несколько минут застынет у крыльца.
Мы с нею заодно, мы с временем едины,
Вращается мотив, и ночи нет конца.

ОБ АВТОРЕ: Елена Эдуардовна ГУТМАН, Киев. Поэт, бард, дизайнер. Род. в 1963 г. в Киеве. Член киевского СП. Стихи и песни начала писать в киевском КСП "Костер" (руководитель: Леонид Духовный). Автор трех сборников стихов: «Мой Бог, спасибо за стихи», 1997; «P.S.», 2002; «Маятник», 2008.

Лия ЧЕРНЯКОВА

ЕСЛИ

*Мы, цикады конца и начала бессмертных дней.
Ты жена моя, дочь моя, мать - человечья речь.
И когда нашу легкую глину сжигали в огне,
Твои губы сложились в улыбку, которой не сжечь!*
И. Кузьмин

Если дважды войдешь в эту речь,
ты останешься в ней
От корней до болотных огней,
До скончания дней,
От дрожания тени
В молитвенной пляске затмений
Под прищуром пращи
До базарного свиста камней.

Если врежешься в речь словно врач
вскрывший рану, как враг,
От пуховых перин,
Перебравшийся к треску ребра,
Если звон серебра
Променил на змеиную кожу
Той улыбки с которой уже не дожить до утра,

Если в речь словно в раж, словно в рай,
Словно в страх немоты,
С каждой цыпочкой буквочки
Переходящей на ты
Не цепляться за голую суть,
Захлебнувшись звучаньем
И дознаться до сна, до отчаянья истин простых,

Если дважды войдешь, если речь в твои вступит права,
Как трава, пробивая бездоние рта или рва
На безумном ветру не соврать.
Не сорвать даже вздоха
Той, в чьем яблочном омуте
Золото глаз воровать.

Лия ЧЕРНЯКОВА

ЧАД И КИТАЙ

1 (над Китаем)

Твой Китай
прорастает в меня аки тайна,
оплетает корнями,
маня от скитанья к скитанью
Пробивает Великий Дыхательный Путь,
как бамбук,
там, где звук
застревал шелкопрядом.
"это близко" – щекочет –
"мы рядом".
Прикоснемся мечтами
друг к другу
(молчу: "мне тебя не хватает",
осыпаясь пылью
бледнолицых осколочных солнц).
И когда угасает сознание,
окатив чередой эмигрантских цунами –
за волною стена,
за стенаньем признание –
прибывает к листу
белоснежным,
безжалостным взглядом:
"вот, любовь моя, боль твоя,
что еще надо?"
И больше не помня зачем,
я ломаю булавку как жизнь
над его головой, и взлетаю
стрекозой, бирюзою,
лечебной грозой
Над Китаем.

2 (про Чад)

Прочитает про Чад,
Причитает, и снова читает.
Те, кто в двери стучат –
нищета, не чета, ни черта им
не ответит.
Укроется пледом.

Лия ЧЕРНЯКОВА

Покроется льдом,
Словно озеро, на заре,
Заговорщицким ртом
Перекатные слоги с трудом,
Словно в детстве глотает,
Словно слезы сосулук
Срывается. Не хватает
Только фляги под сердцем,
Не крыльев – плаща за плечами,
Где толкуются, пророчат, кричат,
Но не помнят: в начале...
Бледным росчерком чайки,
Двух вздохов в ответ не связав:
Это... не было... Было.
И небо закрывает глаза.

ДЕРЕВО-ДЕРЕВО

Дерево-дерево, детство в твоей коре
Не один прогрызло подземный ход,
И когда на заре ветви твои в серебре,
Листья твои о добре не читать легко.
Далеко сквозь рассветное молоко –
Это дерево-заревое так обнимает меня,
Что любой дурак Иваном кричит из огня:
Ах, на что променял,
Не на дуб ли, граб ли,
Грубый какой баобаб,
Видишь, корни тарашат бельма-узлы,
Кривы что твоя судьба.
Это, губы доверив губам,
Закипает небесная прядь
Птичьим криком – Леса горят.

Каждый страшный пожар,
Факир, пожиратель надежд и шпаг,
Нас как слезы слизав с ножа,
К неверным следам припав,
Заползает всё глубже в чашу
К молчащему естеству,
Выгрызая из глотки звук.

Лия ЧЕРНЯКОВА

Это дерево-дудочка,
флейта в одну дыру
Этой муки и музыки
рвущихся, темных струй
Подберу ли хоть ноту,
хоть ключик к скрипучей гамме
Под водою зовущей в Гаммельн.

Под ногами уже не небо горит – трава,
Оригами слагает, морские узлы в кружева
Заплетает – не волосы, водоросли целовать,
Слезы лить.
Легче лилий, метелей, сорванных с диких плеч,
Что молили, хотели от злой судьбы уберечь.
Не спасли.
И теперь не сумеют ни мир, ни меч
Разделить.
Два сцепившихся – око за око –
Толедских ножа,
Опьяневших от танца –
Как кровь откровенья свежа
На холодных опилках, где намертво –
Не продолжай –
Вновь срослись.

Это слово
тяжелой уловкой с пометкой "love"
Это соло
на флейте уже не возьмет Крысолов,
Это солоно,
сонно легла в тетиву стрела –
Прочь от рук.
Это самая страшная
нежность с помаркой "не"
Это песнь голосов на дне,
и вода над ней –

Этот свет,
который погаснет в чужом окне
поутру.

Зоя ПОЛЕВАЯ

НЬЮ-ЙОРК

Я не часто выбираюсь
В этот город многоликий.
Им невольно увлекаюсь:
Шум, движение, звуки, блики.

Океаном отраженный,
Раскаленный от жары,
Беспокойный, напряженный,
Разделенный на миры.

В камне, стеклах и металле,
В мелкой солнечной пыли
То он резко вертикален,
То распластан вдоль земли.

Там подземки ляг и скрежет,
Там машин безумный рой.
Он и строг, и безмятежен,
И обвешан мишурой.

Безразличный, но радушный,
ЗаклЮчить всегда готов
Дерзких или простодушных
Он в объятия мостов.

Он огромный, яркий, разный,
Он и мелок, и велик,
И кругом звучит соблазном
Каждый сущий в нем язык.

Он закрутит и завертит:
Парки, дворики, дома –
Уморит почти до смерти,
И почти сведет с ума.

И заставит он влюбиться
В неповторный профиль свой,
И громадной хищной птицей
Запарит над головой.

Зоя ПОЛЕВАЯ

О ДВУХ ГОРОДАХ

Здесь город чужой
Неповинный ни в чем.
Его океан подпирает плечом.
Каналы, тоннели, разъезды, мосты,
Прямые дорог, перекрестков кресты.
Он множится в окнах
И в стеклах машин.
Он в небе висит,
Как светящийся джинн.
Он в сердце мое,
Как холодный кристалл,
Вошел, и в аортах
Безвыходным стал.
Я рада, я рада,
Что здесь не живу;
Что утром я вижу
Деревья, траву;
Что эти колоссы
Не рядом со мной,
А лишь позади,
За моею спиной.
Привет тебе, мощный
Огромный магнит,
Но город другой
Мое сердце хранит.
Он греет мне душу
Закатным лучом,
И день расставанья
Друзей ни при чем.

Зоя ПОЛЕВАЯ

* * *

А в Киеве нынче чудесная осень.
И кленам с каштанами листья не сбросить
До тех пор, пока в синеве облака
Белее и легче лебязьего пуха.
Там нынче, как в храме, стоит перезвон, –
Слепящих лучей, золотящихся крон,
Светлейших берез, тонко плетенных лоз, –
Едва различаемый слухом.

И я в этом храме бывала не раз,
Вдыхала там воздух горчайший и сладкий.
Там всё было ясно, как в школьной тетрадке,
От грома до шепотом сказанных фраз.
И я всякий раз возвращаюсь туда,
Где любят меня, где мое место пусто.
Где рядом идут нищета и искусство,
И дух просветленный, и в хлебе нужда,

Там сад мой, с хрустальной росой поутру,
Со мною заводит такую игру,
В которой по-прежнему лето.
Деревья мои, будто верные псы,
Затихли и ждут, не считая часы,
Всё преданней с каждым рассветом.

* * *

Когда я взлетала, когда я летела,
Душа покидать своих мест не хотела;
Прильнула к земле и на ней распласталась.
А я улетела. А я не осталась.
Ну что расстоянье? Оно не преграда
Для мыслей, для чувств, для растрат и для боли.
Но всё, что люблю я, и всё, чему рада –
Лишь памяти признак, лишь призрак, не более.
Вот так и живу. Что реально? Что мнимо?..
А дни как чужие проносятся мимо.

Шошанна ЛЕВИТ

ИЕРУСАЛИМ В СНЕГУ

Загляделся, изумленный,
С высоты небесных крыл...
В снежных розах куст зеленый...
Кто нам всё наворожил?
И один художник старый
Видел, кажется, во сне,
Как на треснувшем стекле
Ели тихо расцветали...

* * *

Вот они –
Женские белые ночи.
Темные очи.
В сером тумане
Все без изъяна.
Бьют каблуки
Глухо по камню
То ли дорога,
То ль тротуары –
Небо завешено
Серым туманом.
Серые губы,
Волосы серы,
Пепел седеет
На сигарете...
Тихо вокруг
И вдруг лепет ребенка:
– Мама...

Шошанна ЛЕВИТ

* * *

По тебе дождь слезы льет, льет
И в окно печально бьет, бьет.
Высока так между нами стена,
Не достать до твоего мне окна.

И тебе не перепрыгнуть ее,
И лицо ты не увидишь мое.
А вокруг всё стены, стены...

* * *

Ночь зажигает свечи
В небе, в убогих квартирах.
Где-то далече-далече
Боги играют на лирах.

Где-то далече-далече
Слышен сердец перезвон.
Тихие слышатся речи,
Таёт подавленный стон.

Дымом угарные печи
Мир наполняют в тоске.
Где-то далече-далече
Спит седина на виске.

Медленно гаснут свечи
В небе, в убогих квартирах.
Круговоротом вечным
Солнце встает над миром.

* * *

Земля уходит из-под ног,
Над головой – шуршанье крыльев...
И в солнечном сиянье Бог
Мне улыбается всесильный!

Земных оков исчезли звенья
И нет предела чудесам.
Что же с законом притяженья?
Я тяготею к небесам...

Инна ХАРЧЕНКО

ЯПОНИЯ

I

Вот-вот в камине зашипят дрова,
Сосновый дух впитают зеркала.
Из-под пера на рисовой бумаге
Взлетят к утесам два гуся.
И вымокнет под ливнем Фудзияма,
И жилы рек – в самшитовых перстнях...

II

Остывший уголек в каминном чреве
Под утро притворится
Сердоликом...
Два Солнца
На колени станут мигом,
И камень с плеч –
В ущелье Тури-Лоца...
Тропинка вдоль бамбуковой беседки
Яшмовой нитью
Выведет меня
К верхушкам спелых облаков...
Поплачет дождь из тутовой пипетки...

III

Огонь в камине –
Короче срезанного стебля тростника...
Сиянье озарит твою улыбку,
И в нашем мире ненадежно-зыбком
Из всех твоих божественных даров
Бордово затрепещут тамариски.
И станешь ты
Мне самым близким
Из всех тысячеоких берегов...

Инна ХАРЧЕНКО

ЕГИПЕТ

Остывает задумчивый Нил,
Окаймленный кальяновой бездной.

Я стою у истока планет
Молодой белокурой невестой.

В хороводе горячих песков
Разрастаются корни платана.

Заблудилась ночная Луна
На четвертой странице Корана.

Я стою у истока планет
У персидского рыбьего глаза.

Эвкалипт достает из небес
Драгоценные звездные стразы.

Переписаны все письма
На червленые сонмы наречий.

Зеркала голубых миражей
Вознеслись бедуинам на плечи.

Ароматом наполнен Каир –
Надмогильные плиты династий.

Погружаются камни в песок,
Отрекаясь от денег и власти.

Отнеси меня, аист, домой,
Где в саду зреют сладкие груши,

Где в бессонные ночи любви,
Как цветы,

Раскрываются души...

Я ВЕРНУСЬ...

Я вернусь чудотворной иконой,
Вифлеемской звездой на небе,
Черноморской водою соленой,
Золотистой корочкой хлеба.

Я вернусь окрыленной, с надеждой.
Темной ночью с зажженной свечою

Семигранным лучом благовеста
Я тебя обвенчаю с весною.

Я вернусь без греха – без гордыни,
И вдоль Буга травой прорасту.

Коктебельский веночек полыни
В мастерскую твою принесу...

Людмила НЕКРАСОВСКАЯ

РУССКИЙ ЦИКЛ

Киеву

Туда, где Днепр тяжелою волной
Границы раздвигал береговые,
И напоенные его водой
Врастали в небо сосны голубые,
Где косо натирали облака
Висевшую большой монетой медной
Луну, и где прелепотно река
Крутых холмов украшена обедной*,
Где помыслы чисты и высоки,
И сила порождается землею,
Туда пришел, гласит легенда, Кий,
Двух братьев и сестру ведя с собою.
Зело красна девица и умна,
И не напрасно скальд про Лыбедь бает.
Да расхворалась, бедная, она,
И огневица всё не отпускает.
Простер десницу Кий – привычный знак,
Чтоб спешиться и высушить поняву**.
Здесь край особый, убедится всяк:
И ловище, и трапеза на славу.
«Камо грядеши, Лыбедь?» – «Я – к Днепру.
Опаки мнятся: стоит окунуться –
Перун мороки заберет к утру,
И на ланиты сможет лал*** вернуться».
Поверил Кий и город заложил,
Найти родней какого не берусь я.
И только время добавляет сил
Земле, что издревле зовется Русью.

* ожерелье

**род грубой льняной одежды

***рубин, красный яхонт

Людмила НЕКРАСОВСКАЯ

ГЕТМАН

Литва, Россия, Польша, хан Гирей –
И земли Украины в вечном плаче.
Соседям не по нраву дух казачий,
Который извести хотят скорей.
Но этой ночью, гетман, твой черед,
Ведь не сложнее, чем на Сечи рубиться,
Понять: лишь православная столица
От поруганья веру сбережет.
И невозможно прекратить борьбу,
Когда душа корежится от боли.
А не отнимет ли Россия воли
За право разделить ее судьбу?
Устала от сомнений голова,
Раздумывая, как спасти свободу,
Чем стать полезным русскому народу,
Пока в руке режется булава.
Ворочается гетман и не спит,
Прислушивается к дыханью сына.
А за окном притихла Украина,
И время, цепью звякая, дрожит...

ИОСИФ

Неужели они? И, похоже, меня не узнали.
Робко жмутся в дверях и мешки разложили у стен.
Долог лет караван. С той поры, как меня продавали,
Постарели они. Да и я изменился совсем.
Как тогда я вопил, пробудить в них отчаявшись братство!
Как я был одинок! Сколько боли с тех пор превозмог!
Но страшила не смерть, а чужбина, предательство, рабство.
Хорошо, что в пути постоянно поддерживал Бог!
Как надменность тогда искажала родимые лица!
Но увиденный сон оказался реальным вполне.
Фараона слуге норовят до земли поклониться,
Чтоб от голода спас. А поклон их достанется мне.
Зло нельзя наказать, раскрывая при этом объятья.
Мне давно ни любовь, ни погибель семьи не нужна.
Но какие ни есть, а они - моя кровь, мои братья!
Это выше, чем месть. Эй! Насыпьте пришедшим зерна!

Людмила НЕКРАСОВСКАЯ

МАТЬ И СЫН

МАТЬ

А за окошком черным зверем
Металась раненая ночь.
Княгиня обходила терем
И отгоняла думы прочь.
Потом прислушалась немного,
Внимая сонным голосам,
Но постоянная тревога
Ее тянула к образам.
«Недавнее – тягарь на вые,
А будущность – не по плечу.
В который раз тебе, Мария,
Свечой икону золочу.
Древлянам Игоря отместила,
Но не утешилась, увы.
И совершенно не по силам
Мне участь княжеской вдовы.
Но не о том теперь пекусь я.
Мария, ты ведь тоже мать!
Скажи, Владычица, как с Русью
Мне сыну веру передать?
Пусть он поймет, что вера – посох,
И с ней сподручнее в пути,
Она – спасение для россос,
Возможность истину найти.
И, княжа в Киеве по праву,
Не убоявшись никого,
Пусть славит русскую державу
Да имя сына твоего».
Умолкла Ольга утомленно,
Приникла к лику, трепеща.
И задрожала пред иконой
Живым дыханием свеча.

Людмила НЕКРАСОВСКАЯ

СЫН

Опять гонца прислала мать
И снова говорит о вере.
А я не стал бы открывать
Пред Византией наши двери.
И суть не в том, что бог один
Куда сильнее и лучше многих,
А в том, что в доме господин
Лишь тот, кому подвластны боги.
И, прикрывая эту суть,
Чтоб веру выказать святыней,
Желают россос обмануть
И гордость объявить гордыней.
Я не хочу, чтоб чей-то бог
Давался нам, как подаянье,
Не допущу, чтоб кто-то смог
На Русь оказывать влиянье,
И потому не уступлю
Словам достойнейшей из женщин,
Хотя безмерно мать люблю,
Но ведь и Русь люблю не меньше.
Я, не жалея живота,
Готов, покуда носят ноги,
Доказывать, что Русь святая
Без веры о едином боге.
Но мать зачем-то до утра
Его о милости молила.
А, может, каяться пора,
Взывая: "Господи, помилуй!"?

ОБ АВТОРЕ: Людмила Витальевна НЕКРАСОВСКАЯ, Украина. Родилась в г. Бендеры, в Молдавии. Член правления Конгресса Литераторов Украины. Почетный гражданин искусства (Мадрид), Золотое перо Руси (Москва), лауреат многих литературных премий, международных поэтических фестивалей и конкурсов. Автор 11 поэтических сборников. Печаталась в литературных журналах, антологиях и альманахах Украины, России, США, Испании, Израиля, Великобритании, Греции, Германии, Канады, Голландии.

Павел ГОЛУШКО

* * *

А. Ч.

*Вот почему в конституции отсутствует слово "дождь".
В ней вообще ни разу не говорится
ни о барометре, ни о тех, кто, сгорбясь
за полночь на табуретке, с клубком вигони,
как обнаженный Алкивиад,
кортают часы, листая страницы журнала мод
в предбаннике Золотого Века.*

И. Бродский

снова лист покрывается сеточкой корявых черточек,
не обращая внимания на ошибки и отсутствие запятых...

я опять не слишком любезен и всеяден абсолютно, хочется
на побережье, где песок обжигает нежен...

мир самоотверженно оперирует историю, но это не мешает
потокам горных рек, они движутся, не претендуя на границы
и законы, радуя каждого, обращающего к ним свой взор...

окружающим безразлично всё то, чему они свидетели, и даже резкие
порывы ветра в лицо, где в затуманенных глазах пытаются
спрятаться остатки того, что называлось мечтой...

то же касается и жильцов-соседей, которые не способны
отличить паутину от узора слов, сотканного болью...
хорошо, что в окне есть еще горизонт, создающий новые
картины в течение суток...

и в памяти остались ночи, проведенные у костра в далекой
стране под названием Юность, давным-давно, совсем другим
человеком, в котором больно узнавать себя...

...но ты веришь в меня и говоришь, что если бы я не писал,
я бы пел... наверное... ведь я потерял столько в этой жизни,
что скоро количество месяцев, проведенных в больничных
палатах, создаст планету, на которой будут расти капельницы,
как когда-то баобабы в бессмертном произведении...

когда я уйду, не пытайся узнать меня в толпе, просто живи —
просторы бескрайни, наслаждайся...

вернуться сможет лишь один, тот... помнишь... из Вифлеема,
но мне кажется, что мир, увидев его... растеряется... и повторит
свой грех... вот только кто будет в роли Пилата на этот раз...

Павел ГОЛУШКО

МОЙ УИТМЕН

*Время – ничто и пространство – ничто.
Я с вами, люди будущих столетий.*

У. Уитмен

Уитмен шепчет мне по ночам на ухо истории,
не написанные им при жизни...

Восхищается полями асфodelей, говорит,
что там они напоминают незабудки.

Рассказывает, каких мальчиков он повстречал, закончив
свой земной путь, их души спят в кроватках, похожих
на колыбели младенцев.

Оказывается, там есть любовь, но запрещено произносить слова
«жизнь» и «смерть»...

Проснувшись, я смотрю в окно, и вместо волшебных снов
остаются только осколки прекрасных и недоступных витражей,
созданных Мастером.

А еще – едва заметные выбоины в душе.

Словно следы водой, они заполняются потом новыми
ощущениями, и благодаря этому рождаются новые стихи,
возвращая мне осязаемое веяние теплых ветров Рая.

ЭМИГРАНТЫ

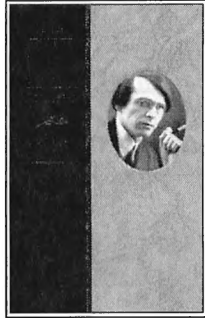
Влетая в страны,
вживаясь в дома,
вплетаясь в ритм жизни,
залечивая рваные раны эмиграции –
создаем сознательное равновесие,
испытав очередную встряску,
пострашнее землетрясения.
И это не попытка самовозвыситься –
это попытка взлететь,
не потеряв самообладания,
превозмогая боль в крыльях.
А если кому-то не хватит сил долететь,
пусть сядут отдохнуть на тающую льдину,
под мелодию дождя или ветра.
И поймут, что теперь будут
жить спокойно, смело выбрасывая
из карманов остатки ностальгии,
уже почти растроченные в полете.

К 125-летию со дня рождения Владислава Ходасевича

Елена ЕЛАГИНА

ТРЕЗВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

На вопросы литературоведа отвечает автор первой биографии Владислава Ходасевича Валерий ШУБИНСКИЙ.



Владислав Ходасевич: чающий и говорящий (подарочное издание). – *Вита Нова*, 2011. – 720 с. – 1100 экз.

Елена Елагина. *По сути дела, это первая выходящая в России биография Ходасевича. По предыдущим вашим книгам знаю, как дотошно вы работаете с источниками. В какой степени вашу книгу можно отнести – неформально, по подходу к делу и текстологическому оформлению – к академическому изданию, а в какой – к массовому?*

Валерий Шубинский. – Это не только российская, а вообще первая биография Ходасевича. Более того, первая монографическая книга о Ходасевиче, выходящая в России, не считая небольшой книжки И. Сурат о его пушкиноведческих штудиях. Однако моя книга – не академический труд. Хотя из всех написанных мной биографий эта, наверное, самая фактологически основательная. По крайней мере я к тому стремился в меру своей квалификации.

Е.Е. – *Петербургское издательство «Вита Нова» выпускает в основном роскошные подарочные издания. Ваша новая книга в том же ряду? Кто из художников ее оформлял? Много ли в ней иконографического материала?*

В.Ш. – Иллюстративным материалом занимался Виктор Наумов, известный коллекционер. Даже в сравнении с другими изданиями «Вита Новы» книга обильно иллюстрирована и многие материалы эксклюзивны.

Е.Е. – *Какими источниками пользовались на этот раз? Назовите хотя бы основные. Довелось ли работать с архивами?*

В.Ш. – Думаю, перечислять опубликованные источники не стоит – их слишком много. Из шести или семи архивов, в которых я работал, в первую очередь стоит указать Российский

государственный архив литературы и искусства в Москве, где есть особый фонд Ходасевича. Значительная часть хранящихся там материалов, в частности писем, не опубликована.

Е.Е.– *Чем примечательна биография Ходасевича? Известно, что человек он был не только необыкновенно зоркий, но и чрезвычайно желчный. Открыли ли в процессе работы что-то для себя совершенно неожиданное?*

В.Ш.–«Ядовитость» Ходасевича, как и подчеркнутая мужественность, «конквистадорство» Гумилева, была, на мой взгляд, формой самозащиты хрупкого, уязвимого человека. Поэт – вообще обычно уязвимое существо. Судьба Ходасевича – это спор человека и художника. Художника, который то презирает «земной жребий», то завидует ему, то пытается его для себя принять... Это, кстати, и один из центральных мотивов его творчества.

Есть и другие важные аспекты, касающиеся, например, политики. Путь Ходасевича в этой области был очень сложен, извилист: в какой-то момент он сочувствовал Советам, потом оказывался в оппозиции слева (отвергал НЭП!), потом – в очень правом, «белогвардейском» лагере. Это всё нуждается в понимании, истолковании... Что оказалось для меня новым? Например,

некоторые аспекты взаимоотношений Ходасевича с советской литературой в последние годы его жизни.

Е.Е.– *Какое место в русской поэзии, на ваш взгляд, занимает Ходасевич? Чем он ее обогатил? Есть ли что-то особо «ходасевичское», по чему можно сразу определить его авторство?*

В.Ш.– Современники высоко ценили Ходасевича, но зачастую видели в нем архаиста. Между тем он – через голову многих радикальных новаторов – прорывается в будущее литературы, в нашу эпоху. Сочетание рациональности, классических стиховых форм с экспрессией, с остранением... Это очень приблизительное определение того, что связано для нас с Ходасевичем, что неоспоримо присутствует в нашей поэзии, в нашем языке.

Е.Е.– *Ходасевич был не только замечательным поэтом, но и превосходным критиком. Как бы вы определили его стиль работы в этой иностасии?*

В.Ш.– Он был требователен к другим, как и к себе. Но в том, что касается общих тенденций развития литературы, он был более зорок, чем при оценке отдельных авторов и текстов. Полная противоположность Гумилеву.

Е.Е.– *А каков современный читатель Ходасевича? И есть ли он? Как вы его себе представляете? Или же это поэт для поэтов?*

В.Ш.– Ходасевич – поэт достаточно «демократичный», чтение его стихов не требует, как правило, каких-то уникальных навыков и познаний. Но читателю нравится самоотождествляться с лирическим героем, и при этом он, естественно, хочет ощущать себя красивым, романтическим, эффектным, а не «желто-серым,

полуседым». Поэтому, к примеру, у Гумилева, Есенина, Цветаевой читателей больше. В то же время Ходасевичу чужда жалость к себе, чуждо упоение своей слабостью. Я бы сказал, что он – поэт мужественной и трезвой зрелости. Но это не значит, что среди его почитателей не может быть очень молодых людей.

Е.Е.– *Заслонила ли Владю наша великая «квадрига» (Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Цветаева)? Или со временем он сумел (а может, еще сумеет) выйти из их тени?*

В.Ш.– «Квадрига» – совершенно искусственный конструкт: из десяти с лишним больших поэтов Серебряного века выбрали четверых и канонизировали. Ходасевич в эту четверку не попал по комплексу случайных причин. Например, одним из источников, по которым знакомились шестидесятники с Серебряным веком, стали мемуары Эренбурга, а с ним у Ходасевича были, так уж получилось, очень плохие отношения. Надеюсь, для современной молодежи никакой «квадриги» уже нет, а есть более многочисленный ряд.

Е.Е.– *Достоин ли Ходасевич места в школьной программе?*

В.Ш.– Достоин, конечно, но не думаю, что это так уж важно. Изучение стихов в школе может иметь и обратный эффект.

Е.Е.– *Невозможно не задать и сугубо петербургские вопросы. Владислав Фелицианович – москвич, а есть ли особые петербургские места, связанные с его жизнью? И насколько возможна экскурсия «Ходасевич в Петербурге-Петрограде»?*

В.Ш.– Такая экскурсия непременно включала бы Дом искусств на Мойке, где Ходасевич жил, квартиру Горького на Кронверкском, где он часто бывал (думаю, все помнят его прекрасное стихотворение «Деревья Кронверкского сада/Под ветром буйно шелестят...»?), салон Наппельбаумов на углу Невского и Литейного, где произошло его судьбоносное знакомство с многолетней спутницей – Ниной Берберовой...

«Литературная газета», №21 за 2011 г.

Елена ЕЛАГИНА родилась в 1947 г., живет в Санкт-Петербурге. Поэт. Автор книг "Между Питером и Ленинградом" (1995), "Нарушение симметрии" (1999), "Гелиофобия" (2004), публикаций в журналах, среди которых "Звезда", "Нева", "Новый мир", а также критических статей и рецензий.

Валерий ШУБИНСКИЙ родился в 1965 г., живет в Санкт-Петербурге. Писатель, критик, историк литературы, переводчик. Публикуется в журналах: "Континент", "Звезда", "Вестник новой литературы", "Октябрь", "Новый мир", "Волга", газета "Русская мысль" и др. Пишет прозу и литературно-критические статьи, переводит английскую поэзию.

Владислав ХОДАСЕВИЧ

СТАНСЫ

Во дни громадных потрясений
Душе ясней, сквозь кровь и боль,
Неоцененная дотоль
Вся мудрость малых поучений.

"Доволен малым будь!" Аминь!
Быть может, правды нет мудрее,
Чем та, что вот сижу в тепле я
И дым над трубкой тих и синь.

Глупец глумленьем и плевком
Ответит на мое признание,
Но высший суд и оправданье –
На дне души, во мне самом.

Да! малое, что здесь, во мне,
И взрывчатей, и драгоценней,
Чем всё величье потрясений
В моей пылающей стране.

И шепчет гордо и невинно
Мне про стихи мои мечта,
Что полновесна и чиста
Их "золотая середина!"
23 ноября - 4 декабря 1919

* * *

Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей,

Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам?

Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.

8-29 июня 1921

Владислав ХОДАСЕВИЧ

ЭЛЕГИЯ

Деревья Кронверкского сада
Под ветром буйно шелестят.
Душа взыграла. Ей не надо
Ни утешений, ни усад.

Глядит бесстрашными очами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.

Там всё огромно и певуче,
И арфа в каждой есть руке,
И с духом дух, как туча с тучей,
Гремят на чудном языке.

Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.

И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем.

И не понять мне бедным слухом
И косным не постичь умом,
Каким она там будет духом,
В каком раю, в аду каком.

20-22 ноября 1921

Владислав ХОДАСЕВИЧ

ПЕТЕРБУРГ

Напастям жалким и однообразным
Там предавались до потери сил.
Один лишь я полуживым соблазном
Средь озабоченных ходил.

Смотрели на меня – и забывали
Клокочущие чайники свои;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.

А мне тогда в тьме гробовой, российской,
Являлась вестница в цветах,
И лад открылся музыкальный
Мне в сногшибательных ветрах.

И я безумел от видений,
Когда чрез ледяной канал,
Скользя с обломанных ступеней,
Треску зловонную таскал,

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.

12 декабря 1925, Chaville

ПАМЯТНИК

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершённое так мало!
Но всё ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

28 января 1928, Париж

Владислав ХОДАСЕВИЧ

* * *

Не ямбом ли четырехстопным,
Заветным ямбом, допотопным?
О чем, как не о нем самом –
О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музики
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.

С тех пор в разнообразье строгом,
Как оный славный "Водопад",
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.

И чем сильней спадают с кручи,
Тем пенистей водоворот,
Тем сокровенный лад певучий
И выше светлых брызгов взлет –

Тех брызгов, где, как сон, повисла,
Сияя счастьем высоты,
Играя переливом смысла, –
Живая радуга мечты.

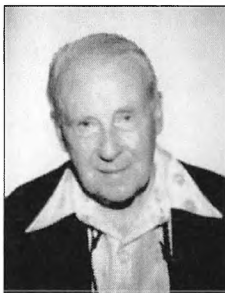
.....
Тайнственна его природа,
В нем спит спондей, поет пэон,
Ему один закон – свобода,
В его свободе есть закон.

1938

*Стихи опубликованы на сайте
<http://khodasevich.ouc.ru>*

НИНА ГОРЛАНОВА

О письмах Юрия ИВАСКА Ирме КУДРОВОЙ



1907-1986

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ИВАСК, поэт, философ, литературный критик, историк литературы. Родился в Москве, умер в американском городе Амхерст, где долгие годы преподавал русскую литературу, был профессором Массачусетского университета.

В "Звезде" №7 за 2011 год опубликованы Письма Ю.П. Иваска, П.П. Сувчинского и В.А. Трейл о Марине Цветаевой" (*публикация Ирмы Кудровой*).

Меня просто поразили там письма Юрия Иваска – потрясающие мысли! – мудрые, да что говорить – гениальные... И я окончательно поняла, как мы много потеряли – с отъездом цвета нашего в эмиграцию...

А какое отношение к слову! Находится самое точное, самое высокое! Вот Иваск решил не согласиться с одним абзацем в статье Кудровой: "Слово 'наслаждение' неприменимо к Ц(ветаевой). Лучше было бы сказать 'упоеание болью и радостью'..." (каково?! – такие тонкости очень важны, мне кажется, именно, что Марине некогда было легкомысленно просто наслаждаться – слишком тяжелую судьбу ей дали...).

Иваск формулирует, казалось бы, очень просто, но это великая простота, где на первом месте – истина. "Не так давно говорил с поэтом И(осифом) Б(родским)... Он талантлив, у него своя манера, но нет сильных страстей, нет настоящих желаний, и в этом он так отличается от Ц(ветаевой)... У Ц(ветаевой)... наитие в поэзии... А на Манделъштама не столько находило, сколько ему давалось: черз

него изливалась благодать. Он новый Давид, хотя уже".

Я, двадцать пять лет читающая "Псалмы" Давида, не могла сама это сформулировать... А между тем у меня только томик Мандельштама всегда лежит слева от компьютера, я читаю его к а ж д ы й день, это мои поэтические витамины.

Есть и такие строки в письмах Иваска: "Что-то жуткое было в М.И., и от этой жути она сама страдала... У Али не было юности в Париже. Вся любовь была обращена к Муру... Надо помнить: все поэты, как говорится, трудные люди. И если бы у них не было так называемых недостатков, то они не были бы самими собою и не могли бы написать многие лучшие свои стихи".

Это мне отдаленно напомнило известную мысль Ф.М.Достоевского, что для счастья человеку нужно столько же несчастья, сколько и счастья (без несчастья нельзя почувствовать – оценить счастье, без недостатков поэты не были бы сами собою...).

Сколько мною передумано во время чтения этих нескольких коротких писем Иваска! Как поздно они пришли ко мне!

Если бы в 18 лет, то есть в январе 1966 года, когда я увидела в магазине г. Красновишерска синий том Марины Цветаевой (из серии "Библиотека поэта"), мне удалось бы прочесть письма Иваска...

Или в 1974 году, когда я выменяла с огромным трудом Мандельштама из этой же серии...

Но о чем это я?! Тогда, в СССР, все были атеисты, и мысль про Давида не была бы мною даже понята...

При всех потерях (родины, родных), которые выпали на долю эмигрантов, всё же одно приобретение у них было точно: можно было сохранять веру и любовь к истокам христианской культуры.

Нина ГОРЛАНОВА, Пермь, 18 ноября 2011г.

АВТОР О СЕБЕ: Родилась в 1947 г. в крестьянской семье в деревне Верхний Юг Пермской области. Закончила Пермский университет в 1970г. Была распределена на кафедру русского языка.

Начав писать стихи и прозу, я ушла из университета в библиотеку вечерней школы. Публикуюсь с 1980г. У меня 13 книг, последняя – вышла в 2010 г. в Париже, она на французском и русском. Была в финале премии "Русский Букер" в 1996 г. В "Журнальном зале" у меня 107 публикаций. Я замужем за писателем Вячеславом Букуром, с которым часто пишу в соавторстве. У нас четверо детей и семь внуков.

Живу в Перми. Веду Живой Журнал: ngorlanova. Член Союза российских писателей. Также я пишу маслом картины, которые просто дарю пермякам.

Амир ХИСАМУТДИНОВ

РУССКОЕ СЛОВО В КАЛИФОРНИИ



Православный собор в Сан-Франциско

Литература играла особую роль в русском Зарубежье. Можно найти немало писательских имен, которые вошли в золотую сокровищницу русского слова. Одним из первых российских литераторов в Калифорнии стал *С.И. Гусев-Оренбургский* (настоящая фамилия *Гусев*), который в 1921 г. через Читу приехал в Харбин, а затем переехал в США.

Немало талантливых людей оказались и в Сан-Франциско. Здесь не случайно одним из самых ранних творческих объединений стал *Литературно-художественный кружок*. Среди его основателей была *Елена Грот*, приехавшая в США летом 1916 г. вместе с мужем, который занимался закупками военного снаряжения. Она окончила Бестужевские курсы, первые стихотворения опубликовала в «Нижегородском вестнике», печаталась в Ташкенте, ее стихи вошли в литературный сборник «Средняя Азия». Во время Гражданской войны поэтесса жила во Владивостоке и печаталась в газете «Голос Родины». В 1921 г. *Е. Грот* вернулась в США, где часто публиковала статьи в газете «Русская жизнь» и была организатором многих литературно-музыкальных вечеров и спектаклей в Сан-Франциско. Вместе с *Ф. Постниковым* она издавала «Русскую газету», была сотрудником газет «Русские новости» и «Русская жизнь». После закрытия «Русской газеты» *Е. Грот* и другие члены редколлегии основали литературно-художественный кружок.

На его первом заседании 11 ноября 1923 г. «председатель собрания выступил с прекрасной речью о значении литературы в ее

благотворном влиянии на душу человека, указывал на необходимость полного отсутствия политической тенденции, призывал присутствующих отдаваться Литературно-художественному делу как чему-то истинно высокому и светлому и т.д.»).

Несмотря на то, что по разным причинам работа Литературно-художественного кружка неоднократно приостанавливалась, он стал одним из наиболее долговечных творческих объединений русской диаспоры в США. Последнее возобновление его деятельности произошло в июне 1939 г., когда на квартире почетного члена кружка Е.П. Грот было выбрано временное правление, в составе:

Е.П. Борзова, Л.В. Глинчикова, Е.А. Гуменская, Е.А. Малоземова, З.П. Степанова и Н.А. Шебеко. На первом заседании Е. Грот прочла доклад «Сравнение русской современной поэзии в Париже, на Дальнем Востоке и в Советской России». Вторая встреча прошла в Калифорнийском университете в Беркли, где Е.А. Малоземова сделала сообщение «До-Петровские медицинские воззрения в некоторых произведениях древней русской литературы».

В заседании принимали участие Ю.Г. Братов, С.Н. Болховитинова, М.Г. Визи, Н.Н. Языков и др. Впоследствии все заседания проходили в помещении Русского центра в Сан-Франциско. В отчете за 1939-1941 гг. отмечалось: «Около полутора тысяч человек посетили эти вечера. «Калейдоскопичность» вечеров дала возможность выступить с краткими докладами и представителям русской молодежи.

В литературной части выступили *Е. и С. Борзовы, Ю. Братов, Е. Варнек, И. Вонсович, Е. Грот, Е. Исаенко, Г. Ланцев, А. Мазурова, Е. Малоземова, О. Масленников, Н. Рязановская* и мн. другие». Литературно-художественный кружок в Сан-Франциско приобрел известность и своей издательской деятельностью, выпустив несколько книг.

Большую роль в становлении кружка сыграл *А.П. Ющенко*, впоследствии профессор русской филологии Мичиганского университета. Деятельно участвовала в заседаниях и поэтесса *Ольга Ильина*. В 1922 г. она приехала в Харбин, затем эмигрировала через Шанхай в США и жила в Сан-Франциско. В конце Второй мировой войны она перешла от поэзии к прозе на английском языке.

Членом кружка в Сан-Франциско была и *Елена Антонова*, приехавшая по студенческой визе в США через Японию в 1923 г. Она окончила в 1928 г. Вашингтонский университет, став геологом. Известно, что с 1940 г. она жила в Нью-Йорке и работала

инженером. Антонова публиковала стихи в периодических изданиях и сборниках («У золотых ворот», «Четырнадцать» и др.)

Весьма популярной русской писательницей в США была *А.Ф. Рязановская*, жена профессора *В.А. Рязановского*. Работая в Харбине учительницей русского языка и литературы, она приложила много усилий, чтобы овладеть английским языком. Вначале она писала статьи, отправляя их в английские газеты в Китае, затем стала работать над большими произведениями. Уже в Америке в 1940 г. писательница получила премию в размере 4 тыс. долларов от журнала «Atlantic Monthly» за роман «Семья», признанный лучшим произведением. Он был задуман задолго до переезда в Америку. «Писала его частями, – вспоминала Рязановская, – создавала тип, а когда сжилась с ним, когда он становился совсем знакомым, переходила к другому».

Летом 1923 г. пароходом из Шанхая в Сан-Франциско приехал *Петр Балакшин*. Здесь он начал учебу на архитектурном факультете Калифорнийского университета. Вскоре вышли в свет его первые рассказы. После окончания Второй мировой войны он стал издавать книги с литературным описанием жизни русских эмигрантов в Маньчжурии, Китае и Америке. Тема русской эмиграции волновала Петра Балакшина до конца его жизни. После «Финала в Китае», описывающего судьбу русских эмигрантов в Азии, он планировал издать новую книгу – о тех соотечественниках, которые нашли пристанище в Европе. К сожалению, писатель успел только систематизировать богатый документальный материал.

В издательстве «Земля Колумба» (редактор-издатель *П.П. Балакшин*) некоторое время работала *Т.П. Андреева*, приехавшая в США из Харбина, где она публиковала свои произведения в журнале «Рубеж». С «Землей Колумба» активно сотрудничала и поэтесса *Т.А. Баженова*, публиковавшая свои стихи в газетах «Новая заря» и «Русская жизнь» (Сан-Франциско), в журналах «Врата» и «Феникс» (Шанхай) и др. Она собирала материалы о русских женщинах, вывезенных американцами в США, изучала быт молокан и русских сектантов на Русской горе в Сан-Франциско. О ней писали: «Она была признанной и оцененной по достоинству поэтессой. В свое время в Сан-Франциско был благожелательно отмечен и дружно отпразднован ее юбилей как поэтессы, писательницы и журналистки. Как жаль, что вскоре после этого поэтесса творчески замерла! Она целиком посвятила себя заботам о труднобольной сестре». Во многих сборниках Балакшина публиковался актер, критик и литератор *Юрий Братов*, написавший повесть и несколько пьес, а также опубликовавший немало рецензий.

Е.С. Исаенко (Печаткина) эмигрировала с группой студентов в США в 1923 г. и продолжила образование в Pomona College. По семейным обстоятельствам ей пришлось бросить занятия и переехать в Сан-Франциско, где она работала упаковщицей на фабрике, судомойкой, швеей и т.д. В свободное время Евгения Сергеевна занималась литературной деятельностью и общественной работой, принимала участие в музыкальных, театральных и литературных представлениях. Она написала и поставила множество пьес, в которых играла и сама. Выйдя замуж за А.Л. Исаенко, она продолжала публиковаться под своей девичьей фамилией.

С 1919 г. в нью-йоркской газете «Русское слово» стали появляться статьи и рассказы *Александры Мазуровой*, которая писала о себе:

«Если бы я была знаменита, всё было бы интересно, но так как я вовсе не знаменита, то с газетной точки зрения интересны такие факты: что я была дружна с Александром Блоком, что поэт Апухтин мой двоюродный дед (от него я унаследовала лишь двойной подбородок или вечную угрозу его), что мою тетку – Марию Федоровну Андрееву, артистку Московского художественного театра, не хотели впускать в США, когда она приезжала сюда в 1906 году с Максимом Горьким, будучи его гражданской женой, что в доме моего дяди – А.А. Желябужского шли репетиции Московского художественного театра (ставили «Уриэль Акоста», Станиславский играл Уриэля, дядя – Сильву), что моя мама была невестой Надсона и т.д.». Мазурова отличалась независимым характером, что стало поводом для «белых» считать ее «красной» и наоборот. Она предпочитала заниматься физической работой, чтобы не поступаться принципами, а всё свободное время отдавала литературному творчеству. Позднее она стала вести отдел «Женщины о жизни» в газете «Русская жизнь» (с 1942 г.).

Мария Рот, публиковавшая статьи и сказки в газете «Новая заря», приехала в Сан-Франциско к детям в 1920 г. из Швейцарии, где жила с 1905 года. Помимо увлечения литературным творчеством, она деятельно участвовала в церковной жизни.

Из Китая приехала в Сан-Франциско поэтесса *М.Г. Визи-Туркова*. В Харбине она училась в Коммерческом училище, затем продолжила образование в Пекине, а в 1924 г. уехала в Калифорнию учиться в колледже. Окончательно она эмигрировала в США в 1939 г., жила в Сан-Франциско и работала в Калифорнийском университете ученым-исследователем. Визи-Туркова первой в 1929 г. перевела на английский язык стихотворения Гумилева.

«Трудны были эти годы, – писал А.Н. Серебренниковой *Б.Н. Волков* в апреле 1939 г. – Более двух лет я грузил и разгружал пароходы

и около трех лет строю дома. Мы здесь, в Америке, или «ломимся сразу», или боремся до конца. Америку, несмотря на тяжелое житье, я полюбил по-настоящему». Во время Второй мировой войны Волков работал переводчиком на судоремонтном заводе. Он публиковал работы в журналах «Рубеж», «Вольная Сибирь» и других изданиях. Он является автором рукописи романа «Царство золотых Будд».

К началу 1950-х годов число русских литераторов в Сан-Франциско еще больше возросло. Большинство из них приехали сюда из Китая, убегая после прихода туда Советской Армии. Так, в 1948 г. была эвакуирована на Тубабао, а оттуда приехала в США журналистка и поэтесса *Ольга Скопиченко*. С 1950 г. она жила в Сан-Франциско. Не обделенная литературным талантом, она работала в разных жанрах: писала стихи и сказки, публиковала статьи в газете «Русская жизнь», ставила пьесы. Ко времени приезда в США она успела издать несколько стихотворных сборников. В автобиографии Скопиченко сообщала: «Родилась в Сызрани. В Харбин приехала с отступающими военными частями в 1920. Училась в харбинских гимназиях и на юридическом факультете до 1928. Уехав в Тяньцзинь (1928), вышла замуж. В 1929 г. уехала в Шанхай, где и живу теперь. Работать в печати начала в 1925 г. Работала, но не постоянно, в газете «Русское слово». В журнале «Рубеж» работала до 1928 г. В Шанхае работала в газетах «Шанхайская заря», «Слово» и «Время», в журналах «Парус» и «Прожектор». Выпустила три сборника стихов: «Родные порывы», «Будущему вождю» и «Путь изгнанника». Постепенно перехожу на прозу, но стихов бросать не собираюсь. Собираю материал для фантастической повести из древнерусской жизни» («Рубеж», 1934).

Поэтесса *А.Я. Назарина*, участница литературных кружков в Харбине и Сан-Франциско, печаталась в периодических изданиях Китая и США («Сибирская жизнь», «Женщина и жизнь» и др.) Большую часть творческой жизни провела в Китае и *Александра Серебренникова*. Оттуда через Осло она попала в Сан-Франциско, где стала работать корректором в газете «Русская жизнь». Время от времени в этой газете появлялись и ее статьи. Коллеги писали: «Во всех пришедшихся на ее долю трудностях А.Н. сохранила непоколебимое мужество, энергию и бодрость духа. Эти качества она проявила и в последние свои годы, терпеливо перенося постигшие ее тяжелые недуги и неуклонно продолжая свою литературную деятельность».

Продолжили в Сан-Франциско литературное творчество и другие выходцы из России. *Наталья Дудорова* публиковала стихи в

сборниках «Земля Колумба», «Русская женщина в эмиграции» и других периодических изданиях США. Новые стихи вышли из-под пера *Виктории Юрьевны Янковской*, большая часть творческой жизни которой прошла в Корее и Китае. Опубликовала в Калифорнии сборник своих работ и *Вера Ильина*.

Поэт и журналист *И.И. Вонсович* основные свои произведения опубликовал в Харбине и Шанхае, но много его статей было напечатано и в русскоязычной печати США. Ряд литераторов приехали в США во время или после Второй мировой войны из Германии. Так эмигрировал в США и жил в Сан-Франциско (с 3 марта 1950) один из деятелей газеты «Русская жизнь» *Михаил Надеждин*, считавшийся в эмиграции известным поэтом.

Автор поэтических сборников инженер-гидротехник *Владимир Ант* уехал с беженцами из СССР в Германию в 1943 г. В 1951 г. он эмигрировал в США, сначала жил в Нью-Йорке, а затем переехал в Сан-Франциско, где был редактором газеты «Русская жизнь» и принимал деятельное участие в общественной и литературной жизни.

Известным литератором в Сан-Франциско был *Михаил Залесский*. Еще мальчиком он участвовал в Гражданской войне, после чего с Донским кадетским корпусом эвакуировался в Югославию, учился на техническом факультете Загребского университета, был председателем группы – Народно-трудовой союз (НТС). В Сан-Франциско он жил с 1949 г.

Р.М. Берёзов до 1941 г. издал в СССР несколько книг, затем активно печатался в США, работал секретарем издательства «Дело» (владелец *М.Н. Ивануцкий*) в Калифорнии, но широкую известность он приобрел благодаря не столько литературной деятельности, сколько скандальной истории с его въездом в страну. В военное время он попал в плен и жил в Германии, откуда под этой вымышленной фамилией – Берёзов, эмигрировал в 1949 г. в США. После раскрытия настоящего имени он находился под угрозой депортации, затем дело было прекращено, но название «Берёзовская болезнь» прочно закрепилось за всеми случаями перемены фамилии для облегчения эмиграции в Америку.

Николай Нароков окончил Киевский политехнический институт, участвовал в Гражданской войне, был офицером армии Деникина, а затем работал учителем математики. В 1932 г. его арестовывали по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группе. К началу Второй мировой войны он жил в Киеве, а в 1944 г. оказался в Германии, откуда в 1950 г. эмигрировал в США. В Сан-Франциско

Нароков продолжил свою литературную деятельность и стал одним из инициаторов создания писательского Литературного фонда.

Русские поэты в Сан-Франциско не имели больших возможностей публиковать свои произведения отдельными книгами. В этом случае на помощь им приходили периодические издания. Например, Константин Константинович Кроль публиковал стихи в газете «Русская жизнь». В течение четырнадцати лет редактором этой газеты был *Павел Красник*, перу которого принадлежат многие произведения: пьеса «Обозрение Сан-Франциско», романы «Новая Россия», «Джесси», «Кольцо Изиды» и другие.

В газете «Новая заря» печатал статьи и рассказы *Константин Гелета*. Свой первый рассказ он опубликовал в журнале «Грани» (1941), затем работал в «Рубеже», «Шанхайской заре», «Китайско-русской газете» и других изданиях, пока не переехал в Сан-Франциско.

С «Новой зарей» успешно сотрудничал и *Владимир Акуцынов*. В журналах «Наш путь», «Родные дали» и других часто появлялись стихи *Елены Васильковской*, которая эмигрировала из Европы в США, и поселилась в Калифорнии после Второй мировой войны.

Сейчас же, с приездом третьей и четвертой волн эмиграции, Русское Слово, в широком смысле, обретает в Калифорнии новое дыхание.

*Амир ХИСАМУТДИНОВ,
Дальневосточный государственный технический университет,
Владивосток – Гонолулу*

ОБ АВТОРЕ: **Амир Александрович ХИСАМУТДИНОВ**, доктор исторических наук. Род. в пос. Каяк Красноярского края в 1950 г. Окончил исторический факультет Дальневосточного университета. Автор 25 книг по истории Дальнего Востока России и Российской эмиграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, среди них «Русский Сан-Франциско» (2010), «В Новом Свете или История русской диаспоры на тихоокеанском побережье Северной Америки и Гавайских островах» (2003), «После продажи Аляски: Русские на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Материалы к энциклопедии» (2003), «Российская эмиграция в Китае: Опыт энциклопедии» (2001), «Тегга incognita, или Хроника русских путешествий по Приморью и Дальнему Востоку» (1989). Заведующий кафедрой восточных языков Дальневосточного технического университета во Владивостоке.

Олег ПОЛЯКОВ

ПЕНЕЛОПА

Пенелопа, Пенелопа, я ишу тебя по свету,
Но никак мне не удастся счастья ниточку поймать.
Представляешь, Пенелопа, я в разлуке стал поэтом,
Только боги вот не скажут, где мне *Итаку* искать.
Были бури, ураганы, были Сцилла и Харибда,
И хоромы у Цирцеи лучше тыщи детских снов,
Земли счастья, земли горя, много радостных открытий,
Незнакомый новый запах необычных островов.

А над морем тишь такая, крепко спит попутный ветер,
Желтым глазом Полифема представляется Луна,
И в Луну когтями тычут ошалелые созвездья,
Спит, повиснув тряпкой, парус, только мне вот не до сна.
Надо думать, надо думать, как домой мне возвратиться,
Чтобы снова мне увидеть лишь тебя, одну тебя...
Это будет мне наградой, нужно только лишь добиться,
Я судьбу воспринимаю, душу обручем скрепя.

Перетоптаны дороги, перемешано всё море
Кораблем моих страданий, но желанной нет земли...
И, печатью Посейдона к океану пригвожденным,
Неужели плавать вечно в фиолетовой дали...
Вдалеке от синих пиний, от своей большой надежды,
Зеленеющих пригорков островов моей весны
Верю в то, что буду рядом я с тобой под ярким небом,
Что корабль мой выйдет к солнцу из враждебной пелены.

Будет все, как в старой сказке: я приеду утром рано
С рюкзаком, желаний полным, на измученной спине...
Будет с неба теплый дождик, теплый ливень, прямо ванна,
Я промокну весь до нитки, но до этого ли мне.
Затянусь я сигаретой, ты мне скажешь «Нет, не надо...»
И устало улыбнешься, глядя нежно на меня...
Ты рукой меня коснешься – вот и вся моя отрада,
И проглянет сразу Солнце среди сумрачного дня.

Пенелопа, Пенелопа, я ишу тебя по свету,
И никак мне не удастся счастья ниточку поймать.
Представляешь, Пенелопа, я в разлуке стал поэтом,
Но одно вот непонятно – где мне *Итаку* искать.

Олег ПОЛЯКОВ

НОЧЬ

Ночь
ласковым куполом
Землю
обволакивает
Ночь
отмеряет
пипеткой капли сна...
Звезды в сиреновом сумраке
Фонарики повытаскивали...
Звезды читают фантастику,
А на Земле – весна!

Ночью
окна в домах
гаснут
по экспоненте...
По экспоненте
растет темнота...
Ночь
не черна –
она, как воздух, бесцветна...
Просто стираются грани
И исчезают цвета.

Ночью
город и небо
сливаются
воедино...
Нет
ни асфальта,
ни звезд,
ни огней...
Это одна Вселенная
Свящихся точек и линий –
Мир голубого пространства
И время непрожитых дней.

Академгородок, 1966 – 1967

ОБ АВТОРЕ: Олег ПОЛЯКОВ, Новосибирск. Химик, литератор, переводчик, актер, автор и исполнитель песен. Род. в 1948 г. Окончил Новосибирский государственный университет. Кандидат химических наук (1990). Один из авторов сборника «Феномен-81» (М., 2011, ред. Д. Речкин).

Джорджина БАРКЕР

СОН. А.А.А.

Она подняла на меня глаза.

Не толстой, усталой, настрадавшейся старухой, – почему она мне снилась такой, а не в том, более знакомом виде, по-королевски гордой красавицей, – я не знаю, может быть, такой она была ближе к моим временам, более *ведаемой* – отпали тяжелые годы, с первого ее изменчиво темно-морскоглазого взгляда из-под тяжелых век, навстречу моему пугливому, нерешительному зелено-сероглазому взгляду.

В стихах

я слышала ее беззвучные слова,
за бесконечное мгновение, пока
глаза к глазам, сердце к сердцу,
мы были прикованы друг к другу:
"Вы выдумали меня. Такой на свете
уже нет, быть не могло, не было."
Я чуть кивнула, не увидев
с ее стороны ожидаемого
пренебрежения к себе, и потом, для меня
одной, – чуть видное шевеление губ
выразилось на лице, смягчая
его прямые, суровые черты –
острые скулы, незавитую челку,
как зубчатая стена, поперек лба,
зоркий, всеведающий орлиный взор,
гордо протыкающий меня насквозь,
горбатый, столько повидавший, орлиный нос,
согнувшийся, чтобы не сломаться,
поклонившийся, чтобы не покориться,
под тяжестью, произволом быта.
Тогда я поняла, что я к ней пришла
как домой.
Ее улыбка раскрепостила мой голос,
светлый шар открылся, обнимал нас с ней;

Джорджина БАРКЕР

я осмелела; бесстишные дни закончились,
с этого момента появились мысли и слова.
"Позвольте мне, хоть мимолетно, быть
Вашей тенью, отблеском, сестрой в зеркале,
и, пожалуйста, будьте Вы частью меня,
моим эхом, голосом моей сороки,
блестящим ворованным сокровищем,
музой моих стихов".

Не отводя до боли взыскательный взгляд,
сказала она: "Вам выбирать свой путь.
На нем Вы вольны; не мне Вас учить".
Но всё-таки она! – Она со мной,
и творчество возможно, хотя только
во сне.

Моя ночная встреча, – в сиянии сна,
у сновидного поэта
вспыхивала в глазах идея –
должна кем-то, кем-нибудь быть воспета.

"А это Вы можете описать?"

Я трепетала. "Попытаюсь".

Она твердила. "Можете".

Я творила. "Могу".

Выбранный, прямой путь увел ее вдаль,
неведомо куда,
от сна во мне остались

образ,

слова,

голос.

Она.

Она.

Анна.

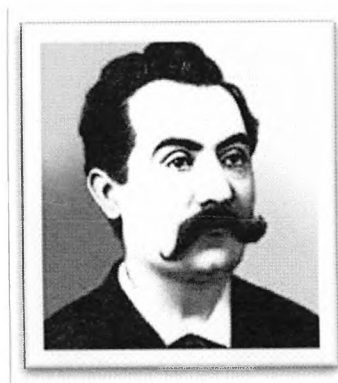
А.А.А., чьи стихи были вторыми
(после пушкинских), которые я читала по-русски,
спасибо Вам!

ОБ АВТОРЕ: Джорджина БАРКЕР родилась и живет в Бристоле, Англии. В 2011 году с отличием окончила Оксфордский университет по специальности «русский и латинский языки». Изучает русскую литературу в магистратуре Бристольского университета. Недавно начала писать стихи на русском языке, который изучала в том числе в Воронеже. Стихи издавались в сборнике "Язык, коммуникация и социальная среда, вып. 8" (Воронеж, 2010).

Михай ЭМИНЕСКУ

в переводе Любы ФЕЛЬДШЕР

Язык оригинала: румынский



МИХАЙ ЭМИНЕСКУ (рум. *Mihai Eminescu*, настоящая фамилия **Эминович** (Eminovici); 15 января 1850, Ботошани – 15 июня 1889, Бухарест) – румынский поэт, классик румынской литературы.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Судьба моего любимого поэта оказалась трагической, он умер в 39 лет. Лечился от душевного нездоровья, увя, безуспешно. Учился в Берлинском и Венском университетах; в Яссах работал учителем гимназии, в Бухаресте – корреспондентом газеты “Тимпул” (“Время”). Первичным для искусства считал прекрасное в природе. Величайшее произведение румынского классика – поэма “Лучафэрул” (“Утренняя звезда”). Лирику и поэмы Эминеску переводили на русский язык многие поэты. Но далеко не все переводы адекватны оригиналу. Ведь данный случай – особый. Прозрачность и воздушность образов, созданных на румынском языке, напрочь вытесняются русским слогом, теряют легкость... С этой же проблемой столкнулась и я, хоть и с упоением переводила, помня, что “К звезде” – самое известное стихотворение поэта. Для достоверности перевода я пыталась сохранить как можно большую связь с оригиналом.

Михай ЭМИНЕСКУ

К ЗВЕЗДЕ

Звезда в голубоватой мгле
Так высоко пылает,
Что свет ее лететь к земле
Веками продолжает.

Быть может, он давно угас
В бездонности просторов,
А слабый отблеск лишь сейчас
Коснулся наших взоров.

Умершая звезда взошла.
На небе просияла.
Нсзримою она жила,
Погибнув, зримой стала.

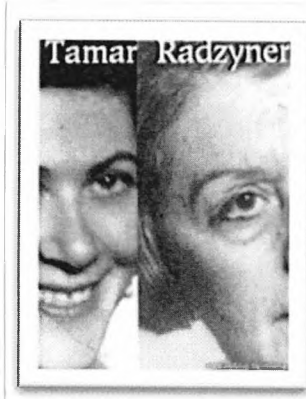
Так и погасшей страсти след,
В ночи забвенья тая,
Еще нам посылает свет,
О ней напоминая.

Перевела с румынского Люба ФЕЛЬДШЕР

Тамар РАДЦИНЕР

в переводе Игоря ПОМЕРАНЦЕВА

Язык оригинала: немецкий



ТАМАР РАДЦИНЕР (1932-1991) – австрийская поэтесса. Родилась в Лодзи, умерла в Вене. Пережила Освенцим. Принимала участие в польском Сопротивлении. Ее родители (отец-фабрикант, мать – пианистка) и почти все близкие погибли в нацистских лагерях и гетто.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: В своих немецких стихах Тамар Радцинер путала винительный падеж и родительный. Стихи она отдавала на правку редактору, который был под рукой: старшей дочери Асе (Йоанне). Впоследствии Ася стала известной в Австрии журналисткой-международником. Ася правила стихи, но мать пренебрегала правкой. Она хотела, чтобы стихи нарушали грамматические нормы и не стеснялась в лирике польского акцента. До эмиграции в Австрию (1959 г.) она писала стихи по-польски. У Аси до сих пор хранится тетрадь матери с так и не изданными польскими стихами. Впрочем, немецкая лирика поэтессы при ее жизни тоже почти не публиковалась, ну разве что в антологиях. Тамар Радцинер относилась к сочинительству как к психоанализу ("так я экономлю деньги на сеансах психоанализа"). Роль психоаналитика играли немецкая грамматика и синтаксис.

Во время второй мировой войны Тамар Радцинер выжила чудом. В коммунистическую Польшу поверила всей душой: слово "интернационализм" было для нее святым. XX съезд КПСС и антисемитская кампания в Польше поставили крест на ее убеждениях. Вместе с мужем, депутатом Сейма, и двумя дочерьми она эмигрировала в Австрию. Там она сменила язык и нашла свой артистический дом. В очереди в венской парикмахерской Тамар Радцинер прочла газетное объявление о том, что столичный театр-кабаре знаменитого музыканта, артиста и драматурга Георга Крайслера ищет тексты для песен. Она

Тамар РАДЦИНЕР

послала стихи, и ее пригласили в кабаре. Это был самый счастливый период в ее жизни. Она писала песни, рисовала эскизы декораций, переводила с польского, русского, иврита, идиша. Звездным часом ее поэтической карьеры стало заседание австрийского парламента, на котором были прочитаны вслух три стихотворения из поэтической антологии австрийских поэтов-евреев. Одно из этих стихотворений принадлежало Тамар Радцинер. Две книги поэтессы увидели свет уже после ее смерти. Я прочел стихи Тамар благодаря знакомству в Праге с Асей, варшавским корреспондентом австрийского радио и телевидения. Мы подружились. Стихи Тамар меня глубоко тронули: эмигранты разных стран часто чувствуют родство. Так иногда случаются переводы: только личное.

Тамар Радцинер не входит в число великих австрийских поэтов, но тем не менее ее стихи можно причислить к великой австрийской поэзии XX века. Это стихи человека, пережившего смерть и описавшего процесс выживания. Если угодно, они – документ, но документ бесценный, к тому же оставленный человеком поэтически одаренным. Стихи из книги "Meine wahre Heimat" ("Моя настоящая родина") публикуются с любезного разрешения дочери Тамар Радцинер, Аси (Йоанны) Радцинер.

EMIGRANTEN

*Von langem Laufen betäubt
keuchend
kommen wir an
und wollen für einen Moment
unsere schwarze Koffer abstellen
wie die anderen sein.
Doch man drückt uns
eine Erdkugel in die Hände,
eine bunte Erdkugel
aus echtem Plastik
elektrisch beleuchtet.
Man fragt: "Wohin wollt ihr?
wo gelb – von dort kommt ihr her,
wo grün – herrscht Krieg
wo rosa – seid ihr unerwünscht..."
Gelb, grün, rosa ist die Erdkugel.
Habt ihr keine andere?
Eine mit winzigen Plätzchen
wo man eine Weile
Ruhe atmen darf
Pfeife rauchen darf
Augen schließen darf*

Тамар РАДЦИНЕР

*in der Sonne?
"Ein guter Witz"
– lachen die Beamten –
"eine andere Erdkugel!"
klopfen uns auf die Schulter
und schließen zur Mittagspause.
Wir warten am Stubenring
am Bankerl.
Fette Tauben promenieren gleichgültig
die wissen, daß wir fremd sind.
Die brauchen nichts von uns.*

ЭМИГРАНТЫ

Вечно в бегах, впопыхах,
задыхаясь,
мы приходим,
чтобы хоть на минуту опустить
черные чемоданы
и почувствовать себя людьми.
Но нам суют в руки глобус,
яркий блестящий глобус
из пластмассы
и с лампочкой внутри.
Нас спрашивают:
– Куда вы хотите? Выбирайте.
Вы прибыли из желтой зоны.
В зеленой зоне идет война.
А в розовую вас не зовут...
Других зон у глобуса нет.
А нет ли у вас другого глобуса,
где нашлось бы крохотное место
перевести дух,
выкурить трубку,
пожмуриться на солнце?
– Да вы просто шутники, –
хохочет чиновник. –
– Чего захотели! Другой глобус!
Он похлопывает нас по плечу
и закрывается на обед.

Тамар РАДЦИНЕР

WIEDER

*Wieder brachte ich Kinder zur Welt
als ob ich nicht wüßte
wie mühelos
ein Kinderschädel
zerquetscht wird.*

*Wieder baute ich ein Haus
als ob ich nicht wüßte
wie man unter den Mauertrümmern
erstickt.*

*Wieder binde ich mich an Menschen
als ob ich nicht wüßte
daß die einem als erste
weggenommen werden.*

*Ich habe nichts dazugelernt.
Unter dem Schutthaufen der Zeit
hüte ich die Hoffnung.*

СНОВА

Я снова рожаю
как будто не знаю,
как легко
размозжить
детский череп.

Я снова строю дом
как будто не знаю,
как можно задохнуться
под его развалинами.

Я снова схожусь с людьми
как будто не знаю,
как легко
рвутся связи.

Я ничему не научилась.
Я снова тешусь надеждой
под обломками времени.

Тамар РАДЦИНЕР

WOHNHAFT

*Ich wohne auf dem Grund
einer Sanduhr.
Es ist weich hier
träge
halbdunkel
es regnet Sand
es rieselt
winzige runde
Zeitstückchen.
Wenn ich
am ersticken bin
kippt das Glas um.
Von Luft erstochen
von Licht erblindet
von Verlangen
und Verzweiflung
zerrissen
lebe ich
einen Augenblick lang.
Dann
falle ich auf meinen Platz
am Grund einer Sanduhr.*

ЖИЛИЩЕ

Я живу на дне
песочных часов.
Здесь мягко,
сонно,
сумрачно.
Песок льётся,
моросят крохотные круглые
частицы времени.
Когда я тону в песке с головой,
часы переворачивают.
Воздух оглушает меня,
свет слепит глаза,
жажда жить и отчаяние
на мгновение
разрывают душу.
А после
я возвращаюсь на свое место
на дно песочных часов.

Тамар РАДЦИНЕР

МУРАВЬИ

Маленькие, черные, непоседливые,
они вечно чего-то ищут, гонимые
странным безусловным инстинктом.
Вот они тут.
Мерзкие-премерзкие.

Лично мне они ничего не сделали.
Не причинили зла.
Не встали на моем пути:
они существуют в других мирах,
в чужих галактиках,
чем-то даже любопытные,
но мерзкие-премерзкие.

Я достаю баллончик с газом
и распыляю смерть,
истребляю, уничтожаю,
искореняю.
Маленькие черные тельца
бьются в судороге,
извиваются и скукоживаются.
На земле царит паника,
кто-то безуспешно спасается бегством,
кто-то героически оттаскивает трупы в сторону.
На неслышимых частотах
звучат стоны и вопли.

Я шагаю
по безжизненным скелетам
и кажусь себе в тысячу раз больше,
потому что у меня в руке смерть.
Я спокоен, я мудр.
Мне немного мерзко.
Я
Бог муравьев.

Тамар РАДЦИНЕР

БЫЛО

Дама разрыдалась,
потому что разбилась
ее детская чашка.

Какая жалость, –
сказала я. –
Какая жалость.

Молодой чиновник
из муниципалитета
настаивал:
"Ну хоть какой-то
документ в Освенциме
у вас был!".

Господи, –
сказала я. –
Господи.

Дама вздохнула:
мы тоже, бывало, голодали,
и не в чем было пойти в театр...

Ничего не поделаешь,
была война, –
сказала я. –
Война.

Когда меня спрашивают,
что же это было,
я не знаю, что ответить.

Перевел с немецкого Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

Хана СЕНЕШ

в переводе Рины ЛЕВИНЗОН

Язык оригинала: иврит



ХАНА СЕНЕШ (венг. **Szenes Hanna**), (1921-1944) – венгерская и еврейская поэтесса, национальная героиня Израиля.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: **Хана Сенеш** родилась в 1921 г. в Будапеште. В 1939 г. она приехала в Эрец-Исраэль. Работала в кибуце и писала стихи на иврите. Мечтая сделать хоть что-то для спасения венгерских евреев, Хана в годы Второй мировой войны стала бойцом Британской армии и с отрядом партизан вернулась в Европу. Она надеялась добраться до Будапешта, где оставалась ее мать. Недалеко от югославской границы фашисты выследили ее, арестовали, бросили в тюрьму и казнили 7 ноября 1944 г. Ей было 23 года. Некоторые из ее стихов положены на музыку и стали известными израильскими песнями.

* * *

Господь, мой Бог,
Пусть всё это
Длится века –
Шуршанье песка,
Воды колыханье,
Ночное сиянье,
Молитвы строка.

Хана СЕНЕШ

* * *

При кострах, при огне, при пожаре войны
в дни кровавые нашего века,
я фонарик возьму у кого-то взаймы,
чтоб найти, чтоб найти человека.
Тонет в пламени свет моего фонаря
и глаза мои слепнут в огне.
Как пойму и узнаю, отличу его я,
если всё же он встретится мне.
Дай мне, Господи, знак,
положи ту печать,
по которой в наш огненный век
свет лица дорогого смогу я узнать
и скажу: «Это он – человек!»

Перевела с иврита Рина ЛЕВИНЗОН

Хана СЕНЕШ

в переводе Александра ВОЛОВИКА

Язык оригинала: иврит

* * *

Да славится спичка –
Сгорела, но пламя зажгла
Да славится пламя –
Чья пламенность в сердце вошла.
Да славится сердце,
Сумевшее пламя сберечь,
Да славится спичка,
Сгоревшая, чтобы разжечь!

Филипп ШЕРРАРД

в переводе Дмитрия ШАТАЛОВА

Язык оригинала: английский



ФИЛИПП ШЕРРАРД (Philip Sherrard)

1922-1995

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Бездушное и бездумное использование природных ресурсов неизбежно приведет к глобальной катастрофе. Экологический кризис – лишь следствие кризиса духовного, неспособности увидеть, что наш мир – не груда материалов, а живой, дышащий организм. «Если Бога нет в крупице песка, Его нет и на небе». Так считал **Филипп Шеррард**, английский писатель, философ, богослов, поэт и переводчик. Хотя он родился в Оксфорде, научной столице Великобритании, в своих книгах (а их более тридцати) Шеррард говорил о разрушительности науки. Разочаровавшись в научном прогрессе, он обратился к религии: в пятидесятых годах он посетил Афон, а через шесть лет принял православие. Интерес к греческой культуре возник у Шеррарда после второй мировой войны, когда он проходил службу в королевских артиллерийских войсках в Афинах. Безумная жестокость войны стала темой его первых поэтических произведений. Он переписывался с известными греческими поэтами и писателями – Кавафисом, Сикелианосом, Гатсосом и Сеферисом – чьи стихотворения он перевел на английский язык. В течение многих лет он также переводил (совместно с митрополитом Каллистом Узром и Джеральдом Палмером) греческое Добротолюбие – собрание важнейших духовных произведений древних православных авторов. Филипп Шеррард руководил Британским Институтом в Афинах и читал лекции по истории Православной Церкви в Королевском колледже Лондона. В 1959 году он купил заброшенную шахту на греческом острове Эвбея и засадил ее деревьями. Впоследствии Эвбея стала постоянным домом писателя, который жил здесь без электричества и телефона.

Филипп ШЕРРАРД

В СТАРОЙ ТРАПЕЗНОЙ

Ушли монахи и паломники,
и в старой трапезной
остался я один.
Как свечки, тонкие,
в одеждах сине-красных,
со стен святые смотрят
который век без сна.

Я за столом один,
на каменной скамье
прохладно и уютно,
и на столешницу из камня
кладу я голову,
чтобы в горячий полдень
остыла кровь моя.
Я говорю «один»,
но разве одинок
тот, с кем апостол Павел,
святитель Николай
и седовласый старец
чудесник Иоанн,
что беса обратил в скалу
и в море утопил?

И разве одиночество мне страшно,
когда со мною,
в долгополых рясах,
незримые свидетели былого,
чьи руки, так же, как мои,
лежали на столешнице
и согревали камень?
Тут всё проникнуто
их бестелесным духом.
Изведав долгих мук,
узнал я, наконец,
что лишь в уединении
не одиноки мы.

Филипп ШЕРРАРД

Не помня этой правды,
роимся мы, как мухи
в лавчонке мясника,
и ничего не слышим –
нас крики оглушают,
и ничего не видим –
нам спины застыт свет,
и как огня страшимся
единственного средства
от одиночества.

Немногие из нас
теперь осознают,
чему учили мудрецы:
что слух тончает в тишине,
а глаз во тьме острее.
Благая мудрость эта
неслышно воспаряет
из тьмы уединения –
так поднимаются
из темноты земли,
танцую танец жизни,
святые эти старцы.

И я сейчас бы рассказал
о том, что начинаю находить,
чуть прикоснувшись к лону
бездонного уединения, –
но тут вбегает
с побеленного двора
какой-то мальчик
и на секунду замирает на пороге,
освещенном солнцем,
и тащит с грохотом ведро
по каменному полу,
чтобы колодезной воды набрать
для обессиленного мула.

Перевел с английского Дмитрий ШАТАЛОВ

Роалд ХОФФМАН

в переводе ВИКТОРА ФЕТА

Язык оригинала: английский

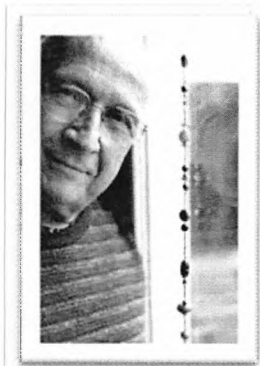


Фото Мацея Зинкевича

РОАЛД ХОФФМАН (род. 1937) – знаменитый химик-теоретик, профессор Корнелльского университета (Итака, штат Нью-Йорк, США), лауреат Нобелевской премии по химии (1981).

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Роалд Хоффман родился в Польше (город Злочув, теперь Золочив в Львовской области Украины). С приходом нацистов попал в гетто, потом в трудовой лагерь, откуда бежал с матерью. С января 1943 по июнь 1944 их прятал школьный учитель, украинец Мыкола Дюк. В США с 1949 года. Докторская степень получена в Гарварде (1962). Владеет несколькими языками, в том числе и русским. В 1960-61 гг. учился в аспирантуре Московского университета.

Профессор Хоффман – поэт, автор нескольких сборников стихов на английском языке. Автор пьес “Кислород” (с Карлом Джерасси) и «Должны ли мы?». В России только что вышла книга «Избранные стихотворения. 1983-2005.» М., Текст, 2011, параллельными текстами по-английски и в русских переводах В. Михалевич, Ю. Данилова, В. Райкина, М. Базилевского и В. Фета.

Из автобиографии Р. Хоффмана: «Я начал писать стихи в 1970-х годах, но опубликовал первое стихотворение только в 1984 г. Первая книга поэзии «The Metamict State» (“Метамиктное состояние”) вышла в 1987 г. «...Я пишу стихи для того, чтобы проникнуть в окружающий мир и понять свои отношения с этим миром. ...Одна вещь несомненно неверна: то, что ученые понимают устройство природы глубже, чем поэты... Поэзия взмывает ввысь, невзирая на материальное, в крошечной тьме, сквозь мир, который мы открываем и создаем».

Роалд ХОФФМАН

ПАМЯТЬ, КОДИРУЙ

Войди в середину лета, в Тичино,
в землянику на альпийском лугу,
где голубянки мелькают; вообрази

русского юношу с сачком для бабочек.
Где-то, у настольной лампы,
та, кого ты любил, сможет взглянуть

на старые фотографии и сказать:
«ты улыбаешься, как твой отец;
он тоже носил кепку».

Путь осветился в 53-м,
усилием воли двух молодых людей
возникла модель. Пройди

по направлению к ним, мимо монаха,
ухаживающего за горохом, к агару,
к чашкам Петри и центрифугам;

далее иди, в свете
изнутри идущих сигналов, мимо
иксообразных картинок дифракции;

далее, мимо 53-го,
пьяного логикою соединений
и исцелений, расточительным

чудом полимераз,
вступая в пределы сокровищ,
позволяющих дать себе наименования,

вниз по биохимическому
канату молекулы-трюка,
где слипшиися кольца оснований

привязаны к структурному
скелету (chain, chain, chain)
как в песне поется*)
из сахаров несладких
да из фосфатных триад.

Роалд ХОФФМАН

И вот она, та берлога,
где залегает память,
неудаляемый след
всех наших рабочих ферментов,

а также и тех, что работали только
какое-то время; след всех прошедших романов
наших чувств и нашей среды,

след генов, что отключились,
когда мы вышли из моря;
всего, что сработало и всего, что чуть не убило

втершийся в доверие вирус, код,
заточенный в мягкой спиральности,
присоединенные симбионты. Дальше

проследуй, от формы, определяемой
движениями спирали, ее столкновениями,
вглубь по ожерельям смысла, что прерывается

заиканием, включением, исключением,
намерениями, самодельными приспособлениями
для исполнения функций (неведомых нам),

далее, к главным отличиям жизни земной,
в древообразных руках заключающей
ягоду и тебя, и к бабочке,

что опустилась на взорванную землю
Сребренице и Злочува,
бабочке, летящей в тот далекий край,

который упрямо выбирает любовь.
Альпийский луг... туда еще надо взобраться;
они и взобрались, спиральщики наши

в середине века. Альпийский
луг – это еще и мягкий,
сладко пахнущий склон,

достигающий снежной линии, место,
куда пригоняют скот, отдыхают

Роалд ХОФФМАН

и перемещаются выше. Альпийский
луг – это клевер, место, где можно питаться, следить
за другою голубизною, на этот раз
за цветками цепко карабкающегося

вьюнка. Слово поет, на альпийском лугу
и в алкалинфосфатазе,
и в ДНК, повторяя оттенки припева;

по эту сторону памяти, ушедшего мира –
и мира, который настанет.

**“Chain of Fools” (Арета Франклин, ок. 1968)*

ВЕРСИЯ

Когда Бог делал солнце,
он лежал на белом песке,
и, простирая бледные руки в пространство свое,
сформировал он (Бог)
шар водородный, и зажег в нем
ядерный огонь свой. И ощутил он
(Бог ощутил)
тепло его на мягкой
ладони своей. И это было хорошо,
это было его солнце.

Когда Бог потом решил
сделать луну, оперся он ногами своими
о ледяную шапку Марса
и, протянув снова
руки свои, ухватил он кусок
ранее сотворенного солнца, и запустил
его Бог, как снежок,
в землю свою. Земля
пошатнулась, и дала начало
луне, Божьей луне. И он
ощутил ее отраженный свет,
И это было хорошо,
и хороша была луна его.

Когда же настало время Богу
населить эту голубую землю,
он погрузил ноги свои по колению

Роалд ХОФФМАН

в воды морей и озер своих
и, Боже милостивый, вовсе не стал он
делать людей по образу
и подобию своему, а просто
протянул свои руки, теперь уже
обожженные солнцем, и заронил
зернышко риса, митохондрию,
глаз осьминога. И он дал им опасность и шанс,
и правила дал, и время Божье;
и уже существа появились,
заговорили. И этот разговор был хорош,
разговор между ними и Богом.

ЭВОЛЮЦИЯ

Я написал три страницы
о том, какие умелые химики – насекомые,
приводя в пример
половое влечение бабочек-шелкопрядов,
а также жука-бомбардира,
что хлещет горячею перекисью, если его беспокоят.
Я был как раз в середине
рассказа о тех сосновых жуках,
у которых феромон агрегации
способен сзывать толпу (особей того же вида).
У этого феромона есть три компонента:
один от самцов — фронталин;
также экзо-бrevикомин, которым прыскает самка;
а третий (как умно!) – обильный, смолою пахнущий
мирцен – от сосны, хозяина-дерева
Я написал это вечером,
разбил на короткие строчки.
В воскресенье проснулся, сел за работу
тихо, со второю чашкою кофе
на стол падало солнце.
В вазе стояли цветы, которые я
собрал на склоне: люпин, калифорнийские маки,
стебли какого-то местного злака.
Колоски на злаковых стеблях
отстояли друг от друга
на несколько сантиметров,
чешуйки их были
светло-коричневы, тонко очерчены,

Роалд ХОФФМАН

с темными остриями,
скорее напоминавшими не шип, а засохший жгутик.
И нечто вроде перышка внутри.
От солнечного тепла
вскрылась пара стручков люпина,
случайно упавших на черновик
(слов не видно, солнце сплит)
рядом с тенями все еще висящих семян.
Злаковые же семена
словно кузнечики в спячке,
согнув острия чешуек, как ноги,
бросали вторичные, более слабые тени.
Тут я увидел, как ты идешь по склону.

БЕРИНГОВ МОСТ

Старики говорят,
раньше небо было так близко,
что если пустить стрелу вверх,
она отскакивала к тебе обратно. Небо
глотало птиц. Иногда оно возлежало,
как нежащийся туман,
прямо над нашими юртами,
и можно было взобраться
наверх, к отверстию, куда выходил дым,
и разговаривать с богами.
Потом появились секвойи, жертвуя
всем ради ствола, и они
приподняли и отодвинули небо,
а потом уже люди с помощью
воздушных шаров и телескопов
продвинули его еще дальше,
так что стало трудно уже
разговаривать напрямую с богами –
приходилось кричать,
или брать в посредники шаманов.
А теперь я и сам перелетел через Тихий океан,
и сам я видел темно-синее небо
на высоте десяти тысяч метров.
Говорят, люди уже побывали на Луне. Говорят,
земля становится все теплее.
Я вижу смог – небо, которое
спускается обратно на Калифорнию.

Роалд ХОФФМАН

ЛАВА

Я думаю, что чапарраль*
растет по ночам, откровенно

нарушая законы фотосинтеза; ибо
здесь, в резком свете луны, существуют

признаки жизни – вот он блестит
темно-зеленым, звериным

мехом на фоне покрытых травой
бледных холмов. Это – тьма

черных как нефть совиных
угодий, черного как асфальт

пчелиного роя на его
пути к новому улью.

Чапарраль движется;
чапарраль, может быть,

движется из ложбины
в ложбину, каждую ночь.

**Стихотворение написано в поселке художников в горах Санта-Круз. Чапарраль – это плотный, низкий кустарник; коровы могут через него пробраться, но для людей это не так просто. Он темнеет по ночам на фоне травянистых холмов.*

Перевел с английского Виктор ФЕТ

Елена БЛАВАТСКАЯ

в переводе Татьяны АИСТ

Язык оригинала: английский



1831-1891

ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ (англ. **Helena Blavatsky**), урожденная Ган (нем. von Hahn) – теософ, писательница и путешественница. Философ, оккультист и спиритуалист. Основные сочинения написала по-английски.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: **Елена Петровна Блаватская** – знаменитая создательница мировой теософской доктрины. Ее бабушка, происходившая из старинного аристократического рода Долгоруких (в замужестве – Фадеева), была одной из образованнейших и талантливейших женщин своего века. Она писала картины, владела пятью языками и даже сделала несколько существенных открытий в области геологии и исторической ботаники. Мать Елены Петровны получила известность как одна из первых защитниц женских прав в России. Подписываясь псевдонимом Зинаида Р-ва, она писала романы, обличающие нравы тогдашнего общества и рассказывающие о несчастной судьбе женщин. О ее творчестве высоко отзывался Виссарион Белинский, называя русской Жорж Санд. Незаурядной писательницей была и сестра Елены Петровны, Вера Желиховская, которая всячески способствовала распространению учения своей сестры в России и сделала первые переводы ее работ на русский язык. Блаватская получила в детстве хорошее домашнее образование. Она знала естественные науки и иностранные языки, пробовала сочинять в поэзии и прозе. Когда ей исполнилось 17 лет, она неожиданно вышла замуж за вице-губернатора Еревана, Никифора Васильевича Блаватского – человека, который был на 22 года ее старше. Подлинной причиной этого поступка было желание освободиться из-под контроля близких и получить большую

Елена БЛАВАТСКАЯ

свободу. Когда ей стало понятно, что замужество не помогло достичь желанной цели, она покинула Блаватского и навсегда уехала из России. Начались годы путешествий, она побывала в Греции, Египте, Индии, Непале, Тибете, Бирме, Персии и многих других странах. Блаватская изучала коптские гностические тексты на Кипре, практиковала методы духовного транса с индейскими шаманами в Канаде, записывала рецепты у ацтекских колдунов в Перу и проходила обучение культу Вуду в США. В 1873 г. она поселилась в Нью-Йорке, где в 1875 году основала первое в мире теософское общество. В 1877 году в Нью-Йорке вышла в свет первая книга Блаватской – "Изида без покрывала", принеся ей всемирную известность. В 1884 году Елена Петровна переехала в Лондон, где вышли основные теософские труды – "Секретная доктрина" (1888), "Ключ к теософии" (1889) и "Голос безмолвия" (1889). Ее поэтические стансы из "Секретной доктрины" и "Голоса безмолвия" поражают как своей философской глубиной, так и высоким словесным мастерством. Хотя яркий свет необычной и во многом авантюрной личности Елены Петровны сохранился во многих городах света, где она побывала, с Филадельфией ее связывает особенно прекрасная и поэтическая легенда. Она поселилась в Филадельфии в 1874 году. В 1875 г. вышла здесь замуж за Михаила Бетанелли и жила в доме 3420 на Сенсом Стрит. Почти незамедлительно после брака оказалось, что у Елены Петровны заражение крови, и ей необходимо ампутировать левую ногу. Блаватская наотрез отказалась от операции и приготовилась умирать. Легенда гласит, что во время медитации к ней пришла белая собака с добрыми красивыми глазами, легла на ее почерневшую от воспаления ногу, и воспаление чудесным образом прошло. В этом доме открылось кафе, которое было названо "Белая собака", где и сегодня можно приобрести книги и портреты Елены Блаватской.

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ СТАНСЫ ИЗ «КНИГИ ДЗИАНОВ»

* * *

И вот уже весь мир охвачен
Одним безудержным движеньем.
Быстрый ветер этого движенья
Растет, ветвится, плодоносит в темноте –
И тьма вдруг начинает излучать свеченье.
Из этого свечения исходит
Единственный и одинокий луч,
Который проникает
В глубины Матери-Воды
И зарождает в ее бессмертной девственной утробе
Зародыш смертной жизни на земле.

Елена БЛАВАТСКАЯ

* * *

В начале были трое – Дитя, Мать и Отец,
Триада Неба, вольная в движеньи.
Над Духом, Тьмой и Светом, Треугольником Свободы,
Квадрат Земли возобладал, создавший
Пространство, Тело, Время и Причину.
Теперь Семь Светочей – Семь Разумов семь раз
Должны возжечься и погаснуть в мире,
Семь Миров
Должны родиться и погибнуть, прежде
Чем Тьма, и Свет, и Дух опять возникнут...

* * *

Светящееся Мировое Яйцо,
Дитя Бесконечного Мрака и Света,
Сгущаясь, росло в мировом океане.
Белоснежные сгустки сверкали алмазно:
Закабаленная жизнь,
Своей бесконечности не понимающая,
Не сирота, но и Мать и Отца своих не признающая,
Приобретала все новые очертанья:
Забыта Мать-Темнота,
Ночь и глубина ее вод подземных
Станут ужасом для новой жизни.
Свет-Отец потеряет яркость,
Ограничен квадратом Земли и плоти.
Дитя, которое сейчас растет,
Растет из Света и из Мрака, но не помнит
О Корне Жизни,
Из которого взошел.

* * *

Скажи мне, кто ты?
Разве ты имя, которое все произносят?
Разве ты только мать,
Сестра или жена,
Кого-нибудь, кто имеет свое имя?
Ведь в капле та же самая вода, что в океане.
Песчинка – тот же самый камень, что гора.
Так же и ты.
Ты – тот же свет бессмертных солнц и лун,
Который ты вселенной называешь.

Елена БЛАВАТСКАЯ

* * *

Не понять, не вообразить, не ощутить
Мировую Ночь.
Степень и смысл ее Небытия не открыт
Ни теми, кто приходил до людей,
Ни людьми, ни теми, кто после придет.
Когда Тьмы еще даже не было, ибо
Свет был еще не создан чтобы
Тьму отделить от Света,
Когда не было ни Творца,
Ни того, чем Творцу творить,
Когда Небытие,
Казавшееся утром после ночи,
Еще не наступило,
Ночь Мировая уже была,
Которую
Нельзя ни понять, ни почувствовать, ни вспомнить.

* * *

То, что сегодня холод и снег,
Неподвижная смерть Антарктиды,
Цвело, сияло и благоухало
Садом доисторической Гиперборейской расы.
Не имеющие ни костей, ни нервов, ни кожи,
Как цветы, из Вселенной
Напрямую энергию пили.
Сгустки блаженства, воли и мысли
Порхали над миром,
И один день их жизни
Был длиннее вечности у людей...
Все быстрее Земля вращалась,
Плющились и росли фантомы,
Сверкающие сгустки света
Обрастали пылью и весом,
Пока первая нога не ступила
На жесткий камень раскаленной дороги,
Пока первая рука не прикрыла
Глаза от слишком яркого света.

Елена БЛАВАТСКАЯ

* * *

Из двух непобедимых нитей, чьи цвета
Понять возможно сердцем, но не глазом
Прядется жизнь:
Из выдоха и вдоха,
Сгиба и выпрямленья,
Движения и остановки,
Спуска и подъема.
Не эти нити
Текут из тонких пальцев Ариадны, но
Сама она есть только пестрый шелк, спряденный
Из жизни и желания узнать
О вздохе вслед за выдохом последним.

* * *

Ум есть убийца жизни.
Только ученик
Убьет убийцу

* * *

Ты – то, что изменяет, изменяется и
Наблюдает измененья.
Ты – свет, источник света и предмет,
Который залит этим светом.
И свет есть звук,
И звук есть смысл,
Смысл есть покой,
Покой есть власть
Над переменной света в звук,
В смысл,
В покой,
Во власть
Над переменной
Перемены.

* * *

Тот понял все,
Кто ничего не понимал.
Кого учило
Слово Тишины,
И кто ответил
Мудростью без Смысла.

Перевела с английского Татьяна АИСТ

ОБ АВТОРАХ

АИСТ, Татьяна, Калифорния. Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1956 г. в Ленинграде. На Западе с 1989 г. Автор книг: "Китайская грамота" (на русском, английском и китайском), 1996, "Япония под снегом", 2009 и др.

АКС, Ирина, Нью-Йорк. Поэт, журналист. Родилась в 1960 г. в Ленинграде. В США с 2000 г. Автор книг стихов: «В Новом свете», 2006; «Я не умею жить всерьез», 2010. Публикации в журналах и альманахах: «Дети Ра», «Побережье», «45-я параллель», «Галилея», «Слово\Word», в коллективных поэтических сборниках.

АЛАВЕРДОВА, Лиана, Нью-Йорк. Поэт, переводчик, драматург. Родилась в Баку. Закончила исторический факультет Азербайджанского гос. университета. Эмигрировала в 1993 году. Поэтические сборники: «Рифмы», 1997; «Эмигрантская тетрадь», 2004; «Из Баку в Бруклин», 2007. Стихи переведились на английский язык. Публиковалась в альманахах, журналах и газетах США.

АМИНАДО, Дон (см. стр. 180)

АМУРСКИЙ, Виталий, Франция. Поэт, эссеист, профессиональный журналист. Родился в Москве в 1944 году. Живет во Франции с 1973 года. Автор многочисленных публикаций в журналах, альманахах и сборниках в России и за ее пределами, а также нескольких книг. Две из них – поэтический сборник «Осень скифа» (СПб, изд. «Алетейя») и «Тень маятника и другие тени. Свидетельства к истории русской мысли конца XX - начала XXI века» (СПб, изд. Ивана Лимбаха) вышли в 2011 году.

БАНЧИК, Надежда, Сан-Хосе. Поэт, переводчик, журналист. Родилась во Львове в 1959 г. Окончила Львовский полиграфический институт и аспирантуру Российского института книги в Москве. В США с 1996 г. Печатается в зарубежных изданиях.

БАРКЕР, Джорджина (см. стр. 339)

БАТШЕВ, Владимир, Франкфурт-на-Майне. Поэт, сценарист, редактор журналов «Литературный европеец» и «Мосты». Родился в 1947 г. в Москве. Был одним из организаторов литературного общества СМОГ. Автор книг: «Записки тунейдца», 1994; «Подарок твой – жизнь» (Стихи), 2005 и др.

БЕРМАН, Филипп, Филадельфия. Писатель, драматург. Родился в Москве в 1936 г. На Западе с 1981 г. Публикации в журналах: "Континент", "Побережье" "Человек и природа" и др. Участник нескольких антологий на русском и английском языках.

БЛАВАТСКАЯ, Елена (см. стр. 362)

БОБЫШЕВ, Дмитрий, Шампейн, Иллинойс. Поэт, эссеист, мемуарист, переводчик, профессор Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США. Родился в Мариуполе в 1936 году, вырос и жил в Ленинграде, участвовал в самиздате. На Западе с 1979 года. Книги стихов: «Зияния» (Париж, 1979), «Звери св. Антония» (Нью-Йорк, 1985, совместно с Михаилом Шемякиным), «Полнота всего» (Санкт-Петербург, 1992), «Русские терцины и другие стихотворения» (Санкт-Петербург, 1992), «Ангелы и Силы» (Нью-Йорк, 1997), «Жар-Куст» (Париж, 2003), «Знакомства слов» (Москва, 2003), «Ода воздухоплаванию» (Москва, 2007). Автор-составитель раздела «Третья волна» в «Словаре поэтов русского зарубежья» (Санкт-Петербург, 1999). Автор литературных воспоминаний «Я здесь (человекотекст)» (Москва, 2003) и «Автопортрет в лицах (человекотекст)» (Москва, 2008). Подборки стихов, статьи и рецензии печатались в эмигрантских и российских журналах.

ВАСИЛЕВСКИЙ, Андрей (см. стр. 24)

ВЕРБИЦКАЯ, Лина, Блумфильд, Нью-Джерси. Поэт, прозаик. Эмигрировала в США в 1992 году. Публиковалась в альманахах: «Встречи», «Побережье» (Филадельфия), в периодических изданиях США и Украины.

ВОЙТИКОВА, Мария, Назарет (Нацерет-Илит). Поэт. Родилась в 1961 г. в Смоленской области. С 2001 г. живёт в Израиле. Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Сб. стихов: "Любовь моя, заступница!" и "Горячие камни".

ВОЛОВИК, Александр, (1931, Нижний Новгород - 2003 Иерусалим). Поэт, прозаик, переводчик. Переводил с немецкого, английского, иврита и других языков. Издал четыре сборника на русском, один на иврите, среди них: «100 стихотворений в переводе с иврита», 1991, «Райский сад», 1993.

ВОЛОДИМЕРОВА, Лариса, Амстердам. Поэт, прозаик, журналист, правозащитник. Родилась в Ленинграде в 1960 году. Филолог, окончила ЛГУ. В 1992 выехала на жительство в государство Израиль. Работала ректором Института литературы, журналистики и драмы в Иерусалиме. Переехала в Голландию. Автор более десятка книг (стихи, поэмы, повести, романы, пьесы).

ВОЛОСЮК, Иван (см. стр. 294)

ГАБРИЭЛЬ, Александр, Бостон. Поэт. Родился в Минске. В США с 1997 года. Автор двух вышедших в России книг (2006 и 2009 гг.) Публикации в журналах "День и ночь", "Дети Ра", "Нева" (Россия), "Крещатик" (Германия), "Новый Журнал", "Чайка", "Терра Нова" (США), "Новый Берег" (Дания) и др.

ГАРБЕР, Марина, Люксембург. Поэт, эссеист, рецензент. Родилась в Киеве. На Западе с 1990 г. Закончила аспирантуру денверского университета (иностранные языки и литература). Автор трех поэтических сборников. Член редакции «Нового журнала», зам. главного редактора журнала «Побережье».

ГЕНЧИКМАХЕР, Марина, Лос-Анджелес. Поэт. Родилась в Киеве в 1962 г. На Западе с 1992 г. Печатается в литературных изданиях: «Новый журнал», «День и ночь»

ГОЛКОВ, Виктор, Тель-Авив. Поэт, писатель, литературный критик. Родился в Кишиневе в 1954 году. В эмиграции с 1992 года. Публикации в журналах "22", "Алеф", "Крещатик", "Интерпоэзия" и др., альманахах "Евреи и Россия в современной поэзии", "Всемирный день поэзии". Автор шести сборников стихов и повести-сказки, в соавторстве с О. Минкиным.

ГОЛУШКО, Павел, Стокгольм. Поэт, писатель. Родился в Минске в 1967 году. В Швеции с 2009 года. Автор книг поэзии и прозы: "Одиночество", 2008; "Когда я вернусь...", 2009; "Уходя за горизонт", 2009; "Шведский Дневник, или Записки путешествующего поэта", 2001; «Квартет», 2008 (соавтор).

ГОЛЬ, Николай (см. стр. 101)

ГОЛЬДЕНБЕРГ, Иосиф (см. стр. 91)

ГОРЛАНОВА, Нина (см. стр. 333)

ГУТМАН, Елена (см. стр. 303)

ДИМЕР, Евгения Александровна, Вест Орандж, шт. Нью-Джерси. Поэт, прозаик, эссеист. Родилась в 1925 в Киеве. На Западе с 40-х гг. Кн. стихов: «Дальние пристани», «С девятого вала», «Две судьбы», «Здесь даже камни говорят», «Молчаливая любовь» (стихи и рассказы), «Моё окно» и др. Произведения вошли во многие литературные антологии.

ДРОЗДОВА, Елена, Дженкинстаун, шт. Пенсильвания. Поэт, художник. Родилась в 1957 г. в Москве. Окончила Московский архитектурный институт. На Западе с 1989г. Художник по витражу, ее работы представлены во многих общественных и религиозных зданиях в США. Публи. в альманахах: «Встречи», «Побережье» и др.

ЕЛАГИНА, Елена (см. стр. 323)

ЗОРИН, Фрэдди, г. Ашдод. Поэт и радиожурналист, редактор и ведущий популярных программ сети Израильского радиовещания на русском языке. Родился в 1949 г. в Баку. В Израиле с 1990 года. Автор пяти сборников стихов.

ИЦКОВИЧ, Евгений, Сан-Луис, Бразилия. Поэт, художник, религиозный философ. Родился в Москве. Директор Русского культурного центра. Автор книги стихов, статей и короткой прозы. Публикации в журнале "Новая Юность".

КАГАН, Виктор, Даллас, шт. Техас. Поэт, журналист. По специальности врач-психолог, доктор медицинских наук. Род. в 1943 г. В США с 1999 г. Член Союза Санкт-Петербургских писателей. Более двухсот публикаций в журналах: «Нева», «Новый журнал», «Крещатик», «Побережье», и др. Сб. стихов: «Долгий миг», 1993; «Молитвы безбожника», 2006; «Превращение слова», 2009.

КАЗАРИН, Юрий (см. стр. 116)

КАНТ, Ирина, г. Милуоки, штат Висконсин. Поэт, переводчик, литературный исследователь. Родилась в 1953 г. в Харькове. На Западе с 1991 г. Автор и соавтор нескольких поэтических сборников. Член Шекспировского Оксфордского Общества (США). Публикации в периодических изданиях России, Украины и США.

КАРАПЕТЬЯН, Рустам (см. стр. 119)

КЕКОВА, Светлана (см. стр. 9)

КЕНЖЕЕВ, Бахыт, Нью-Йорк. Поэт, прозаик, радиожурналист. Родился в 1950 г. в Чимкенте. Вырос в Москве. Окончил химический факультет МГУ. Публикуется с 1972 г. Один из учредителей поэтической группы «Московское время» (вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским). На Западе с 1980 г. Автор более десяти поэтических книг, в 2011 году вышла книга «Крепостной оствывающих мест». Член Русского ПЕН-клуба. Стихи переводились на казахский, английский, французский, немецкий, шведский и другие языки.

КОГАН, Гей, Бремен, Германия. Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1946 году в Риге. На Западе с 1995 г. Публиковалась в рижской и германской периодиках, альманахах, изданиях МАППа. Автор трех сборников стихов.

КОЛГАНОВ, Леонид, Кирьят-Гат. Поэт, прозаик. Родился в 1955 году в Москве. В Израиле с 1992. Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Руководитель литературных объединений "Поэтический театр Кирьят-Гата" и "Негев". Стихи публиковались в журналах и антологиях: "Алеф", "22", "Юг", "Галилея", "У", "Роза Ветров" и многих других изданиях.

КРУПА, Юрий, Филадельфия. Архитектор, дизайнер. Родился в Киеве в 1959 году. В США с 1993 года. Занимается архитектурой высотных зданий, дизайном и книжным оформлением. Художественный редактор издательства «Побережье».

КРЮЧКОВ, Павел (см. стр. 26)

ЛЕВИНЗОН, Рина, Иерусалим. Поэт, прозаик, переводчик, педагог. Родилась в 1949 г. в Москве. В Израиле с 1976 г. Сб. стихов: «Путешествие», 1971; «Прилетай, воробушек» (стихи для детей), 1974; «Два портрета», 1977; «Ветка яблони, ветка сирени», 1986; «Кольбельная отцу», 1993; «Этот сон золотой», 1996; «Седьмая свеча», 2000; «Два города – одна любовь», 2008.

ЛЕВИТ, Шошанна, Иерусалим. Поэт, художник, иллюстратор, детский писатель. Художественное образование получила в Литве, Израиле, Англии и США. Работы экспонировались на 42-х выставках в Израиле и за рубежом.

ЛИТИНСКАЯ, Елена, Нью-Йорк. Поэт, писатель переводчик. Родилась в Москве. Окончила МГУ. В США с 1979. Автор книг: «Монолог последнего снега», 1992; «В поисках себя», 2002; «На канале», 2008; «Сквозь временную отдаленность», 2011. Публикации в периодических изданиях и альманахах Москвы, Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии. Основатель и президент Бруклинского клуба русских поэтов. Президент Бруклинского клуба русских поэтов, а также вице-президент объединения русских литераторов Америки – ОРЛИТА.

ЛУКИН, Борис (см. стр. 166)

МАШИНСКАЯ, Ирина, штат Нью-Джерси. Поэт, переводчик, критик. Родилась в Москве. Окончила факультет географии и аспирантуру МГУ. Основатель и первый руководитель детской лит. студии «Снегирь», (Москва). Эмигрировала в США в 1991 г. Автор семи поэтических сборников, среди них "Потому что мы здесь", 1995, "После эпитафия", 1997, "Простые времена", 2000. Редактирует журнал «Стороны света». Публикации: "Новый журнал", "Встречи", "Строфы века" и др.

МИНИН, Евгений, Иерусалим. Поэт, пародист, издатель. Родился в г. Невель Псковской области. Автор пяти сборников стихов. Член СП Израиля, член СП Москвы, Издатель альманаха «Иерусалимские голоса».

МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН, Игорь, Филадельфия. Поэт, прозаик, переводчик, издатель. Родился в г. Мары в 1943 г., в Туркменистане. Жил во Львове, Украина. На Западе с 1979 года. Главный редактор литературного ежегодника и издательства "Побережье". Автор шести книг. Стихи, проза и переводы вошли в антологии и коллективные сборники: "Триада", 1996; "Строфы века-II. Мировая поэзия в русских переводах XX века", М., 1998; "Библиейские мотивы в русской лирике XX века", Киев, 2005; "Современные русские поэты", М., 2006, "Антология русско-еврейской литературы двух столетий (1801-2001)", на англ. языке, Лондон - Нью-Йорк, 2007; "Украина. Русская поэзия. XX век", Киев, 2008 и мн. др.

НЕКРАСОВСКАЯ, Людмила (см. стр. 318)

НОВАК, Светлана, Торонто. Поэт. Родилась в 1966 г. в Орле. На Западе с 2003 г. Автор сборника стихов "Любовь. Начало", 2011.

НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ, Андрей (см. стр. 100)

ПАГЫН, Сергей (см. стр. 298)

ПАЙКОВ, Валерий, Ашдод. Поэт. Доктор мед наук, профессор. Родился в 1939 г. на Украине. С 2000 г. живёт в Израиле. Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Автор девяти стихотворных сборников. Публикации в периодике Израиля, Италии, России, США, в антологии "120 поэтов русскоязычного Израиля" (2005). Составитель альманаха "Год поэзии. Израиль" (совместно с Э. Ракитской).

ПОЛЕВАЯ, Зоя, Ист-Брунзвик (East Brunswick), Нью-Джерси. Родилась в Киеве. По образованию – авиаинженер. Работала в КБ завода Гражданской Авиации. В 1999 в Киеве вышел сборник стихов "Отражение". В Америке, с сентября 1999. Руководит русским культурным клубом "Exlibris NJ". Публикует в периодике стихи и статьи.

ПОЛЯКОВ, Олег (см. стр. 337)

ПОМЕРАНЦЕВ, Игорь, Прага. Родился в 1948 году в Саратове. Жил в Забайкалье и на Украине. Выпускник факультета романо-германской филологии Черновицкого государственного университета. Эмигрировал на Запад в 1978 году. Работал на радио Би-би-си, с 1987 года — на радиостанции “Свобода” (ведущий программы “Поверх барьеров”). Стихи и проза публиковались в российской и зарубежной периодике. Автор двух сборников стихов и книги эссе.

ПОПОВ, Андрей (см. стр. 174)

РАДЦИНЕР, Тамар (см. стр. 343)

РЕЗНИК, Наталья, Боулдер, Колорадо. Поэт, прозаик. Родилась в Ленинграде. Закончила Ленинградский Политехнический институт. В США с 1994 года. Печаталась журналах “Новая юность”, “Интерпоэзия”, “Студия”, “Чайка”, стихотворных альманахах, сетевых изданиях.

РЕЗНИК, Раиса, Сан-Хосе, Калифорния. Поэт, издатель, редактор альманаха «Связь времён». Родилась в 1948 г. в Винницкой области. На Западе с 1994 г. Сб. стихов: «На грани» (на русском и англ.), 1997; «О главном и вечном» (поэтическое переложение еврейских пословиц), 1997; «Точка опоры», 1999.

РОТМАНОВА, Клавдия, Дюссельдорф, Германия. Поэт, прозаик, публицист. Родилась в 1949 г. в Полтавской области. Жила в Латвии. На Западе с 1993 г. Автор книги стихов «Силуэты судьбы». Публикации в периодических, литературных и сетевых изданиях России, Латвии, Польши и Германии.

САДХИН, Георгий, Филадельфия. Поэт. родился в 1951 году в городе Сумы. Жил под Москвой. Эмигрировал в США в 1994 году. Участник литературных альманахов «Встречи» («Побережье»). Стихи также были опубликованы в журналах «Крещатик», «Новый Журнал», «День и Ночь». Автор поэтических сборников: «4» (в соавторстве), 2004 и «Цикорий звезд», 2009.

СЕНЕШ, Хана (см. стр. 350)

СИНКЕВИЧ, Валентина Алексеевна, Филадельфия. Поэт, литературный критик, эссеист, главный редактор альманаха «Встречи». Родилась в 1926 г. в Киеве. На Западе с 1942 г. Составитель антологии русских поэтов второй волны эмиграции «Берега», 1992. Одна из авторов-составителей (с Д. Бобышевым и В. Крейдом) «Словаря поэтов русского Зарубежья», 1999. Автор поэтических сборников и книг «Огни», 1973, «Наступление дня», 1978, «Цветенье трав», 1985, «Здесь я живу», 1988, «Избранное», 1992, «Триада», 1992, литературных мемуаров «...с благодарностью: „были“», 2002; «Мои встречи», 2010 и др., публикаций в ряде антологий и сборников: «Берега», 1992, «Строфы века», 1995, «Вернуться в Россию стихами», 1996, «Мы жили тогда на планете другой», 1997, «Русская поэзия XX века», 1999, «Киев. Русские поэты. XX век», 2003 и др., в периодических изданиях: «Перекрестки/Встречи», «Побережье», (Филадельфия), «Новое русское слово», «Новый журнал» (Нью-Йорк).

ФЕЛЬДШЕР, Люба, Израиль. Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Молдавии. В 1979 году окончила факультет журналистики МГУ. Была членом СП СССР. В Израиле с 1990 года. Работала в штате русскоязычных газет, редактором женского журнала. Публикации в израильской, молдавской и российской прессе.

ФЕТ, Виктор, Хантингтон, Западная Виргиния. Поэт, биолог. Родился в Кривом Роге. Эмигрировал в США в 1988 году. Книги: «Под стеклом» (2000); «Многое неясно» (2004), «Отблеск» (2008). Публикации в журналах и альманахах «Литературный европеец» и «Мосты» (Франкфурт), «Встречи» и «Побережье» (Филадельфия), «Альманах поэзии» (Сан-Хосе, Калифорния), «Зеркало» (Лос-Анжелес), «К востоку от солнца» (Новосибирск) и др.

ФРАШ, Берта, Йена. Поэт, литературный критик. Родилась в 1950 г. в Киеве. Живет в Германии с 1992 г. Автор книг: «Мои мосты», 2001. «Осенние слова», 2008. Ведет рубрику «Новые книги» в журнале «Литературный европеец».

ФУРМАН, Рудольф, Нью-Йорк. Поэт. В США – с 1998 года. С 2006 года – редактор-дизайнер «Нового Журнала». Автор пяти книг стихов: «Времена жизни или древо души» (1994), «Парижские мотивы» (1997), «Два знака жизни» (2000), «И этот век не мой» (2004) и книги лирики «Человек дождя» (2008). Публикации в литературном ежегоднике «Побережье», альманахе «Встречи» и журнале «Гостиная» (Филадельфия), в журналах «Новый Журнал», «Слово/Word», «Время и место» (Нью-Йорк), «Мосты» и «Литературный европеец» (Франкфурт-на-Майне), «Нева» (Петербург), и во многих других литературных изданиях.

ХАНАН, Владимир, Иерусалим. Поэт, прозаик. Родился 9 мая 1945 года в Ереване. Жил в Санкт-Петербурге и Царском Селе. Репатрировался в Израиль в 1996 г. Автор поэтических книг: «Однодневный гость» (2001), «Осенние мотивы Столицы и Провинций» (2007), «Возвращение» (2010), и двух книг прозы. Публиковался в США, Англии, Франции, ФРГ, Австрии, Литве, Израиле, России.

ХАРЧЕНКО, Инна, Ганновер, Германия. Поэт, прозаик, переводчик, художник. Родилась на Украине (с. Кременчуки Хмельницкой области). Окончила Хмельницкий Национальный университет. По образованию инженер-экономист. На Западе с 2002 года. Член Международной федерации русских писателей. Лауреат нескольких литературных конкурсов. Автор трех книг стихов: «Солнечный привкус, или 365 дней из моей жизни», 1999; «Серебро ночной чеканки», 2001; «Пока есть поэзия и любовь» (на украинском языке), 2002. Публикации в изданиях Германии, Украины, России, Израиля, Эстонии.

ХИСАМУТДИНОВ, Амир (см. стр. 340)

ХОДАСЕВИЧ, Владислав Фелицианович (1886-1939). Родился 28 мая 1886 года в Москве в семье художника. В шесть лет сочинил первые стихи. В 1904 окончил гимназию и поступил в Московский университет, учился на юридическом факультете, затем – на историко-филологическом. Начал печататься в 1905 году. Первые книги стихотворений – "Молодость" (1908) и "Счастливый домик" (1914). В 1914 была опубликована первая работа Ходасевича о Пушкине ("Первый шаг Пушкина"). В 1920 появилась третья книга стихов Ходасевича – "Путем зерна", выдвинувшая автора в ряд наиболее значительных поэтов своего времени. Четвертая книга стихов Ходасевича "Тяжелая лира" была последней, изданной в России. В 1922 году выехал за границу. Совместно с М. Горьким редактировал журнал "Беседа". В 1925 году переехал в Париж, где остался до конца жизни. Выступал как прозаик, литературовед и мемуарист: "Державин. Биография" (1931), "О Пушкине" и "Некрополь. Воспоминания" (1939). Публиковал в газетах и журналах рецензии, статьи, очерки о выдающихся современниках – М. Горьком, А. Блоке, А. Белом и многих других. Переводил поэзию и прозу польских, французских, армянских и др. писателей. Умер в Париже 14 июня 1939 года.

ХОФФМАН, Роалд (см. стр. 355)

ЧАЙКОВСКАЯ, Ирина, Бостон. Прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист. Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат педагогических наук. С 1992 года на Западе. Семь лет жила в Италии, с 2000 года – в США. Как прозаик и публицист печатается в «Новом журнале», «Чайке» (США), в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Октябрь» (Россия). Автор недавно вышедшей книги «Карнавал в Италии». Готовится к выходу в свет книга прозы и пьес «В ожидании чуда».

ЧЕРЕШНЯ, Валерий (см. стр. 287)

ЧЕРНЯК, Вилен, Вест Голливуд. Поэт и переводчик. Родился в 1934 г. в Харькове. В США с 2000 г. Автор книг: «Разные слова» (2006); «Памятные даты» (2009). Публиковался в альманахах: «Побережье», «Альманах поэзии», антологиях стихов поэтов США, периодике Украины и Израиля. Автор газеты «Панорама».

ЧЕРНЯКОВА, Лия, Милуоки, штат Висконсин. Поэт, композитор. Родилась в Харькове. В США с 1994 г. Автор сборника стихов «Записки на сфинском». Член КСП-Мидвест.

ШАПОШНИКОВА, Софья, Беэр-Шева. Поэт, писатель. Родилась в Днепропетровске в 1927 г. Окончила Одесский университет. Работала в Молдавии преподавателем русской литературы. В Израиле с 1992 г. Автор 9 сборников поэзии: "Предвечерье", "Миг до зари", "Потревоженный день", "Общий вагон", "Ливни" (издательство "Советский писатель"), «Вечерняя книга» и ее второе дополненное издание (Израиль). Печаталась в журналах Москвы, Ленинграда, Кишинева. Переводы на польский, украинский, молдавский языки. До репатриации была членом Союза писателей СССР, после – членом Союза писателей Израиля. Стихи переводились на польский, молдавский и украинский языки.

ШАТАЛОВ, Владимир Михайлович. Поэт, художник. Родился в 1917 г. в Белгороде, Россия. Образование получил в художественных институтах Харькова и Киева. С 1943 г. находится на Западе. Жил в Германии, под Мюнхеном, получив статус Ди-Пи. В 1951 переселился в Филадельфию, США. Печатался в ежегоднике "Перекрестки" (1977-1982), в альманахах "Встречи" и "Побережье". Представлен в антологиях зарубежной поэзии "Вернуться в Россию – стихами. 200 поэтов эмиграции" и "Мы жили тогда на планете другой". Вместе с поэтессой В. Синкевич издал в 1992 г. антологию поэзии второй эмиграции – "Берега". Являлся действительным членом Американской Национальной Академии Искусств и получил звание "National Academician", а также членом Американского общества акварелистов и др., участник многих персональных и групповых выставок. Умер в 2002 г. в Филадельфии.

ШАТАЛОВ, Дмитрий, Оксфорд. Поэт, лингвист, переводчик. Родился в Липецке в 1985. Окончил Воронежский университет. Аспирант Оксфордского университета. Публикации в антологии «Отзвуки небес», СПб., в журналах «Побережье» (США), «Мосты» (Германия) и др.

ШЕРРАД, Филипп (см. стр. 352)

ШУБИНСКИЙ, Валерий (см. стр. 323)

ЭМИНЕСКУ, Михай (см. стр. 341)

ЮДИН, Борис, г.Чери-Хилл, Нью-Джерси. Прозаик и поэт. Родился в 1949 г. в г. Даугавпилсе, Латвия. В 1995 году эмигрировал из Латвии в США. Публикации в журналах и альманахах: "Крещатик", "Зарубежные записки", "Встречи", "Побережье", "Дети Ра" и др. Автор четырех книг. Участник нескольких антологий.

ЯРОВОЙ, Сергей, Филадельфия. Поэт, ученый, переводчик. Родился в 1964 г. в Коммунарске, Украина. Выехал на Запад в 1994 г. Публикации в зарубежных, российских и украинских литературных изданиях.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

АИСТ, Татьяна	57, 63, 362
АКС, Ирина	225
АЛАВЕРДОВА, Лиана	217
АМИНАДО, ДОН	180
АМУРСКИЙ, Виталий	128, 133
БАНЧИК, Надежда	133, 139
БАРКЕР, Джорджина	339
БАТШЕВ, Владимир	175
БЕРМАН, Филипп	214
БЛАВАТСКАЯ, Елена	362
БОБЫШЕВ, Дмитрий	66
ВАСИЛЕВСКИЙ, Андрей	21
ВЕРБИЦКАЯ, Лина	254
ВОЙТИКОВА, Мария	288
ВОЛОВИК, Александр	351
ВОЛОДИМЕРОВА, Лариса	141
ВОЛОСЮК, Иван	294
ГАБРИЭЛЬ, Александр	204
ГАРБЕР, Марина	70, 76
ГЕНЧИКМАХЕР, Марина	195, 200
ГОЛКОВ, Виктор	149
ГОЛУШКО, Павел	319
ГОЛЬ, Николай	101, 105
ГОЛЬДЕНБЕРГ, Иосиф	87
ГОРЛАНОВА, Нина	332
ГУТМАН, Елена	302
ДИМЕР, Евгения	256
ДРОЗДОВА, Елена	126
ЕЛАГИНА, Елена	321
ЗОРИН, Фрэдди	290
ИВАСК, Юрий	332
ИЦКОВИЧ, Евгений	259
КАГАН, Виктор	228
КАЗАРИН, Юрий	116
КАНТ, Ирина	192
КАРАПЕТЬЯН, Рустам	119
КЕКОВА, Светлана	5
КЕНЖЕЕВ, Бахыт	10
КОГАН, Гей	185
КОЛГАНОВ, Леонид	153
КРУПА, Юрий	267
КРЮЧКОВ, Павел	25
ЛЕВИНЗОН, Рина	112, 350
ЛЕВИТ, Шошанна	311
ЛИТИНСКАЯ, Елена	221
ЛУКИН, Борис	164, 167
МАШИНСКАЯ, Ирина	15
МИНИН, Евгений	243

МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН, Игорь	46, 42, 57
НЕКРАСОВСКАЯ, Людмила	315
НОВАК, Светлана	261
НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ, Андрей	96, 98
ПАГЫН, Сергей	298
ПАЙКОВ, Валерий	122
ПОЛЕВАЯ, Зоя	308
ПОЛЯКОВ, Олег	324
ПОМЕРАНЦЕВ, Игорь	343
ПОПОВ, Андрей	172
РАДЦИНЕР, Тамар	343
РЕЗНИК, Наталья	250
РЕЗНИК, Раиса	278
РОТМАНОВА, Клавдия	236
САДХИН, Георгий	246
СЕНЕШ, ХАНА	350
СИНКЕВИЧ, Валентина	27, 40, 46
ФЕЛЬДШЕР, Люба	239, 341
ФЕТ, Виктор	188, 360
ФРАШ, Берта	292
ФУРМАН, Рудольф	232
ХАНАН, Владимир	146
ХАРЧЕНКО, Инна	313
ХИСАМУТДИНОВ, Амир	335
ХОДАСЕВИЧ, Владислав	321, 324
ХОФФМАН, Роалд	360
ЧАЙКОВСКАЯ, Ирина	31, 76, 81
ЧЕРЕШНЯ, Валерий	281, 284
ЧЕРНЯК, Вилен	252
ЧЕРНЯКОВА, Лия	304
ШАПОШНИКОВА, Софья	92
ШАТАЛОВ, Владимир	263, 267, 275
ШАТАЛОВ, Дмитрий	353
ШЕРРАРД, Филипп	353
ШУБИНСКИЙ, Валерий	321
ЭМИНЕСКУ, Михай	341
ЮДИН, Борис	234
ЯРОВОЙ, Сергей	210

